



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



ЧЕСКА -
БИБЛИОТЕКА
при
Гимназия

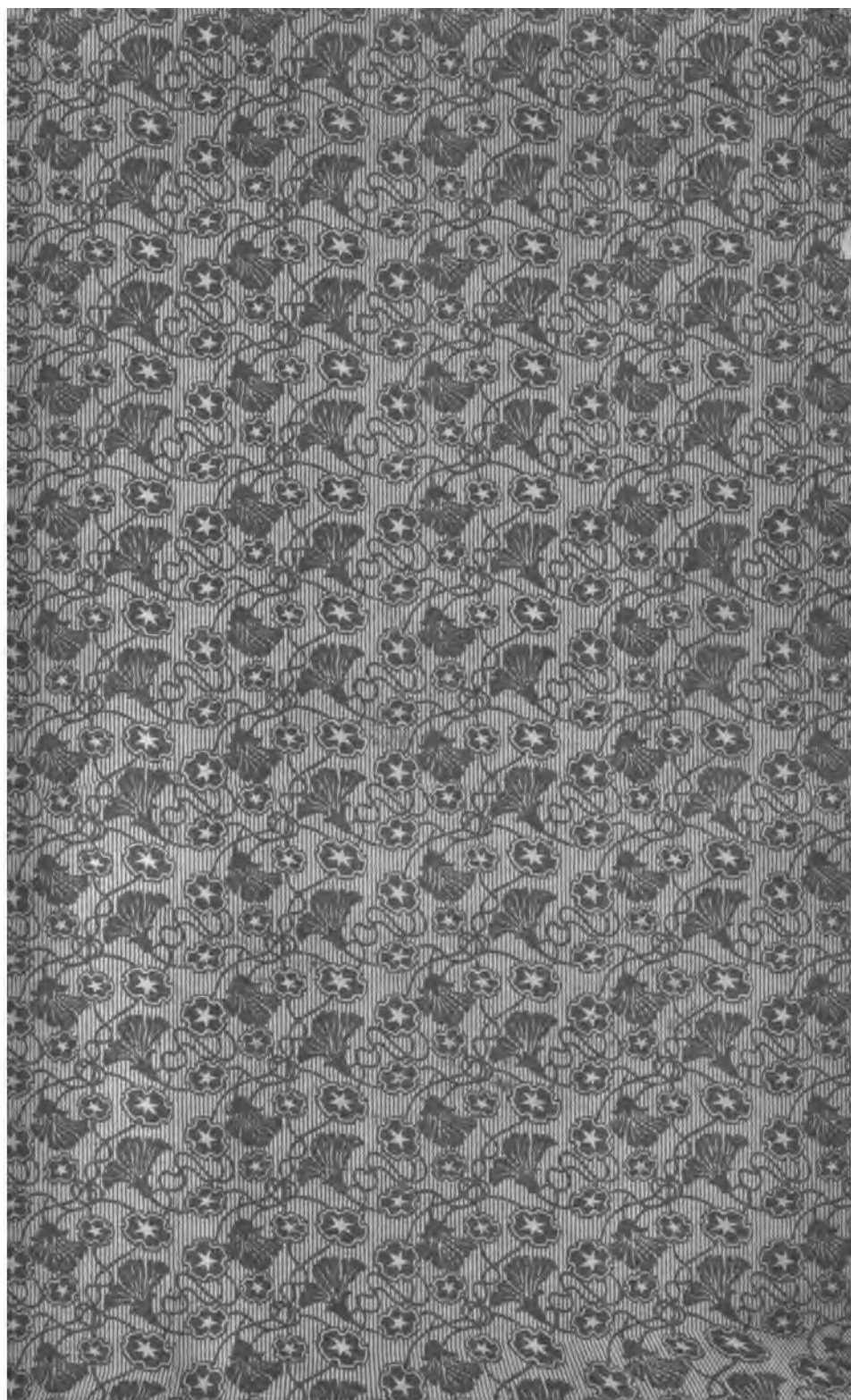
-а

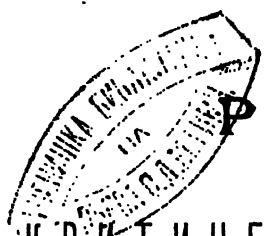
2

39



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

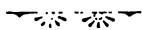




РУССКАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

А. С. ПУШКИНА.



Хронологическій сборникъ критико-
библіографическихъ статей.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ.

СОБРАТЬ И ИЗДАТЬ

В. Зелинскій.

—>> ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ. <<—

МОСКВА.

Типографъ А. А. Побудновскій, Москва, Тверская, д. Корсаковой.

1905.

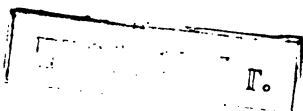
PG 3336

Z 42

v. 7

A47522

WLB 13.766.



Оглавленіе седьмой части.

Критина пятидесятихъ годовъ	1
„Разборъ библіографическихъ замѣтокъ г. Гаевского о сочиненіяхъ Пушкина и Дельвига“. Статья Н. С. Тихонравова	—
„Замѣчаніе на замѣчаніе по поводу двухъ стиховъ въ <i>Борисъ Годуновъ</i> Пушкина“. Статья С. Шевырева.	11
Библіографическая замѣтка о сочиненіяхъ Пушкина, изъ „Современника“ за 1854 г.	14
Сочиненія А. С. Пушкина. Изданіе П. В. Анненкова. Спб. 1855. Шесть томовъ, въ 8 долю	16
Разборъ этого изданія и статьи по поводу его:	
В. Гаевского, изъ „Отечеств. Записокъ“	—
Н. Чернышевскаго, изъ „Современника“	47
А. Дружинина, изъ „Библіотеки для Чтенія“	66
Ап. Григорьева, изъ „Москвитянина“	83
М. Каткова, изъ „Русскаго Вѣстника“	105
Изъ „Сына Отечества“ за 1856 г.	175
„Молвы“ за 1857 г. О стихотвореніи „Странникъ“, статья Б.	176
Сочиненія Пушкина. Седьмой (дополнительный) томъ. Изданіе П. В. Анненкова. Спб. 1857	179
Критическія статьи по поводу этого изданія:	
Н. Добролюбова, изъ „Современника“ за 1858 г.	179
Изъ „Библіотеки для Чтенія“, статья И. Л.	196
А. Станкевича, изъ „Атеней“ за 1858 г.	219
Л. Майкова, изъ „Библіографическихъ Записокъ“ 1858 г.	232
„Степной цвѣтокъ на могилу Пушкина“. Статья Кохановской, изъ „Русской Бесѣды“ за 1859 г.	235
Алфавитный указатель произведеній Пушкина, именъ писателей, названій сочиненій, статей, книгъ, журналовъ, газетъ,—встрѣчающихся на страницахъ седьмой части „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“	245—252

КРИТИКА ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

„Разборъ библиографическихъ замѣтокъ г. Гаевского о сочиненіяхъ Пушкина и Дельвига“ *).

Въ 6-мъ № „Москвитянина“ мы высказали нѣсколько замѣчаній о статьѣ г. Гаевского „Дельвигъ“, и предложили вопросъ о томъ, были ли исправляемы постороннею рукою стихотворенія Пушкина, напечатанныя въ „Сѣверной Звѣздѣ“, альманахѣ 1829 года. Напечатанныя въ послѣдней книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ (№ 6, отд. VII, стр. 137 — 156) „Библиографическія замѣтки о сочиненіяхъ Пушкина и Дельвига“ общають „разсмотрѣть по порядку *всѣ* наши замѣчанія“, а потомъ приступить къ рѣшенію предложеннаго вопроса. Благодаря автора „Замѣтокъ“ за готовность разрѣшить наши недоумѣнія, мы должны сказать, что онъ большею частью невѣрно понялъ смыслъ нашихъ замѣчаній, а потому и въ его отвѣтъ на нихъ есть нѣкоторыя несообразности, представляющія дѣло не въ истинномъ свѣтѣ. Постараемся указать ихъ.

Въ нашей статьѣ было сказано:

„Въ исчисленіи стихотвореній Дельвига, пропущенныхъ въ Смирдинскомъ изданіи, авторъ указываетъ, между прочимъ, на два стихотворенія, помѣщенные въ „Полярной Звѣздѣ“, альманахѣ 1832 года. Подъ этими стихотвореніями находится подпись *Д—из*, и мы сомнѣваемся, точно ли принадлежатъ они Дельвигу. Сомнѣвается въ этомъ и

*) Н. С. Тихонравовъ. „Отечественныя Записки“ 1853 г., кн. 7, отд. VII.

г. Гаевскій, обѣщая „причины сомнѣній и самыя стихотворенія привести въ одной изъ слѣдующихъ статей“ (стр. 51). Ясно, что эти сомнительныя стихотворенія упомянуты авторомъ для полноты: Но тогда слѣдовало бы также указать на стихотвореніе „Черкесская Пѣсня“, напечатанное въ „Цинтіи“, альманахѣ на тотъ же 1832 годъ (стр. 259—260). Подъ пѣснею та же подпись Д—гъ. Думаемъ, что наше указаніе можетъ способствовать рѣшенію сомнѣній г. Гаевского, тѣмъ болѣе, что *Черкесская Пѣсня* напечатана также въ московскомъ альманахѣ, въ томъ же году и съ тою же подписью, какъ и сомнительныя стихотворенія, упомянутыя г. Гаевскимъ. То, кажется, несомнѣнно, что авторъ этихъ трехъ стихотвореній одно лицо; но едва ли это былъ Дельвигъ. *Неужели издатели довольно стрѣнныхъ альманаховъ, сложившихся изъ самыхъ посредственныхъ произведеній, не упомянули бы имени такого извѣстнаго поэта, какъ Дельвигъ?*“

Вотъ наши слова. Пусть читатель обратитъ вниманіе на строки, напечатанныя курсивомъ, и онъ увидитъ: 1) что мы не соглашаемся приписать два сомнительныя стихотворенія, упомянутыя г. Гаевскимъ, Дельвигу, по крайней мѣрѣ, оставляемъ это подъ большимъ сомнѣніемъ; что 2) въ доказательство справедливости этого мнѣнія, указываемъ на „Черкесскую Пѣсню“; что 3) цѣлью этого указанія было *способствовать рѣшенію сомнѣній г. Гаевского*, потому что мы полагали, что онъ не обратилъ вниманія на *совпаденіе* подписей, мѣста и времени печатанія трехъ сомнительныхъ стихотвореній; что 4) мы прямо высказались противъ возможности приписать „Черкесскую Пѣсню“ Дельвигу, говоря: *едва ли авторомъ этихъ трехъ стихотвореній былъ Дельвигъ. Неужели и т. д.* Между тѣмъ г. Гаевскій выводитъ изъ нашихъ словъ заключеніе, что *мы приписываемъ „Черкесскую Пѣсню“ Дельвигу*. Но пусть найдетъ онъ въ нашей статьѣ хоть одно слово, которое бы подтверждало выведенное имъ заключеніе. Мы имѣли полное право указать г. Гаевскому „Черкесскую Пѣсню“, полагая, что онъ не обратилъ вниманія на *совпаденіе* подписей, мѣста и време-

ни печатанія; но онъ не имѣетъ права приписывать намъ мнѣніе, противъ котораго мы прямо высказались. Къ чему же, позволимъ себѣ спросить, *авторъ на цѣлыхъ семи страницахъ возстаетъ противъ мнѣнія, нами не высказаннаго?* Или что значать слѣдующія слова:

„Если бъ г. Тихонравовъ потрудился внимательно пересмотрѣть „Цинтію“, альманахъ, въ которомъ напечатано это стихотвореніе, онъ самъ увидѣлъ бы причины, по которымъ нельзя приписать это стихотвореніе Дельвигу. Причины эти слѣдующія: въ томъ же альманахѣ находимъ „Романсъ“ (стр. 51—52) съ подписью *Д—из*, „Пѣсню“ (стр. 132—133) съ подписью—*из* и стихотвореніе „Земля“ (стр. 163) съ подписью *Д—беріз*. *Послѣдняя подпись достаточно разоблачаетъ первыя три* и доказываетъ, что всѣ онѣ не принадлежать Дельвигу. Зачѣмъ же г. Тихонравовъ прежде, чѣмъ указывать мнимый пропускъ, не справился обстоятельно: точно ли Дельвигу принадлежитъ это стихотвореніе, а если справился, то зачѣмъ умолчалъ объ остальныхъ подписяхъ, совершенно опровергающихъ его указаніе?“ (стр. 139—140).

Во-первыхъ, логично ли заключать, что подпись *Д—беріз* достаточно разоблачаетъ первыя три? На основаніи какого силлогизма можно вывести такое заключеніе? Гдѣ доказательство, что дѣло именно такъ было, и что это не предположеніе автора? Доказательствъ нѣтъ; ergo это простое предположеніе. А можно ли возражать предположеніями (хотя авторъ возражаетъ противъ мнѣнія, имъ самимъ придуманнаго), давать имъ видъ и несомнѣнность истины и, опираясь на нихъ, упрекать другихъ въ умышленномъ умолчаніи? Но допустимъ и это оружіе, за неимѣніемъ другого, и опять спросимъ: что логичнѣе, по мнѣнію автора: то ли что одно лицо выбрало *четыре* разныя подписи, или что четыре различныя подписи принадлежать разнымъ лицамъ? И для чего прибѣгать ко всѣмъ подобнымъ догадкамъ? Для того только, чтобъ доказать, что „Черкесская Пѣсня“ принадлежитъ не Дельвигу. Но мы опять спросимъ, гдѣ и въ какихъ словахъ высказали мы подобное мнѣніе? Сражаться

же противъ призрачнаго очень легко... Между тѣмъ нашъ авторъ посвящаетъ этой борьбѣ цѣлую треть своей статьи.

„Въ современныхъ журналахъ и альманахахъ (говорить онъ) являлось множество стихотвореній и прозаическихъ статей съ подписями Д., Д—з и т. п. Въ одномъ „Вольномъ Обществѣ Любителей россійской словесности“ (или „Соревнователей просвѣщенія и благотворенія“), въ занятіяхъ котораго Дельвигъ принималъ участіе, было много членовъ съ фамиліею, начинавшеюся съ буквы Д, именно: Данилевскій, Добровольскій, Доброхотовъ, Долгорукій, два Дуропа и пр.; они нерѣдко подписывались одною начальною буквою. Неужели и эти статьи могутъ возбудить сомнѣніе касательно принадлежности ихъ Дельвигу? Разумѣется, *нѣтъ*, если руководствоваться въ библиографическихъ изысканіяхъ живымъ, всестороннимъ изученіемъ, и *да*, если ограничиваться въ нихъ только мертвою буквою. Можно ли послѣ этого полагаться на сокращенныя подписи фамилій извѣстныхъ авторовъ, какъ сдѣлалъ (?) въ настоящемъ случаѣ г. Тихонравовъ?“ (стр. 143).

Насъ упрекаетъ авторъ въ томъ, что мы „полагаемся на сокращенныя подписи фамилій извѣстныхъ авторовъ“, и потому на насъ, очевидно, падаетъ и косвенное обвиненіе его, что въ библиографическихъ изысканіяхъ мы „руководствуемся не живымъ, всестороннимъ изученіемъ, а только мертвою буквою“. Приговоръ нѣсколько строгъ и поспѣшенъ. Можетъ возникнуть вопросъ: позволительно ли, на основаніи одного промаха (хотя бы онъ былъ и дѣйствительный, а не сочиненный критикомъ), дѣлать подобное заключеніе? Авторъ дѣлаетъ такое заключеніе; но, къ сожалѣнію, онъ не объясняетъ, что понимаетъ онъ подъ именемъ всесторонняго изученія, въ чемъ полагаетъ его конечный результатъ. Сколько мы понимаемъ изъ его словъ, *живое* изученіе поэта состоитъ въ томъ, чтобы вполне проникнуться духомъ поэта, сознать ясно его „направленіе“, приглядѣться даже къ „отдѣлкѣ его стиха“; *всестороннее* же изученіе не ограничивается знакомствомъ съ кругомъ дѣятельности одного поэта разбираемаго, но обнимаетъ всю лите-

ратуру того времени, къ которому онъ относится, не говоря ужъ о необходимости ознакомиться съ иностранными литературами. Авторъ, надѣмся, не возстанетъ противъ такого пониманія живого, всесторонняго изученія, котораго онъ требуетъ. Мы распространяемся объ этомъ не для того, чтобъ оправдывать себя. „Черкесской Пѣсни“ мы не приписывали Дельвигу, и г. Гаевскій не можетъ доказать, чтобы произведеніе одного поэта мы навязали другому. Между тѣмъ, отъ этой ошибки не спасло нашего автора *живое, всестороннее* изученіе. Во второй статьѣ о Дельвигѣ онъ говоритъ:

„Въ первой статьѣ о Дельвигѣ мы... исчислили напечатанныя въ разныхъ изданіяхъ и пропущенныя въ Смирдинскомъ собраніи стихотворенія Дельвига. Изъ находящихся у насъ рукописей оказывается, что Дельвигу принадлежатъ еще, *по крайней мѣрѣ*, два напечатанныхъ стихотворенія, именно: Е. А. Б...вой (отсылая ей за годъ предъ тѣмъ для нея написанные стихи съ подписью Д. въ „Благонамѣренномъ“ 1820 года (часть IX, № 1, стр. 116) и *Эпиграммы рецензенту поэмы „Русланъ и Людмила“* (изъ двухъ принадлежитъ Дельвигу одна навѣрно, а *можетъ быть и обѣ*) въ „Сынъ Отечества“ 1820 г. (часть 64, № XXXVIII, стр. 253)“¹⁾.

Вотъ вторая эпиграмма, которую г. Гаевскій не прочь приписать Дельвигу:

Напрасно говорятъ, что критика легка.
Я критику читалъ „Руслана и Людмилы“:
Хоть у меня довольно силы,
Но для меня она ужасно какъ тяжка²⁾.

Довольно выписать эту эпиграмму, чтобы читатели (не говоря уже о специалистахъ, *всесторонне* изучающихъ предметъ) узнали, кѣмъ она написана. Кто изъ образованныхъ людей не читалъ прекрасной статьи П. А. Плетнева: „Жизнь и сочиненія П. А. Крылова“, этого драгоценнаго историко-

1) „Современникъ“ 1853 г., № 5, отд. III, стр. 2—3.

2) „Сынъ Отечества“ 1820 г., № 38, стр. 253.

литературнаго мемуара, которыхъ такъ немного въ нашей литературѣ? Для тѣхъ, которые могли бы позабыть то мѣсто этой замѣчательной статьи, которое относится къ нашему предмету, мы выпишемъ его:

„При появленіи въ свѣтъ Пушкина „Руслана и Людмилы“, почти всѣ изъ литераторовъ старой школы вооружились противъ поэмы. Критикамъ въ журналахъ конца не было. Одна изъ нихъ вывела Крылова изъ его равнодушія. Онъ на другой же день послалъ къ какому-то журналисту слѣдующую эпигramму:

Напрасно говорить, что критика легка“...³⁾ и т. д.

Итакъ, г. Гаевскій готовъ приписать Дельвигу эпигramму, о которой достовѣрно извѣстно, что она сочинена Крыловымъ. Не будемъ дѣлать выводовъ изъ этого замѣчанія. Мы могли многое опустить, во многомъ ошибаться, но смѣемъ сказать, что разсматривали дѣло по крайнему нашему разумѣнію, не позволяя себѣ представлять въ невѣрномъ видѣ мысли разбираемой статьи, и равно дѣлать выводы о *живомъ и всестороннемъ* изученіи.

Готовы признаться, что намъ совершенно не были извѣстны статьи о Дельвигѣ въ „*Esthona*“, „*Le turet*“ „*Dorpaters Jahrbücher*“ и проч., что мы сдѣлали нѣсколько дѣйствительныхъ пропусковъ, указывая на статейку „*Tygodnik'a*“. Но мы не можемъ принять на себя того упрека, который дѣлаетъ намъ г. Гаевскій, говоря:

„Вообще мы не понимаемъ, на какомъ основаніи указываются пропуски въ трудѣ, котораго только седьмая часть явилась въ печати. Едва ли что можетъ быть легче подобныхъ указаній, потому что въ первой части пропущены всѣ свѣдѣнія, находящіяся въ остальныхъ шести: стоитъ только собрать нѣкоторые изъ нихъ и предупредить автора“ (стр. 145).

Нѣтъ нужды подробно говорить о томъ, что всякое сочиненіе должно имѣть свою органическую связь, изъ сколь-

³⁾ Сочиненія Ивана Крылова. Спб., 1847 г., т. I, стр. LXVI—LXVII.

кихъ бы частей оно ни состояло. При этой необходимой связи каждая часть имѣетъ свое извѣстное мѣсто въ организаціи, получивъ которое, она не можетъ проскакивать и повторяться въ другомъ; иначе нарушится органическая связь цѣлаго и т. п. Г. Гаевскій самъ изложилъ планъ своего сочиненія въ слѣдующихъ словахъ:

„Прежде, чѣмъ приступимъ къ критическому разбору его (Дельвига) произведеній, мы сообщимъ объ авторѣ тѣ немногія біографическія свѣдѣнія, которыя намъ удалось собрать, а потомъ ужъ займемся обзорѣніемъ его литературной дѣятельности, раздѣливъ это обзорѣніе по группамъ однородныхъ произведеній въ слѣдующемъ порядкѣ: сначала рассмотримъ лирическія подражанія древнимъ, потомъ идилліи, элегіи, пѣсни, романсы, сонеты, прозаическія сочиненія, *переводы стихотвореній Дельвига на иностранныя языки* и, наконецъ, представимъ хронологическій перечень всѣхъ его произведеній, съ указаніемъ, гдѣ они были напечатаны“ („Современникъ“ 1853 года, № 2, отд. III, стр. 53—54).

Имѣя въ виду этотъ планъ автора, мы указали на статью о Дельвигѣ въ „Tygodnik Peterburski“, полагая, что авторъ не возвратится въ другой разъ къ указанію біографическихъ статей о Дельвигѣ. Въ планѣ г. Гаевского (или „программѣ“, какъ онъ говоритъ) не упомянуто о томъ, что перечень біографическихъ статей повторится. Имѣли ли мы право упомянуть о статьѣ „Tygodnik’a“, не прибѣгая къ той тактикѣ, о которой говоритъ г. Гаевскій? Въ „Библіографическихъ замѣткахъ“ авторъ замѣчаетъ, что „въ одной изъ слѣдующихъ статей о Дельвигѣ будетъ сказано объ извѣстности его въ *иностранной литературѣ*, то-есть будутъ указаны и разобраны переводы его стихотвореній на иностранныя языки, и приведены *отзывы и извѣстія о Дельвигѣ на иностранныхъ языкахъ*“. Къ числу такихъ извѣстій отнесена и статья газеты „Tygodnik“ (стр. 145).

Опять повторимъ, что въ программѣ автора не было и рѣчи объ „отзывахъ и извѣстіяхъ о Дельвигѣ на иностранныхъ языкахъ“. Съ другой стороны, мы не понимаемъ,

какимъ образомъ статья „Tygodnik'a“ отнесена авторомъ къ иностранной литературѣ? Въ такомъ случаѣ письмо Карамзина къ графу Каподистрія принадлежитъ французской литературѣ? Въ такомъ случаѣ ей же принадлежатъ и нѣкоторыя сочиненія Растопчина, Пушкина, Озерова и др.? Къ какой литературѣ отнесетъ тогда авторъ многочисленныя диссертациі, появившіяся и появляющіяся въ Россіи на латинскомъ языкѣ? Неужели къ римской?.. Но даже и тогда, если мы согласимся съ авторомъ отнести статью „Tygodnik'a“ къ иностранной литературѣ, можетъ возникнуть вопросъ: почему же въ первой статьѣ о Дельвигѣ упомянуты два „незначительные“ (по словамъ автора) разсказа о немъ въ „Russisches Almanach für 1832 und 1833“, а между тѣмъ они писаны на нѣмецкомъ языкѣ и нѣмцемъ? Почему они не отнесены къ числу „извѣстій о Дельвигѣ на иностранныхъ языкахъ“?

Но вотъ мы подошли къ главному пункту всѣхъ „Библиографическихъ замѣтокъ“ г. Гаевского и вмѣстѣ къ самому непонятному для насъ возраженію. Въ нашей статьѣ было сказано:

„Несправедливо говоритъ авторъ „Біографіи“, что стихотворенія Пушкина печатались въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ: они есть въ „Россійскомъ Музеумѣ“, въ „Сынѣ Отечества“; въ „Сѣверномъ Наблюдателѣ“. Въ „Сынѣ Отечества 1815 г., № 25 и 26, стр. 240, напечатано стихотвореніе Пушкина: „Наполеонъ на Эльбѣ“, съ подписью 1....14—17. Этотъ псевдонимъ не указанъ г. Гаевскимъ. Въ „Сѣверномъ Наблюдателѣ“ 1817 года также напечатаны были лицейскія стихотворенія Пушкина: „Пѣвецъ“, „Эпиграмма на смерть стихотворца“, „Къ ней“, „Посланіе Лидѣ““.

Смыслъ этого мѣста очень ясенъ и не подаль бы никакого повода къ недоразумѣніямъ, если бы услужливое невѣдѣніе корректора не постаралось поставить запятой передъ словомъ: *говоритъ**), и такимъ образомъ наши слова

*) Этими страдаютъ болѣе или менѣе почти всѣ наши журналы, а всѣхъ болѣе „Москвитянинъ“, гдѣ уродуются цѣлыя страницы, не только что какая-нибудь строка.

сдѣлались словами автора „Біографіи“. Послѣдній говоритъ, что юношескія произведенія Пушкина печатались въ *одномъ* изъ тогдашнихъ журналовъ; мы возразили, что они есть и въ „Россійскомъ Музеумѣ“, и въ „Сынѣ Отечества“, и въ „Сѣверномъ Наблюдателѣ“. Не имѣя передъ глазами біографіи А. С. Пушкина, о которой идетъ дѣло, можно было не замѣтить ошибки корректора. Потому г. Гаевскій такъ понялъ наши слова:

„Далѣе, г. Тихонравовъ, исправляя нѣкоторыя ошибки въ біографіи Пушкина, напечатанной въ „Современникѣ“ 1838 года, *идѣ сказано*, что лицейскія стихотворенія Пушкина печатались въ „Россійскомъ Музеумѣ“, въ „Сынѣ Отечества“, въ „Сѣверномъ Наблюдателѣ“, указываетъ одно стихотвореніе („Безвѣріе“), напечатанное въ „Трудахъ Общ. Люб. Р. С. при Алекс. университетѣ“, и говоритъ: Въ „Сынѣ Отечества“ 1815 г. и т. д. (см. только-что выпи-санное мѣсто изъ нашей статьи). „Въ этихъ немногихъ строкахъ оказалось много пропусковъ и ошибокъ... Г. Тихонравовъ, *указывая изданія, въ которыхъ печатались лицейскія стихотворенія Пушкина*, пропускаетъ: 1) „Вѣстникъ Европы“, 2) „Невскій Зритель“, 3) „Памятникъ Отечественныхъ Музъ“, изданный на 1827 годъ Бор. Ое-доровымъ“.

Наше дѣло доказать невѣрность того извѣстія въ „Біографіи“, что стихотворенія Пушкина печатались въ *одномъ* изъ тогдашнихъ журналовъ, и мы достигли цѣли, сдѣлавъ указанія (которыхъ не было въ статьѣ г. Гаевского) на „Сынѣ Отечества“ и на „Сѣверный Наблюдатель“. Этимъ мы доказали справедливость нашего упрека автору „Біографіи“; но указывать лицейскія стихотворенія Пушкина мы совершенно не имѣли въ виду, и поводъ къ обвиненію насъ во многихъ пропускахъ подала единственно ошибка корректора. *Nunc illae lacrimae*, съ этимъ согласится всякій, кому извѣстна упомянутая „Біографія“. Лицейскія стихотворенія Пушкина въ „Вѣстникѣ Европы“ намъ были извѣстны и упомянуты г. Гаевскимъ въ томъ же мѣстѣ его статьи, по поводу котораго зашла рѣчь о погрѣшностяхъ

въ біографіи А. С. Пушкина. Мы можемъ, съ другой стороны, представить г. Гаевскому печатныя доказательства, что намъ точно также извѣстны „Невскій Зритель“ и „Памятникъ Отеч. Музъ“ : въ составленномъ нами списокѣ сочиненій Жуковского, напечатанныхъ въ періодическихъ изданіяхъ, онъ найдетъ ссылки и на „Невскій Зритель“ и на „Памятникъ Музъ“. Слѣдовательно, хотя авторъ, въ силу вышеупомянутой ошибки корректора, могъ упрекать насъ въ пропускахъ, но мы не можемъ принять ихъ на себя.

Вотъ наше объясненіе касательно пропусковъ. Теперь перейдемъ къ ошибкамъ, въ которыхъ насъ упрекаетъ авторъ. Онъ говоритъ:

„Изъ числа четырехъ стихотвореній Пушкина, напечатанныхъ въ „Сѣверномъ Наблюдателѣ“, причисляемыхъ г. Тихонравовымъ къ лицейскимъ, дѣйствительно лицейскихъ только два, именно: „Пѣвецъ“ и „Посланіе Лидѣ“... Остальныя же два стихотворенія: „Эпиграмма на смерть стихотворца“ и „Къ ней“, хотя и помѣщены въ собраніи стихотвореній Пушкина въ числѣ лицейскихъ, но написаны ужъ послѣ выпуска изъ лицея. Мы думаемъ это(?) на томъ основаніи, что въ рукописной тетради напечатанныхъ лицейскихъ стихотвореній, сообщенной автору предлагаемыхъ замѣтокъ барономъ М. А. Корфомъ, этихъ двухъ стихотвореній нѣтъ“ (стр. 147).

Предположеніе не есть еще фактъ, въ силу котораго другіе могутъ быть обвиняемы *во многихъ ошибкахъ*. Странно, что г. Гаевскій достовѣрное превращаетъ въ сомнительное*), и сомнительное въ достовѣрное, т.-е. фактъ въ предположеніе и *свое* предположеніе въ фактъ. Мы имѣемъ основаніе думать, что не всѣ лицейскія стихотворенія Пушкина попали въ упомянутую авторомъ тетрадь. Г. Гаевскій въ списокѣ лицейскихъ стихотвореній Пушкина не упомянулъ же о его стихотвореніи въ альбомѣ А. Н. Зубову („Москвитянинъ“ 1842 г., № 6): вѣроятно, его нѣтъ въ упомянутой тетради, между тѣмъ подъ нимъ подпись: 1817 года,

*) Мы разумѣемъ эпиграмму Крылова, которую г. Гаевскій готовъ приписать Дельвигу.

при выпускъ изъ Лицея. Кто послѣ этого поручится, что всѣ лицейскія стихотворенія Пушкина находятся въ упомянутой тетради? Скорѣе можно предполагать, что не попавшихъ въ эту тетрадь лицейскихъ стихотвореній довольно. Въ числѣ стихотвореній, отнесенныхъ авторомъ къ 1815 году, находимъ „Къ Н. Г. Л—ову“ (Ломоносову, лицейскому товарищу Пушкина). Оно было напечатано въ журналѣ 1815 года, и потому г. Гаевскій отнесъ его сочиненіе къ тому-же году. Время напечатанія произведенія, разумѣется, совпадаетъ съ временемъ написанія, и потому *только при неимѣніи данныхъ о послѣднемъ* мы должны обращать вниманіе на первое. Въ настоящемъ случаѣ мы имѣемъ основаніе полагать, что стихотвореніе „Къ Н. Г. Л—ову“ написано *прежде* 1815 года. Оно напечатано было въ „Современникѣ“ 1830 г. (т. XIII, стр. 175) съ пропусками (подъ заглавіемъ „Путешественнику“) и съ замѣчаніемъ: *Авторъ писалъ это четырнадцати лѣтъ*“.

Вопросъ объ исправленіи посторонними стихотвореній Пушкина, напечатанныхъ въ „Сѣверной Звѣздѣ“, рѣшенъ г. Гаевскимъ не вполне удовлетворительно. По его словамъ, разница въ редакціи стихотвореній Пушкина въ „Сѣверной Звѣздѣ“ и въ Сочиненіяхъ происходитъ отъ исправленій, сдѣланныхъ самимъ Пушкинымъ, который даже въ зрѣломъ возрастѣ исправлялъ многія изъ своихъ юношескихъ произведеній (стр. 156). Какая же редакція новѣе? По нашему мнѣнію, „Посланіе къ Каверину“ въ томъ видѣ, какъ оно напечатано въ „Сѣверной Звѣздѣ“, выше по поэтическому достоинству, нежели редакція его въ Сочиненіяхъ.

Москва, 15 іюня.

Н. Тихомировъ.

* * *

*) Поздно, за недосугомъ, прочелъ я въ майской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ слѣдующее замѣчаніе В. П.

*) „Москвитянинъ“ 1854 г., т. 4, № 13. Замѣчаніе на замѣчаніе по поводу двухъ стиховъ въ „Борисѣ Годуновѣ“ Пушкина. С. Шевырева.

Гаевского, касательно перепечатанія одной сцены изъ „Бориса Годунова“ въ 5-мъ номерѣ „Москвитянина“.

„Сцена изъ „Бориса Годунова“, напечатанная уже два раза, является въ третій значительно искаженная. Искажения состоятъ въ томъ, что каждый стихъ раздѣленъ на два (вѣроятно, потому, что въ стихѣ по восьми хореическихкихъ стопъ), и на второй страницѣ прибавлены, со словъ С. П. Шевырева, два слѣдующіе стиха, очевидно принадлежащіе постороннему вдохновенію:

И куда костей проклятыхъ
Не заносятъ вороны.“

Всякому знающему русскую просодію извѣстно, что хореическій, равно какъ и ямбическій стихъ, болѣе шести стопъ не допускаетъ, и что осмистопный хореическій стихъ въ русскомъ языкѣ существовать не можетъ. Не зная этого позволительно издателю *Dorpaten Jahrbücher*, какъ нѣмцу, но непростительно писателю русскому.

Что касается до двухъ стиховъ, врѣзавшихся въ моей памяти съ того времени, какъ Пушкинъ самъ при мнѣ читалъ Бориса Годунова, и сообщенныхъ мною Н. С. Тихонову:

И куда костей проклятыхъ
Не заносятъ вороны,

то они искажены не мною, не редакціею „Москвитянина“, а самимъ В. П. Гаевскимъ, который ихъ напечаталъ въ слѣдующемъ видѣ:

И куда костей проклятыхъ
Не заносятъ вороны’.

Желалъ бы я знать, у какого нѣмца учился В. П. Гаевскій читать по-русски, а ужъ, конечно, учился онъ тому не у русскаго, если такъ читаетъ стихи Пушкина.

Стало-быть, онъ и соотвѣтствующіе имъ два стиха:

Міръ великъ: мнѣ путь-дорога
На четыре стороны,

читаетъ такъ:

На четыре стороны?!

Стало-быть, и шестой стихъ въ той же сценѣ, съ удареніемъ на третьемъ слогѣ съ конца:

Только слышишь кòлоколъ

онъ читаетъ:

Только слышишь колоколъ!

В. П. Гаевскій, позволившій себѣ обвинить меня публично въ искаженіи стиховъ Пушкина, вынуждаетъ меня также прямо сказать ему: чтобы судить о стихахъ Пушкина и о томъ, искажаютъ ли ихъ другіе, надобно В. П. Гаевскому узнать лучше правила удареній въ русскомъ языкѣ и правила русской просодіи.

Что же касается до того, что два стиха, мною сообщенные, принадлежать дѣйствительно А. С. Пушкину, то въ этомъ меня не разувѣряютъ ни В. П. Гаевскій съ своимъ знаніемъ русской орѳогіи и просодіи, ни всѣ его свидѣтели, которыхъ онъ приводитъ. Чтеніе „Бориса Годунова“, мною выслушанное изъ устъ самого поэта, принадлежитъ къ числу тѣхъ неизгладимыхъ впечатлѣній, которыя на всю жизнь остаются въ памяти. Нѣсколько разъ передавая эти стихи, вмѣстѣ съ содержаніемъ трагедіи, когда она еще не была обнародована, я еще болѣе усвоилъ ихъ своей памяти.

Но помимо моего убѣжденія, котораго я никому не навязываю, сошлюсь на самое дѣло. Всякій, его понимающій, умѣющій читать стихи Пушкина съ отчетомъ, увидитъ, что эти два стиха на мѣстѣ, и что безъ нихъ не будетъ округленъ, въ отношеніи къ просодіи, первый монологъ Григорія. Онъ оканчивается приемами черезъ стихъ: костью, бѣгомъ; стѣны, вѣтры. Точно также и второй монологъ, пока еще Григорій, погруженный въ свою думу, продолжаетъ рѣчь свою про себя, не замѣчая чернеца, оканчивается на приемѣ черезъ стихъ: моего и его.

Кромѣ доказательствъ, взятыхъ отъ просодіи, необходимость и важность этихъ двухъ стиховъ ясна логически и психологически для всякаго, кто привыкъ критически анализировать драматическую поэзію. Въ этихъ двухъ стихахъ выражается то состояніе отчаянной рѣшимости въ душѣ Григорія, изъ котораго вытекаетъ возможность послѣдующей сцены съ чернецомъ и всего того, что послѣ съ нимъ случилось. Дорога на четыре стороны открывалась и для витязя и для чернеца въ древней Руси, гдѣ со всѣхъ сторонъ встрѣчали путника на всѣхъ дорогахъ безчисленные монастыри; но надо было рѣшиться бѣжать туда, куда воронъ костей не заносилъ, чтобы сказать: *Поминай, какъ звали!* и тутъ же поддаться на вражеское искушеніе злого чернеца.

Дѣло такъ ясно, что не требуетъ болѣе доказательствъ. Но я увѣренъ, что В. П. Гаевскій, прочитавъ стихи, не съ голоса какого-нибудь нѣмца, а по-русски, согласится со мною, и не будетъ впередъ такъ рѣшителенъ въ своихъ обвиненіяхъ.

С. Шевыревъ.

* * *

*) „Современникъ“, для котораго не можетъ не быть дорога память незабвеннаго его основателя, неоднократно сѣтовалъ, что „Сочиненія Пушкина“ изданы у насъ въ разгонистныхъ одиннадцати томахъ, съ опечатками, безъ хронологической или какой-нибудь другой системы, безъ необходимыхъ примѣчаній и, наконецъ, безъ біографіи Пушкина, о которомъ до настоящаго времени публика знаетъ менѣе, чѣмъ объ иномъ обыкновенномъ авторѣ, бесѣдующемъ съ читателями о самомъ себѣ въ своихъ статейкахъ. Къ этимъ сѣтованіямъ въ послѣднее время можно было присоединить еще, что каково бы ни было изданіе Пушкина, но ужъ и его *въ продажъ по обыкновенной цѣнѣ не имѣется*,

*) „Современникъ“ 1854 г., т. 48.

и вся вновь прибывающая масса читателей или должна обходиться безъ Пушкина или платить за изданіе баснословную цѣну, именно: отъ тридцати пяти до сорока рублей серебромъ за экземпляръ! По всѣмъ этимъ и еще по многимъ другимъ, понятнымъ русскому читателю причинамъ, мы чувствуемъ неизъяснимое удовольствіе, имѣя, наконецъ, возможность объявить, что въ скоромъ времени Россія будетъ имѣть новое—какъ мы надѣмся—прекрасное изданіе сочиненій своего національнаго поэта. Нынѣшній издатель Пушкина *литераторъ* — и, слѣдовательно, понимаетъ свое дѣло и всю важность моральной отвѣтственности за выполненіе его передъ всѣми образованными русскими; поэтому должно думать, что онъ сдѣлаетъ все, что только будетъ возможно, чтобъ сообщить изданію полноту, отчетливость и всѣ качества, придающія подобному труду характеръ строго-классическій. Мы слышали, что изданіе расположено въ хронологическомъ порядкѣ, провѣрено съ прежними изданіями и подлинными рукописями Пушкина, снабжено необходимыми примѣчаніями и, наконецъ, дополнено новыми стихотвореніями, которыя посчастливилось издателю найти въ бумагахъ поэта и которыя, такимъ образомъ, явятся въ изданіи г. Анненкова *въ первый разъ* въ печати. Равнымъ образомъ собрано и включено въ составъ изданія все, что было обнародовано изъ произведеній Пушкина по выходѣ одиннадцати томовъ его сочиненій. Наконецъ, къ изданію приложена будетъ подробная біографія Пушкина, богатая новыми и любопытными фактами, матеріаломъ для которой послужили бумаги самого поэта, письма его къ разнымъ лицамъ, записки о немъ брата его Льва Сергѣевича и другихъ лицъ, близкихъ Пушкину. Имѣя въ рукахъ *такъ* изданнаго Пушкина, читая его біографію (которая одна составитъ значительный томъ), гдѣ рядомъ съ фактами жизни прослѣжены многія любопытныя особенности его творчества, присматриваясь къ почерку поэта, къ его портрету, къ рисункамъ, которые онъ иногда рисовалъ на поляхъ своихъ рукописей (что все войдетъ въ изданіе г. Анненкова), читатель получить возможность какъ бы перенестись въ ма-

стерскую великаго поэта, изъ которой вышли безсмертныя созданія его генія... Вотъ какого изданія „Сочиненій Пушкина“ давно и горячо желалъ „Современникъ!“ И мы увѣрены, что наше желаніе раздѣляла вся читающая Россія. Кажется, нѣтъ причины сомнѣваться, чтобъ все сказанное нами не осуществилось именно такъ, какъ здѣсь сказано. И издатель приступилъ уже къ печатанію „Сочиненій Пушкина“. Все изданіе будетъ состоять изъ шести или семи томовъ (смотря по тому, какъ удобнѣе будетъ размѣстить) и будетъ стоить, вмѣстѣ съ біографіей и другими приложеніями, 15 рублей серебромъ съ пересылкою, а безъ пересылки 12.

Изъ „Современника“ за 1854 г.

**Сочиненія А. С. Пушкина. Изданіе П. В. Анненкова, Спб.
1855. Шесть томовъ, въ 8 долю.**

*) Новое изданіе сочиненій Пушкина, которое давно и съ нетерпѣніемъ было ожидаемо русскими читателями, является, наконецъ, вполнѣ.

Предлагаемая статья имѣетъ предметомъ разсмотрѣть это изданіе со всѣхъ сторонъ, указать его достоинства и недостатки и обратить преимущественное вниманіе читателей на то, что оно представляетъ *новато* какъ въ литературномъ, такъ и въ біографическомъ отношеніяхъ. Подробный эстетическій разборъ самихъ произведеній поэта не входитъ въ планъ нашей статьи, потому что нѣсколько лѣтъ назадъ въ нашемъ же журналѣ былъ напечатанъ полный разборъ сочиненій Пушкина. Взглядъ нашъ съ тѣхъ поръ не измѣнился, потому что творенія Пушкина, хотя уже почти четверть вѣка прошло надъ его могилю, до сихъ поръ не утратили своей обаятельной силы и свѣжести, и еще далеко то время, когда критика въ состояніи будетъ сказать что-либо новое или измѣнить свои сужденія о его произведеніяхъ, изъ кото-

*) „Отечественныя Записки“ 1855 г., т. 100, № 6. Статья В. Гаевского.

рыхъ многимъ суждена вѣчная юность, какъ всему истинному въ наукѣ и искусствѣ.

Потребность новаго изданія сочиненій Пушкина была признана давно, именно вслѣдъ за явившимся въ 1838 году собраніемъ его сочиненій, въ которомъ оказалось много не исправностей. Сравненіе между двумя отъродными предметами лучше всего объясняетъ ихъ свойства и взаимныя отношенія, и потому употребимъ это средство, чтобъ показать огромную разницу между двумя посмертными изданіями сочиненій Пушкина и важныя достоинства изданія г. Анненкова.

Начинаемъ сравненіе съ наружности. Первое изданіе въ этомъ, какъ и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, не удовлетворяетъ самымъ умѣреннымъ требованіямъ: оно напечатано на дурной бумагѣ, избитымъ шрифтомъ, испещрено опечатками, способными размѣшить угрюмѣйшаго изъ читателей, и, несмотря на всю свою неполноту, растянута на одиннадцать толстыхъ томовъ потому только, что въ немъ нерѣдко встрѣчается по двѣ строчки на страницѣ. Изданіе П. В. Анненкова, въ сравненіи съ первымъ, можетъ назваться изящнымъ, хотя также не совсѣмъ удовлетворительно въ типографскомъ отношеніи (въ немъ также немало опечатокъ), но, по крайней мѣрѣ, вмѣсто прежняго одиннадцати-томнаго изданія, читатель получаетъ теперь за гораздо меньшую цѣну (12 р. сер.) шесть компактныхъ томовъ (въ томъ числѣ одинъ, занятый біографіею поэта), въ которыхъ найдеть очень много пропущеннаго первымъ изданіемъ.

Но достоинства новаго изданія особенно важны во всѣхъ другихъ, существенныхъ отношеніяхъ. Оно, несмотря на нѣкоторые недостатки въ частностяхъ, можетъ считаться образцовымъ по своей системѣ.

Въ прежнемъ изданіи произведенія Пушкина напечатаны въ произвольномъ порядкѣ; стихотворенія раздѣлены по родамъ, придуманнымъ также произвольно, отчего и вышла большая путаница. Напримѣръ, судя по этимъ рубрикамъ у Пушкина оказывается только семь *лирическихъ* стихотвореній, между тѣмъ какъ въ изданіи г. Анненкова имъ по-

священы полтора тома. Вслѣдъ за семью лирическими стихотвореніями (т. III) идетъ отдѣлъ *пѣсенъ, стансовъ и сонетовъ*; за ними слѣдуютъ *посланія, элегии, подражанія восточнымъ стихотворцамъ и эпитафмы*, какъ будто всѣ эти подраздѣленія не составляютъ видовъ той же лирической поэзіи. Въ слѣдующемъ (IV) томѣ встрѣчается еще отдѣлъ *антологическихъ* стихотвореній; тѣ же пьесы, которыя не подошли подъ рубрики, а таковыхъ оказалось довольно (около третьей доли IV т.), напечатаны подъ названіемъ *разныхъ стихотвореній*. Подобная система, встрѣчавшаяся довольно часто въ изданіяхъ произведеній нашихъ поэтовъ, такъ же мало имѣетъ основанія, какъ распредѣленіе стихотвореній по ихъ размѣрамъ. Если же допустить раздѣленіе стихотвореній по родамъ—раздѣленіе нерѣдко произвольное, то отчего же, напримѣръ, не допустить раздѣленія ихъ по размѣрамъ? И то и другое одинаково касается не сущности, а только внѣшнихъ, случайныхъ условій стихотворенія, только его формы, и собирать въ одинъ отдѣлъ элегии, въ другой пѣсни и т. д. такъ же странно, какъ было бы странно печатать въ одномъ отдѣлѣ ямбическія стихотворенія, въ другомъ хорейскія и т. д.

Новый издатель принялъ въ этомъ отношеніи систему хронологическаго порядка, самую удобную для того, чтобъ слѣдить за постепеннымъ развитіемъ поэта, чтобъ наблюдать, въ какой степени, когда и долго ли онъ находился подъ тѣмъ или другимъ вліяніемъ и какъ, мало-по-малу освобождаясь отъ нихъ, достигъ самостоятельнаго творчества, сталъ полнымъ властелиномъ въ искусствѣ. Избранная г. Анненковымъ система, которую нельзя не предпочесть всѣмъ другимъ, имѣетъ еще особую важность для изученія дѣятельности и личности Пушкина. Его поэзія, субъективная по преимуществу, находила источникъ въ самой жизни: для Пушкина жизнь была поэзією, а поэзія жизнью. Такому близкому соотношенію жизни поэта съ его произведеніями болѣе всего способствовала, при необыкновенной его впечатлительности, постоянная потребность высказываться, потребность, которая, не ограничиваясь произведеніями, на-

значенными для печати самим поэтомъ, проявлялась и въ его бесѣдахъ въ обществѣ и въ постоянной перепискѣ съ пріятелями, никогда вполнѣ не удовлетворяясь. Пушкинъ постоянно записывалъ свои мысли, видѣнное и слышанное, записывалъ безъ системы, безъ связи, и давалъ своимъ впечатлѣніямъ поэтическіе образы, слѣдуя внушеніямъ этой непреодолимой потребности. „Въ его произведеніяхъ (говорить г. Анненковъ) безпрестанно слышится живой голосъ событія, и сквозь поэтическую призму ихъ безпрестанно мелькаетъ настоящее происшествіе“. Это близкое соотношеніе дѣйствительности и авторства дѣлаетъ произведенія Пушкина поэтическою автобіографіею, для уразумѣнія которой система, избранная издателемъ, служить лучшею путеводною нитью. Но, по разнообразію поэтическихъ формъ, усвоенныхъ Пушкинымъ, оказывалось затруднительнымъ принять эту систему безусловно для всѣхъ его стихотворныхъ произведеній. Печатать небольшое лирическое стихотвореніе, за которымъ слѣдовала бы поэма или драма, а за нею опять рядъ мелкихъ стихотвореній, такимъ же образомъ нарушенный, представляло неудобство и въ типографскомъ и въ эстетическомъ отношеніяхъ. Поэтому издатель, сохранивъ вездѣ основной хронологическій порядокъ, принялъ еще три отдѣла для стихотворныхъ произведеній Пушкина; но, при составленіи этихъ отдѣловъ, имѣлъ въ виду только внѣшнія, рѣзко отличающіяся другъ отъ друга формы произведеній. На этомъ основаніи допущены слѣдующіе отдѣлы: 1) Стихотворенія лирическія въ обширномъ смыслѣ; 2) Произведенія эпическія, то-есть поэмы, повѣсти, рассказы, народныя эпосы и сказки и 3) произведенія драматическія.

Самый существенный недостатокъ прежняго изданія сочиненій Пушкина — неполнота. Первые восемь томовъ изданія замѣчательны пропусками произведеній, не только разсѣянныхъ въ журналахъ, но даже помѣщенныхъ въ изданныхъ при жизни поэта собраніяхъ его сочиненій. Чтобы сколько-нибудь поправить это дѣло, въ 1841 году изданы компаніею издателей-книгопродавцевъ еще три тома. Эти дополненія, напечатанныя нѣсколько лучше первыхъ восьми

томовъ, замѣчательны такою же неполнотою и отсутствіемъ системы. Напримѣръ, девятый томъ, посвященный стихотворнымъ произведеніямъ, открывается отдѣломъ, названнымъ въ оглавленіи просто *Стихотворенія* („Мѣдный Всадникъ“, „Каменный Гость“, „Русалка“ и „Галубъ“); за нимъ слѣдуютъ *Мелкія стихотворенія*, въ числѣ которыхъ помѣщена, между прочимъ, *Сказка о купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ*; потомъ особый отдѣлъ составляютъ *Послѣднія три стихотворенія А. С. Пушкина*, изъ которыхъ, однакожь, какъ извѣстно, не всѣ были послѣдними; за ними слѣдуютъ *Лицейскія стихотворенія*, въ числѣ которыхъ оказались 1) не лицейскія (напримѣръ, „Мой первый другъ, мой другъ безцѣнный“), 2) не принадлежащія Пушкину (напримѣръ, *Застольная Пѣсня*) и 3) напечатанныя по два раза (*Сну, Друзьямъ и къ Дельвигу*). Но забавнѣе всего отдѣлъ подъ заглавіемъ: *Стихотворенія, пропущенныя въ послѣднемъ полномъ (?) изданіи*, въ числѣ которыхъ находится статейка въ прозѣ (Объясненіе), и если оказывается нѣсколько десятковъ стихотвореній, не попавшихъ и въ этотъ отдѣлъ, за то нѣкоторыя (*Отрывокъ изъ посланія В. Л. Пушкину и Въ альбомъ малюткѣ*), вѣроятно, для большаго удовольствія читателей, напечатаны во второй разъ... Замѣчанія журналовъ побудили издателей трехъ послѣднихъ томовъ обѣщать новое дополненіе къ нимъ, въ которомъ предполагалось помѣстить все, что пропущено въ одиннадцати томахъ такъ называемаго полнаго собранія сочиненій Пушкина, а пропущеннаго оказалось множество, не считая неизданныхъ произведеній. Предположеніе это, однакожь, не состоялось, и только по истеченіи четырнадцати лѣтъ уже другимъ опытнымъ издателемъ исправлены недосмотры и ошибки прежнихъ издателей.

Г. Анненковъ далъ себѣ задачу представить читателямъ возможно-полное собраніе сочиненій Пушкина. Съ этою цѣлью онъ пересмотрѣлъ альманахи и періодическія изданія, въ которыхъ печатались произведенія Пушкина, воспользовался журнальными указаніями пропущенныхъ посмертнымъ изданіемъ сочиненій поэта, и извлекъ изъ поступившихъ въ

его распоряженіе бумагъ Пушкина, въ которыхъ оказалось еще много неизданнаго, все, что могло быть доступно любопытству читателей. Несмотря, однакожь, на добросовѣстность этой кропотливой работы, издатель сознается, „что найдется еще много упущеній и недосмотровъ“ въ его изданіи, которому онъ не далъ даже названія полнаго. Дѣйствительно, въ трудѣ г. Анненкова оказываются нѣкоторые пропуски, которые будутъ указываемы ниже; но, несмотря на это, его изданіе несравненно полнѣе всѣхъ тѣхъ, которыя у насъ считаются полными.

Кромѣ отсутствія системы и неполноты, прежнее изданіе сочиненій Пушкина отличалось еще искаженіемъ текста. Новый издатель обратилъ особенное вниманіе на этотъ важный недостатокъ. Такъ какъ исправленіе текста, по важности задачи, требовало доказательствъ на право поправки или измѣненія, то г. Анненковъ снабдилъ почти каждое изъ произведеній поэта указаніями, гдѣ оно впервые явилось, какія измѣненія получало въ различныхъ изданіяхъ при жизни поэта, и въ какомъ отношеніи съ текстомъ этихъ редакцій находится текстъ посмертнаго изданія. Такимъ образомъ читатели имѣютъ теперь возможность слѣдить за измѣненіями каждаго произведенія. Многія изъ стихотвореній и статей поэта (особенно явившіяся въ печати по смерти его) сличены съ рукописями, и по нимъ указаны его числовыя помѣтки, первыя мысли и намѣренія. Хронологическое распредѣленіе стихотвореній также находитъ въ примѣчаніяхъ оправданіе и подтвердительныя данныя, заимствованныя отчасти изъ бумагъ поэта, а отчасти изъ явившихся еще при жизни Пушкина пяти собраній его стихотвореній, которыя помѣщены въ нихъ также въ хронологическомъ порядкѣ. Г. Анненковъ обратилъ даже вниманіе на особенное правописаніе Пушкина, проявлявшееся не только въ собраніяхъ его сочиненій, но даже въ изданіяхъ, въ которыя онъ посылалъ свои произведенія. Эти орфографическія особенности собраны издателемъ въ примѣчаніяхъ, а вмѣстѣ съ ними указаны и нѣкоторыя изъ тѣхъ, которыя не принадлежатъ поэту, и употреблены посторонней редакціей его сочиненій. И тѣ и другія

заслуживаютъ нѣкотораго вниманія, какъ образцы грамматическихъ колебаній нашего языка.

Дальнѣйшее сравненіе между обоими изданіями — сравненіе ихъ въ частностяхъ, подтвердило бы сказанное выше и доказало бы, какъ уже доказало сравненіе ихъ въ общихъ чертахъ, что изданіе г. Анненкова удовлетворяетъ болѣе или менѣе всѣмъ законнымъ требованіямъ.

Первый томъ посвященъ обширной біографіи поэта, напечатанной подъ скромнымъ названіемъ *Матеріаловъ для біографіи Александра Сергѣевича Пушкина*. Разсмотрѣніемъ этихъ „Матеріаловъ“ теперь и займемся преимущественно.

Авторъ начинаетъ біографію поэта съ его родословной и, ссылаясь на „Родословную Пушкиныхъ и Ганнибаловыхъ“, переданную самимъ поэтомъ въ его *Запискахъ*, прибавляетъ къ ней нѣсколько замѣтокъ. Для лучшаго уразумѣнія родословной, г. Анненковъ приложилъ къ своему труду родословную таблицу, составленную со словъ сестры поэта ея мужемъ Н. И. Павлицевымъ. Родословная начинается со стольника Петра Петровича Пушкина, скончавшагося въ 1677 году, и доведена до 1851 года, съ котораго времени единственное дополненіе къ ней составляетъ смерть брата поэта Льва Сергѣевича Пушкина, скончавшагося въ Одессѣ въ 1852 году.

Къ сожалѣнію, г. Анненковъ не упоминаетъ ни объ одномъ изъ Пушкиныхъ, жившихъ при государяхъ Рюрика дома и игравшихъ не послѣднюю роль въ нашей исторіи. Въ одной „Исторіи Государства Россійскаго“ Карамзина говорится объ *одиннадцати* Пушкиныхъ, и читатели тѣмъ болѣе въ правѣ были ожидать отъ г. Анненкова подробностей въ этомъ отношеніи, что самъ поэтъ въ „Запискахъ“ своихъ называетъ (и то невѣрно) только весьма немногихъ представителей своего рода. Поэтъ вообще дорожилъ своею родословной, и въ неизданномъ стихотвореніи своемъ *Моя Родословная*, изъ котораго небольшіе отрывки не разъ являлись въ печати, съ гордостью говоритъ о древности своего рода. Г. Анненковъ упоминаетъ въ „Матеріалахъ“ о причинѣ, породившей эту пьесу, и приводитъ изъ нея полторы строфы. Излагая родословную поэта, г. Анненковъ только

упоминаетъ объ извѣстномъ родоначальникѣ фамиліи Ганнибаловъ, негрѣ Абрамѣ Петровичѣ, и возвращается къ нему уже на стр. 300, по поводу литературныхъ и филологическихъ замѣтокъ Пушкина. Тамъ же приведено и любопытное письмо императрицы Екатерины II къ А. П. Ганнибалу. Эти свѣдѣнія, составляющія перерывъ въ изложеніи литературной дѣятельности Пушкина, были бы болѣе уместны въ его родословной.

Вообще г. Анненковъ не воспользовался, при изложеніи родословной поэта, не только историческими матеріалами, но пренебрегъ въ этомъ отношеніи и позднѣйшими журнальными указаніями. Такъ, напримѣръ, онъ не воспользовался важнѣйшимъ матеріаломъ для родословной поэта — статью П. И. Бартенева: *Родъ и дѣтство Пушкина* („Отечеств. Записки“ 1853, № 11), даже не упомянулъ объ этой статьѣ, такъ же какъ о замѣчательныхъ двухъ главахъ біографіи Пушкина того же автора („Московскія Вѣдомости“ 1854 г., № 71—118).

Сличеніе „Матеріаловъ“ г. Анненкова съ тѣми матеріалами для біографіи Пушкина, которыми онъ не воспользовался, и дополненіе родословной поэта по названнымъ источникамъ повлекло бы насъ слишкомъ далеко. Притомъ подобная разработка есть уже дѣло не критики, а біографіи, и потому, предоставляя этотъ трудъ будущему біографу Пушкина, переходимъ къ описанію дѣтства и воспитанія поэта.

Въ числѣ лицъ, лелѣявшихъ дѣтство Пушкина, особенно замѣчательна его няня, извѣстная Ирина Родіоновна, имѣвшая большое вліяніе на первоначальное воспитаніе своего питомца. Г. Анненковъ въ немногихъ словахъ очень живо очертилъ трогательныя отношенія къ ней Пушкина. „Соединеніе добродушія и ворчливости, нѣжнаго расположенія къ молодости съ притворною строгостью, оставили въ сердцѣ Пушкина неизгладимое воспоминаніе. Онъ любилъ ее (няню) родственною, неизмѣнною любовью, и въ годы возмужалости и славы бесѣдовалъ съ нею по цѣлымъ часамъ. Это объясняется еще и другимъ важнымъ достоинствомъ Ирины Ро-

діоновны: весь сказочный русскій міръ былъ ей извѣстенъ какъ нельзя короче, и передавала она его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки—не сходили у нея съ языка. Большую часть народныхъ былинъ и пѣсенъ, которыхъ Пушкинъ такъ много зналъ, слышалъ онъ отъ Прины Родіоновны. Можно сказать съ увѣренностью, что онъ обязанъ своей нянѣ первымъ знакомствомъ съ источниками народной поэзіи и впечатлѣніями, которыя, однакожь, были замѣтно ослаблены послѣдующимъ воспитаніемъ. Въ числѣ писемъ къ Пушкину почти отъ всѣхъ знаменитостей русскаго общества находятся и записки отъ старой няни, которыя онъ берегъ наравнѣ съ первыми“. Разказы Прины Родіоновны не разъ служили основаніемъ для произведеній Пушкина. Въ бумагахъ его сохранились семь сказокъ, записанныхъ со словъ его няни, изъ которыхъ три послужили основой для сказокъ о царѣ Салтанѣ, о мертвой царевнѣ и о купцѣ Остолопѣ, а одна для сказки Жуковского о царѣ Берендеѣ, и находятся въ числѣ приложений къ „Матеріаламъ“. Великій поэтъ „отзывался о нянѣ какъ о послѣднемъ своемъ наставникѣ, и говорилъ, что этому учителю онъ много обязанъ исправленіемъ недостатковъ своего первоначальнаго французскаго воспитанія“. Дѣйствительно, своимъ близкимъ знакомствомъ съ народными повѣрьями и русскимъ сказочнымъ міромъ поэтъ прежде всего обязанъ своей нянѣ, о чемъ будемъ имѣть случай говорить еще впослѣдствіи, по поводу эпическихъ произведеній Пушкина. Какое трогательное обращеніе къ ней составляетъ слѣдующій отрывокъ, впервые напечатанный въ изданіи г. Анненкова:

Подруга дней моихъ суровыхъ,
Голубка дряхлая моя!
Одна въ глуши лѣсовъ сосновыхъ
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты подъ окномъ своей свѣтлицы
Горюешь будто на часахъ,
И медлятъ поминутно спицы
Въ твоихъ наморщенныхъ рукахъ.
Глядишь въ забытыя ворота
На черный, отдаленный путь:

Тоска, предчувствіе, заботы
Тѣснятъ твою всечасно грудь...

Уваженіе Пушкина къ Принѣ Родіоновнѣ, къ которой онъ не разъ обращался въ своихъ произведеніяхъ, было раздѣляемо и другимъ поэтомъ, Языковымъ, посвятившимъ ей нѣсколько стихотвореній.

Г. Анненковъ возвращается еще къ этой замѣчательной личности на стр. 119 „Матеріаловъ“, по поводу рассказовъ Ирины Родіоновны, такъ художественно воспроизведенныхъ ея питомцемъ. Замѣтимъ кстати, что г. Анненковъ въ своемъ трудѣ недостаточно группируетъ факты: не кончивъ говорить объ одномъ предметѣ, онъ переходитъ къ другому, и снова, не исчерпавъ его вполне, начинаетъ другое или возвращается къ прежнему разсказу. На первыхъ пяти страницахъ біографіи встрѣчаются два такіе примѣра. Упомянувъ только о Ганнибалѣ въ родословной поэта, авторъ переходитъ къ другимъ его предкамъ, и возвращается къ Ганнибалу только по поводу сочиненій Пушкина, при любопытномъ объясненіи процесса его творчества, гдѣ это отступленіе не совсѣмъ уместно. Точно также разсказъ объ Принѣ Родіоновнѣ прерывается въ самомъ началѣ, и авторъ дорисовываетъ эту замѣчательную личность впоследствии, говоря объ образѣ жизни поэта и о его авторскихъ пріемахъ. Это отсутствіе строгаго плана и нѣкоторая отрывочность изложенія тѣмъ болѣе замѣтны, что авторъ не позаботился объ оглавленіи написанной имъ біографіи, не раздѣлилъ ея на главы, и вообще не сдѣлалъ ничего, чтобъ облегчить читателямъ изученіе своего любопытнаго труда и доставить болѣе удобства для справокъ.

„Матеріалы“ г. Анненкова не сообщаютъ ничего новаго о дѣтствѣ поэта, которое уже подробно описано въ двухъ статьяхъ г. Бартенева, названныхъ выше. Жаль, что г. Анненковъ не хотѣлъ ими воспользоваться. Г. Бартеньевъ сообщаетъ, между прочимъ, въ обѣихъ своихъ статьяхъ, со словъ П. В. Нащокина, слѣдующій характеристическій анекдотъ, котораго не находимъ у г. Анненкова: „Въ За-

харовѣ жила у нихъ въ домѣ одна дальняя родственница, молодая помѣшпанная дѣвушка, помѣщавшаяся въ особой комнатѣ. Говорили и думали, что ее можно вылѣчить испугомъ. Разъ ребенокъ-Пушкинъ ушелъ въ рощу, гдѣ любилъ гулять; расхаживалъ, воображалъ себя богатыремъ, и палкою сбивалъ верхушки и головки растеній. Возвращаясь домой, видитъ онъ на дворѣ свою сумасшедшую родственницу, въ бѣломъ платьѣ, растрепанную, встревоженную. „Mon frère, on me prend pour un incendie“, кричитъ она ему. Дѣло въ томъ, что, для испуга, въ окно ея комнаты провели кишку пожарной трубы. Тотчасъ догадавшись, Пушкинъ спокойно и съ любезностью началъ увѣрять ее, что она напрасно такъ думаетъ, что ее сочли не за пожаръ, а за цвѣтокъ, что цвѣты также изъ трубы поливаютъ“. (Московск. Вѣдом. 1854, № 71).

Лицейская жизнь Пушкина изложена у г. Анненкова не совсѣмъ удовлетворительно, особенно если сравнить эту часть „Матеріаловъ“ со второю главою біографіи Пушкина, начатой г. Бартевымъ. Послѣдній справедливо говоритъ, что лицей подѣйствовалъ на умъ Пушкина, „сообщивъ его мыслямъ опредѣленное направленіе, и на сердце, давъ возможность рано развиться нѣжнымъ склонностямъ дружбы, чувствамъ чести и товарищества“, однимъ словомъ, онъ вполне раскрылъ всѣ его способности, и потому г. Бартевъ весьма основательно считалъ себя обязаннымъ „поговорить о лицей сколько возможно подробнѣ“. Въ статьѣ г. Бартева дѣйствительно заключается множество любопытныхъ подробностей о лицейскомъ воспитаніи Пушкина, подробностей, которыхъ не находимъ у г. Анненкова. Вообще вторая глава труда г. Бартева, несмотря на то, что явилась нѣсколько мѣсяцевъ ранѣ „Матеріаловъ“ г. Анненкова, могла бы служить любопытнымъ къ нимъ дополненіемъ.

Но если „Матеріалы“ г. Анненкова не представляютъ полного собранія всѣхъ напечатанныхъ матеріаловъ и указаній для біографіи поэта, за то они представляютъ много неизданнаго, въ высшей степени любопытнаго и проливающего совершенно новый свѣтъ на жизнь и дѣятельность

Пушкина. Вообще, немногіе изъ біографовъ имѣли возможность воспользоваться для своего труда такими богатыми данными, какъ г. Анненковъ, и потому необыкновенный интересъ и совершенная новость нѣсколькихъ страницъ „Матеріаловъ“ вполне выкупаютъ нѣкоторую неполноту ихъ въ бібліографическомъ отношеніи. Эта новостъ фактовъ, поражающая вниманіе читателя во многихъ мѣстахъ біографіи, замѣчательна и въ описаніи лицейской жизни Пушкина. Кромѣ нѣсколькихъ стихотворныхъ отрывковъ, относящихся къ тому времени, г. Анненковъ приводитъ найденные въ бумагахъ поэта отрывки его автобіографіи. Одинъ изъ нихъ представляетъ только *программу записокъ* Пушкина, не сохранившую никакихъ подробностей, но заключающую въ себѣ множество указаній и намековъ, безъ сомнѣнія, еще понятныхъ для товарищей и современниковъ Пушкина и способныхъ возбудить въ нихъ многія воспоминанія о томъ времени. Для позднѣйшаго потомства многое въ этой программѣ совершенно непонятно и будетъ навсегда потеряно для читателей, если трудъ г. Анненкова не вызоветъ кого-нибудь изъ современниковъ поэта подѣлиться съ публикой своими драгоценными воспоминаніями. Другой любопытный документъ, приводимый г. Анненковымъ, есть *Отрывокъ изъ записокъ Пушкина*, веденныхъ имъ въ лицей. Этотъ отрывокъ посвящаетъ насъ въ тайны новаго міра, который только что открывался для ума и сердца даровитаго юноши. Въ немъ мы находимъ все, что занимало пятнадцатилѣтняго поэта: его первыя литературныя сужденія, высказанныя съ юношескою прямою по поводу комедій кн. Шаховского, возбуждавшихъ въ то время большіе споры, планы будущихъ литературныхъ занятій, въ которыхъ высказывались уже направленіе и потребность литературной дѣятельности, и рядомъ съ этими стремленіями — дѣтскія шалости, надъ которыми даже и въ то время смѣялся самъ Пушкинъ.

Вотъ небольшой отрывокъ изъ этихъ любопытныхъ записокъ: „10 декабря. Вчера написалъ я третью главу: *Фатама или разумъ человѣческій*, читалъ ее С. С. (вѣроятно. С. С. Фролову, бывшему надзирателемъ, а потомъ инспек-

торомъ лица), и вечеромъ съ товарищами тушилъ свѣчки и лампы въ залѣ. Прекрасное занятіе для философа! Поутру читалъ жизнь Вольтера. Началъ я комедію—не знаю, кончу ли ее. Третьяго-дня хотѣлъ я написать ироническую поэму *Игорь и Ольга*... Лѣтомъ напишу я *Картину Царскаго села*. 1. Картина сада. 2. Дворецъ. День въ Ц. С. 3. Утреннее гулянье. 4. Полуденное гулянье. 5. Вечернее гулянье. 6. Жители Царскаго Села.—Вотъ главные предметы всеневныхъ моихъ записокъ—но это еще будущее“.

Въ этой коротенькой программѣ, не имѣющей отдѣльнаго значенія, уже высказались литературные приемы Пушкина, съ которыми такъ хорошо знакомить своихъ читателей г. Анненковъ, и о которыхъ будетъ еще сказано ниже. Великій поэтъ, даже и въ годы полнаго развитія своего таланта, не оставлялъ этого способа, который служилъ указателемъ пути для его вдохновенія, и чѣмъ болѣе онъ овладѣвалъ вдохновеніемъ, тѣмъ менѣе отступалъ отъ предначертаннаго плана. Весьма вѣроятно, что программа, приведенная выше, имѣла своимъ послѣдствіемъ знаменитыя *Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ*, читанныя пеэтомъ на лицейскомъ экзаменѣ въ присутствіи Державина, хотя со второй же строки Пушкинъ отступилъ отъ программы и забылъ о предположенныхъ описаніяхъ, отдавшись лирическому одушевленію при воспоминаніяхъ о главныхъ подвигахъ екатерининскихъ героевъ. Быть можетъ также, что программа, какъ полагаетъ г. Анненковъ, „могла служить продолженіемъ“ этого стихотворенія. Но какая изумительная дѣятельность въ эти годы! Пятнадцатилѣтній мальчикъ пишетъ романъ, начинаетъ комедію, обдумываетъ героическую и описательную поэмы и, кромѣ того, находитъ еще время для серьезнаго чтенія и для школьных шалостей. Въ уцѣлѣвшихъ листкахъ „Записокъ“ Пушкина, занятыхъ ученическими куплетами, намеки и значеніе которыхъ могутъ быть объяснены только сверстниками поэта, есть отрывокъ, свидѣтельствующій, что ему уже были знакомы волненія и восторги первой любви. Вотъ этотъ отрывокъ, замѣчательный, какъ первое выраженіе страсти, созданной ме-

чтательнымъ воображеніемъ и высказанной съ дѣтскою сентиментальностью:

„И такъ я счастливъ былъ и такъ я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгомъ упивался!..
И гдѣ веселья быстрый день?
Промчались летомъ сновидѣнья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вокругъ меня угрюмой скуки тѣнь!..“

„Я счастливъ былъ! нѣтъ, я вчера не былъ счастливъ;
поутру я мучился ожиданьемъ, съ неописаннымъ волненіемъ
стоя подъ окошкомъ, смотрѣлъ на снѣжную дорогу—ея не
видно было! Наконецъ, я потерялъ надежду; вдругъ нечаянно
встрѣчаюсь съ нею на лѣстницѣ... Сладкая минута!..

„Онъ пѣлъ любовь, но былъ печаленъ гласъ,
Увы! онъ зналъ одну любви лишь муку!

Жуковский“.

„Какъ она мила была! Какъ черное платье пристало къ
милой Б...

Я былъ счастливъ 5 минутъ“.

Литографическій снимокъ съ этихъ строкъ находится въ
числѣ приложений къ біографіи поэта.

Лицейскія элегіи Пушкина, безъ сомнѣнія, имѣютъ близкое отношеніе къ приведенному отрывку и выражаютъ тѣ же первыя тревоги поэтической души, основаніемъ которыхъ было не дѣйствительное событіе, не настоящая страсть, но юношеская мечтательность, [которая вызываетъ неясныя жалобы, опережающія дѣйствительность.

Въ своихъ позднѣйшихъ произведеніяхъ поэтъ не разъ возвращается къ этимъ сладостнымъ воспоминаніямъ молодости и лицейской жизни. Между ними особенно замѣчательны, если не въ художественномъ, то въ автобіографическомъ отношеніи, по искренности, съ которою поэтъ изображаетъ самъ себя, слѣдующія двѣ строфы изъ VIII пѣсни „Евгенія Онѣгина“, впервые являющіяся въ своемъ первобытномъ видѣ въ „Матеріалахъ“:

Въ тѣ дни, когда въ садахъ Лицея
Я безмятежно расцвѣталъ,
Читалъ охотно Елисея, *)
А Цицерона проклиналъ.
Въ тѣ дни, какъ я поэмѣ рѣдкой
Не предпочелъ бы мячикъ мѣткій,
Считалъ схоластику за вздоръ
И прыгалъ въ садъ черезъ заборъ;
Когда порой бывалъ прилеженъ,
Порой лѣнивъ, порой упрямъ,
Порой лукавъ, порою прямъ,
Порой смиренъ, порой мятеженъ,
Порой печаленъ, молчаливъ,
Порой сердечно говорливъ;
Когда въ забвеньи передъ классомъ
Порой терялъ я взоръ и слухъ,
И говорить старался басомъ,
И стригъ надъ губой первый пухъ—
Въ тѣ дни... въ тѣ дни, когда впервые
Замѣтилъ я черты живыя
Прелестной дѣвы, и любовь
Младую взволновала кровь,
И я, тоскуя безнадежно,
Томясь обманомъ пылкихъ сновъ,
Вездѣ искалъ ея слѣдовъ,
Объ ней задумывался нѣжно,
Весь день минутной встрѣчи ждалъ
И счастье тайныхъ мукъ узналъ...

Въ другомъ стихотвореніи Пушкина, также впервые явившемся въ изданіи г. Анненкова, воспоминанія дѣтства и юности принимаютъ вполне художественные образы, поразительные своимъ величественнымъ спокойствіемъ и простотою:

Наперсница волшебной старины,
Другъ вымысловъ игривыхъ и печальныхъ—
Тебя я зналъ во дни моей весны, и проч.

Сочувствіе къ литературѣ обнаруживалось съ самаго начала курса и составляло характеристическую черту лицей-

*) *Елисей, или раздраженный Вакхъ*, шуточная поэма Василія Майкова, которою восхищался Пушкинъ.

скаго воспитанія. Между воспитанниками образовалось литературное общество, цѣлью котораго были литературныя бесѣды, а также изданіе (въ своемъ кругу) и оцѣнка своихъ сочиненій. Центромъ и душою этого общества былъ Пушкинъ, писавшій стихи еще до поступленія въ лицей и усвоившій себѣ разнообразнымъ чтеніемъ знакомство съ русскою и особенно французскою литературою. Доказательствомъ дѣятельности общества служатъ изданные имъ журналы, изъ которыхъ г. Анненковъ называетъ четыре: *Лицейскій Мудрецъ*, *Для удовольствія и пользы*, *Неопытное Перо* и *Пловцы*. Всѣ эти журналы, какъ уже было напечатано, давно пропали.

Изъ наставниковъ лицея, которымъ было ввѣрено воспитаніе юношей, нѣкоторые поощряли въ нихъ страсть къ литературнымъ занятіямъ, другіе же, напротивъ, старались удерживать ихъ отъ этихъ преждевременныхъ стремленій къ авторству, положительно вредившихъ ученію. И тѣ и другіе были отчасти правы. Къ числу первыхъ принадлежалъ любимый всѣми гувернеръ и учитель рисованія С. Г. Чириковъ, посвятившій всю жизнь добросовѣстному исполненію своего призванія. У него нерѣдко бывали литературныя собранія лицейстовъ, и, по свидѣтельству г. Бартенева, въ его гостиной, надъ диваномъ долго сохранялось нѣсколько написанныхъ на стѣнѣ Пушкинымъ шуточныхъ стиховъ.

Самымъ строгимъ цѣнителемъ юношескихъ литературныхъ попытокъ былъ профессоръ русской и латинской словесности Н. О. Кошанскій, о которомъ упоминаетъ и г. Анненковъ. Строгость его сужденій, поселявшая въ молодомъ Пушкинѣ недовѣріе къ собственнымъ его силамъ, не разъ выражавшееся въ его лицейскихъ стихотвореніяхъ, особенно огорчала молодого поэта. Въ посланіи къ Дельвигу, напечатанномъ въ изданіи г. Анненкова и въ первоначальномъ и въ совершенно передѣланномъ видѣ Пушкинъ говоритъ, что онъ въ юности встрѣтилъ клевету, вражду и зависть, что онъ оставляетъ и лиру и вѣнецъ, и обрекаетъ себя бездѣйствію и забвенью. Въ примѣчаніяхъ изъ

датель говоритъ, что въ посланіяхъ къ Дельвигу жалобы автора на зависть и клевету, „совсѣмъ неизъяснимы, да, можетъ быть, и тогда не имѣли основанія“. Мы полагаемъ, что эти жалобы объясняются вышеупомянутою строгостью сужденій, въ которой поэтъ видѣлъ только недоброжелательство.

Дельвигъ, какъ доказываютъ его напечатанныя стихотворенія, прежде другихъ открылъ и оцѣнилъ дарованіе Пушкина, и предсказалъ своему другу ожидавшую его славу. Въ неизданномъ стихотвореніи *На смерть Державина* Дельвигъ обращается къ Пушкину, какъ къ законному наслѣднику дарованія знаменитаго лирика. Вотъ это обращеніе:

Кто жъ нынѣ посмѣетъ владѣть его громкою лирой?
Кто, Пушкинъ?

Кто пламенный, избранный Зевсомъ еще въ колыбели,
счастливецъ,

Въ порывѣ прекрасной души се свѣжимъ вѣнкомъ
увѣнчаетъ?

Молися Каменамъ! и я за друга молю васъ, Камени!
Любите младого пѣвца, охраняйте невинное сердце,
Зажгите возвышенный умъ, окрылите юные персты!..

Впрочемъ, строгіе приговоры недолго тревожили и волновали Пушкина. Сознавъ свое дарованіе, онъ сдѣлался къ нимъ равнодушенъ и рассуждалъ о нихъ очень хладнокровно, какъ доказываетъ посланіе *Моему Аристарху*, впервые напечатанное въ изданіи г. Анненкова. Въ примѣчаніи къ посланію, любопытномъ по отрывкамъ изъ другого неизданнаго стихотворенія Пушкина, издатель говоритъ, что это посланіе „составляетъ какъ бы продолженіе посланія къ Дельвигу 1815 г. („Послушай Музъ невинныхъ“). Мы указываемъ на него опять, какъ на біографическій матеріалъ. Взглядъ автора на свое дарованіе, обычныя, любимыя его чтенія, образцы, взятые имъ для себя и, наконецъ, участіе Дельвига въ его поэтическомъ образованіи—выражаются очень ясно“. Позволимъ себѣ замѣтить, что это мнѣніе несправедливо: Пушкинъ, конечно, не могъ на-

зывать Дельвига, самого восторженного поклонника его музыки, своимъ гонителемъ, угрюмымъ цензоромъ и скучнымъ проповѣдникомъ, и упрекать его въ сухой учености. Посланіе это дѣйствительно имѣетъ по содержанію нѣкоторую связь съ посланіемъ къ Дельвигу, но относится не къ нему, а къ Н. Θ. Кошанскому, что доказывается самимъ стихотвореніемъ...“ (Приведено стихотвореніе *Моему Аристарху*).

„Выпускъ изъ лица и торжественный актъ описаны у г. Бартенева подробнѣе, чѣмъ у г. Анненкова.

Мы не безъ намѣренія старались обратить особенное вниманіе читателей на лицейскую жизнь поэта. Въ эти годы возникло, опредѣлилось и возросло его дарованіе, и потому вліяніе ихъ отразилось на всей дѣятельности Пушкина. Между тѣмъ, объ этой порѣ его жизни сохранилось несравненно менѣе воспоминаній, чѣмъ о позднѣйшихъ годахъ. Изъ наставниковъ поэта остались въ живыхъ весьма немногіе; кружокъ его товарищей также рѣдѣетъ; число свидѣтелей юности Пушкина становится меньше и меньше, и потому слѣдуетъ, пока еще можно, заботиться о сохраненіи всего, что можетъ прибавить хотя одну лишнюю черту къ описанію его юношескихъ лѣтъ.

Подробныя біографіи писателей стали являться въ нашей литературѣ недавно. Фактъ утѣшительный: онъ доказываетъ, что литература составляетъ для насъ уже не только полезное препровожденіе времени или праздную забаву, но и предметъ, достойный изученія и народной гордости. Въ каждой сферѣ общественнаго развитія оглядка на свое прошлое всегда была слѣдствіемъ сознанія собственнаго достоинства, и чѣмъ глубже это сознаніе, тѣмъ сильнѣе уваженіе къ прошлому, тѣмъ поучительнѣе исторія. Въ одной изъ своихъ многочисленныхъ рукописныхъ замѣтокъ, напечатанныхъ г. Анненковымъ, Пушкинъ оставилъ доказательство своей горячей симпатіи къ историческимъ изысканіямъ. „Образованный французъ или англичанинъ (замѣчаетъ Пушкинъ) дорожитъ строкою стараго лѣтописца, въ которой упомянуто имя его предка, честнаго рыцаря, падшаго

въ такой-то битвѣ или въ такомъ-то году возвратившагося изъ Палестины; но калмыки не имѣютъ ни дворянства ни исторіи. Только дикость и невѣжество не уважаютъ прошедшаго...“ Подобно тому, какъ исторія народа является вслѣдствіе сознанія его силы и политическаго значенія, исторія литературы становится слѣдствіемъ сознанія умственнаго и эстетическаго развитія общества, и чѣмъ глубже это сознаніе, чѣмъ болѣе причинъ, питающихъ эту благородную гордость, тѣмъ любопытнѣе и подробнѣе исторія умственной жизни... Вообще мѣриломъ сознательнаго, разумнаго сочувствія къ литературѣ можетъ служить степень развитія ея исторіи, а исторія возможна только при дѣятельномъ собираніи и обнародованіи матеріаловъ и обстоятельномъ изученіи дѣятельности отдѣльныхъ личностей...

Слѣдя за своимъ героемъ уже за порогомъ лица, составитель „Матеріаловъ“ сообщаетъ весьма интересныя свѣдѣнія о литературныхъ обществахъ, въ которыхъ принималъ участіе молодой Пушкинъ. Первое изъ нихъ было *Арзамасъ*, имѣвшее цѣлью противодѣйствіе другому литературному обществу, существовавшему подъ именемъ *Бесѣды любителей россійскаго слова*. Въ *Арзамасъ*, составлявшемъ своею веселостью и дружествомъ рѣзкую противоположность торжественности и важности *Бесѣды любителей*, всѣ члены имѣли особыя прозванія. Пушкина называли *Сверчокъ*, и подъ этимъ псевдонимомъ онъ напечаталъ въ „Сынѣ Отечества“ 1818 года посланіе *Мечтателю*. Подробности, сообщаемыя г. Анненковымъ объ этомъ обществѣ и свѣдѣнія объ *Арзамасѣ* въ „Мелочахъ изъ запаса памяти“ М. А. Дмитріева могутъ служить другъ другу взаимнымъ дополненіемъ. Отношенія *Арзамаса* къ другимъ литературнымъ обществамъ изложены очень хорошо и вѣрно. Всѣ эти общества, официальные и неофициальные, возникшія въ самое короткое время, существовали весьма недолго. Г. Анненковъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что причина паденія ихъ—распространеніе литературнаго образованія.

Въ 1818 году Пушкинъ познакомился и подружился съ П. А. Катенинымъ, весьма умнымъ и образованнымъ че-

ловѣкомъ, въ которомъ современники, и въ томъ числѣ Пушкинъ, видѣли огромное драматическое дарованіе. Катенинъ, недавно умершій, приготовилъ для изданія г. Анненкова, по его просьбѣ, записку о своемъ знакомствѣ съ поэтомъ. Описаніе пріятельскихъ отношеній обоихъ авторовъ много способствуетъ объясненію характера Пушкина. Знакомство ихъ началось довольно оригинально: поэтъ просто пришелъ къ Катенину и, подавая ему свою трость, сказалъ: „Я пришелъ къ вамъ, какъ Діогенъ къ Антисоену: побей, но выучи!“ — „Ученаго учить—портить“, отвѣчалъ авторъ „Ольги“. Катенинъ въ самомъ началѣ своего знакомства съ Пушкинымъ помирилъ его съ княземъ Шаховскимъ. Онъ самъ привезъ его къ извѣстному комику, и радушный пріемъ, сдѣланный Шаховскимъ поэту, связалъ дружескія отношенія между ними, которыя, однакожъ, не измѣнили мнѣній Пушкина о его произведеніяхъ. Любопытныя письма Пушкина къ Катенину, сообщаемыя г. Анненковымъ, лучше всего объясняютъ ихъ отношенія и благородство нравственной физіономіи поэта.

Пребываніе Пушкина на югѣ Россіи изложено у г. Анненкова весьма удовлетворительно. Нѣсколько отрывковъ изъ неизданныхъ еще писемъ поэта къ брату и Б. представляютъ множество любопытныхъ и совершенно новыхъ подробностей объ образѣ жизни, занятіяхъ и впечатлѣніяхъ Пушкина во время пребыванія въ Кишиневѣ и Одессѣ. Поэтъ скоро свыкъся съ своимъ новымъ положеніемъ, хотя часто вспоминалъ о Петербургѣ, гдѣ оставалось много близкихъ его сердцу. Несмотря на новостъ и разнообразіе впечатлѣній, онъ чувствовалъ свое одиночество. Шумъ и пестрота города ему, однакожъ, понравились, и онъ мало по малу примирился съ новымъ образомъ жизни.

„Частыя отлучки Пушкина изъ Кишинева (говоритъ г. Анненковъ) еще освѣжали для него удовольствія полу-азиатскаго и полу-европейскаго общества. Въ этихъ отлучкахъ, а можетъ быть и въ сношеніяхъ своихъ съ пестрымъ и разнохарактернымъ населеніемъ его, Пушкинъ встрѣтилъ то загадочное для насъ *лицо* или тѣ загадочныя лица, къ

которымъ въ разныя эпохи своей жизни обращалъ пѣсни, исполненныя нѣжнаго воспоминанія, ослабѣвшаго потомъ, но сохранившаго способность возставать при случаѣ съ новой и большей силой. Кто не знаетъ этихъ чистыхъ созданій его лиры: „Подъ небомъ голубымъ страны своей родной“ (1825), „О, если правда, что въ ночи“ (1828), „Для береговъ отчизны дальней“ (1830).

Г. Анненковъ полагаетъ, что эти три стихотворенія, „будучи взяты всѣ вмѣстѣ, представляютъ одну трехчленную лирическую пѣснь, обращенную къ какому-то неизвѣстному лицу или, можетъ быть, къ двумъ неизвѣстнымъ лицамъ, умершимъ за границей, и что это оди изъ всѣхъ пѣсень Пушкина, жизненнаго источника которыхъ отыскать весьма трудно“.

Постараемся разрѣшить эти недоразумѣнія.

Загадочное лицо, о которомъ говоритъ г. Анненковъ, есть, по всей вѣроятности, г-жа Ризничъ. О ней упоминаетъ К. П. Зеленецкій въ своей статьѣ: *О пребываніи А. С. Пушкина въ Кишиневъ и Одессу* („Москвитянинъ“ 1854 г., № 9). Этими свѣдѣніями г. Анненковъ не воспользовался также, какъ и *Выдержками изъ дневника воспоминаній о Пушкинѣ и другихъ современникахъ*, В. П. Горчакова, жившаго въ Кишиневѣ въ одно время съ Пушкинымъ.

„Вечера свои въ Одессѣ (говоритъ г. Зеленецкій) Пушкинъ проводилъ, по большей части, въ обществѣ. Въ то время у графа (Воронцова) бывали танцевальныя вечера по два раза въ недѣлю. Нашъ поэтъ былъ непремѣннымъ ихъ посѣтителемъ. Пушкинъ бывалъ еще у негоціанта Ризничъ. Здѣсь молодая жена хозяина, человѣка уже не первыхъ лѣтъ, составляла душу общества. Она была родомъ изъ Генуи, славилась красотой и страстно любила играть въ карты. Пушкинъ съ своими друзьями бывалъ у нея довольно часто, игралъ, волочился за хозяйкой. Не къ ней ли написано стихотвореніе: „На языкѣ, тебѣ невнятномъ?“ Г-жа Ризничъ вскорѣ потомъ уѣхала за границу, гдѣ и умерла“.

Послѣ этихъ строкъ понятіе приводимыя г. Анненковымъ намеки изъ рукописей поэта, свидѣтельствующихъ, что упомянутыя три стихотворенія не принадлежать къ области чистаго вымысла. Такую же близкую связь съ дѣйствительностью представляетъ пометка въ рукописи слѣдующей строфы въ стихотвореніи *Заклинаніе*, восстановленной, однакожъ, въ обоихъ посмертныхъ изданіяхъ сочиненій Пушкина:

Явись, возлюбленная тѣнь,
Какъ ты была передъ разлукой:
Блѣдна, холодна, какъ зимній день,
Искажена послѣдней мукой.
Приди, какъ дальняя звѣзда,
Какъ легкій звукъ иль дуновенье,
Иль какъ ужасное видѣнье,
Мнѣ все равно: сюда, сюда!..

„Подобнымъ уничтоженьямъ (замѣчасть г. Анненковъ) подвергались у Пушкина или дѣйствительно слабыя мѣста пьесъ или такія, которыя содержаніемъ своимъ уже слишкомъ рѣзко и очевидно выражали задушевные мысли его самого“. Въ третьемъ изъ названныхъ нами стихотвореній искренность воспоминаній поэта высказывается вполне, ничего не оставляя для вымысла. Онъ хотѣлъ было замаскировать дѣйствительность, и началъ элегію такъ:

Для береговъ *чужбины* дальней
Ты покидала край *родной*;

но это начало противорѣчило бы всему характеру и содержанію стихотворенія, и потому Пушкинъ тотчасъ же сдѣлалъ поправку, но рѣшился не печатать элегіи, явившейся въ свѣтъ уже по смерти поэта. Читатели, безъ сомнѣнія, помнятъ это чистое, безукоризненное произведеніе, особенно многозначительное, какъ страница задушевной. его исповѣди:

Для береговъ отчизны дальней
Ты покидала край *чужой*;
Въ часъ незабвенный, въ часъ печальный
Я долго плакалъ предъ тобой, и проч.

Вѣроятно, о той же самой женщинѣ говорить Пушкинъ въ слѣдующемъ неизданномъ письмѣ къ А. А. Б. отъ 29 іюня 1824 года изъ Одессы. Въ „Матеріалахъ“ явились три небольшіе отрывка изъ этого любопытнаго письма, и потому приводимъ его начало съ сообщенной намъ копіи:

„Милый Б., ты ошибся, думая, что я сердить на тебя. Лѣнь одна мнѣ помѣшала отвѣчать на послѣднее твое письмо (другого я не получалъ). Б.—другое дѣло. Съ этимъ человекомъ опасно переписываться. Гораздо веселѣе его читать. Посуди самъ: мнѣ случилось *когда-то* (?) быть влюблену безъ памяти. Я обыкновенно въ такомъ случаѣ пишу элегіи, какъ другой. Но пріятно ли вывѣшивать напоказъ?.. Богъ тебя простить, но ты осрамилъ меня въ нынѣшней „Звѣздѣ“, напечатавъ три послѣдніе стиха моей элегіи *). Чортъ дернулъ меня написать еще некстати о бахчисарайскомъ фонтанѣ какія то чувствительныя строчки и припомнить тутъ же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяніе, когда я увидѣлъ ихъ напечатанными! Журналъ можетъ попасть въ ея руки; что жъ она подумаетъ, видя, съ какой охотою бесѣдую объ ней съ однимъ изъ петербургскихъ моихъ пріятелей? Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Б., что элегія доставлена тебѣ Богъ знаетъ кѣмъ, и что никто не виноватъ. Признаюсь, одной мыслью этой женщины дорожу я болѣе, чѣмъ мнѣніями всѣхъ журналовъ на свѣтѣ... Голова у меня закружилась, я хотѣлъ просто напечатать въ „Вѣстникѣ Европы“ (единственный журналъ, на которой не имѣю права жаловаться), что Б. не былъ въ правѣ пользоваться перепискою двухъ частныхъ лицъ, еще живыхъ, безъ согласія ихъ собственнаго. Но, перекрестясь,

*) Эта элегія („Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда“) напечатана въ „Полярной Звѣздѣ“ 1824 г. Три послѣдніе стиха элегіи, о которыхъ говоритъ Пушкинъ, и которые выпущены во всѣхъ позднѣйшихъ изданіяхъ элегіи (въ изданіи г. Анненкова они помѣщены въ примѣчаніяхъ) слѣдующіе:

Когда на хижинѣ сходила ночи тѣнь,
И дѣва юная во мглѣ тебя искала,
И именемъ своимъ подругамъ называла.

предать все это забвенію. Отзвонилъ, и съ колокольни долой“.

Изъ этого письма можно заключить, что стихотвореніе *Иностранкъ* („На языкѣ тебѣ невнятномъ“), о которомъ упоминаетъ г. Зеленецкій, писано къ другому лицу. Г. Анненковъ сообщаетъ слѣдующее характеристическое обстоятельство, сопровождавшее появленіе этого стихотворенія. Иностранка, имя которой тоже не сохранилось у насъ, на Руси, замѣчательна еще характеристическою подробностью, касающейся Пушкина. Послѣ двухлѣтняго знакомства, она узнала, что Пушкинъ поэтъ—только по стихотворенію: *На языкѣ, тебѣ невнятномъ*, вписанному въ ея альбомъ уже при разставаніи. „Что это значитъ?“ спросила она у Пушкина. „Покажите это за границей любому русскому, и онъ вамъ скажетъ!“ отвѣчалъ Пушкинъ. Вообще никто тщательнѣе Пушкина не скрывалъ, особенно въ обществѣ, своего званія поэта.

Къ числу стихотвореній Пушкина, въ которыхъ отразилась исторія его сердца, и отчасти имѣющихъ связь съ упомянутыми выше, принадлежатъ: *Гречанкъ*, *Элегія*: „Простишь ли мнѣ ревнивыя мечты“, *Ненастный день потухъ*, *Ночь*, *Желаніе Славы*, *Сожженное Письмо*, *Къ****: „Я помню чудное мгновенье“, *Отвѣтъ* *Θ. Т.*, Каковъ я прежде былъ и пр. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ необыкновенная искренность поэта соединяется съ величайшею осторожностью въ избѣжаніи всего, что слишкомъ ясно говорило бы о дѣйствительности событій. Въ примѣръ такой осторожности г. Анненковъ рассказываетъ исторію созданія превосходнаго стихотворенія *Воспоминаніе* („Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день“), имѣющаго, какъ увидимъ, нѣкоторую связь съ произведеніями, названными выше.

„Эта уединенная исповѣдь (говоритъ г. Анненковъ), открывающая читателю, повидимому, всѣ душевныя тайны поэта, останавливается тамъ, гдѣ, вмѣсто общаго выраженія чувства человѣческаго, должно явиться выраженіе чувства

отдѣльнаго лица. Пьеса принадлежитъ къ 1828 году. Сѣмена, брошенныя суетой свѣта и собственными погрѣшностями—вырастаютъ часами томительнаго бдѣнія въ ночи муками и слезами раскаянія. Съ чуднымъ двоестіишемъ:

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю,

кончается исповѣдь для свѣта, но Пушкинъ еще продолжаетъ ее, уже не изъ потребности творчества, а изъ потребности высказаться и полнѣе опредѣлить себя. Нѣсколько замѣчательныхъ строфъ посвящаетъ онъ еще разбору своей жизни; но эти строфы, какъ представляющія частныя подробности, уже выпускаются изъ печати“. Заимствуемъ изъ „Матеріаловъ“ окончаніе этого стихотворенія, въ которомъ уже извѣстныя намъ задушевные воспоминанія поэта принимаютъ самые свѣтлые, неподражаемо-прекрасные образы:

Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ,
Въ безумствѣ гибельной свободы,
Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ
Мои утраченные годы!
Я слышу вновь друзей предательскій привѣтъ
На играхъ Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наноситъ хладный свѣтъ
Неотразимыя обиды.
И нѣтъ отрады мнѣ—и тихо предо мной
Встаютъ два призрака молодые,
Двѣ тѣни милыя—два данные судьбой
Мнѣ ангела, во дни былые!
Но оба съ крыльями и съ пламеннымъ мечомъ
И стерегутъ... и мстятъ мнѣ оба,
И оба говорятъ мнѣ мертвымъ языкомъ
О тайнахъ вѣчности и гроба!

Съ переселеніемъ Пушкина изъ Одессы въ Михайловское, въ 1824 году, начинается для него новый періодъ жизни и творчества. Пылъ молодости прошелъ: Пушкину было уже двадцать пять лѣтъ, и сознаніе своихъ силъ от-

крывало ему новую, самостоятельную дѣятельность, не подчинявшуюся никакимъ постороннимъ вліяніямъ. Въ числѣ остроумныхъ и весьма вѣрныхъ сужденій, разсѣянныхъ въ „Матеріалахъ“, особеннаго вниманія заслуживаютъ мысли г. Анненкова о вліяніи Байрона на музу нашего поэта. „Люди, (говорить авторъ), слѣдившіе въблизи за постепеннымъ освобожденіемъ природнаго гения въ Пушкинѣ, очень хорошо знаютъ, почему такъ охотно и съ такой радостью преклонился онъ предъ британскимъ поэтомъ. Байронъ былъ указателемъ пути, открывавшемъ ему весьма дальнюю дорогу и выведшимъ его изъ того французскаго направленія, подъ которымъ онъ находился въ первые два года своей дѣятельности. Разумѣется, все, что впослѣдствіи говорено было объ общей настроенности вѣка, о духѣ европейскихъ литературъ, имѣло свою долю истины; но ближайшая причина байроновскаго вліянія на Пушкина состояла въ томъ, что онъ одинъ могъ ему представить современный образецъ творчества. По-нѣмецки Пушкинъ не читалъ или читалъ тяжело; перевѣсъ оставался на сторонѣ британскаго лирика. Въ немъ почерпнулъ онъ уваженіе къ образамъ собственной фантазіи, на которые прежде смотрѣлъ легко и поверхностно; въ немъ научился художественному труду и пониманію себя. Байронъ вложилъ могущественный инструментъ въ его руки: Пушкинъ извлекъ имъ впослѣдствіи изъ міра поэзіи образы нисколько непохожіе на любимыя представленія учителя. Послѣ трехъ лѣтъ родственнаго знакомства, направленіе и приемы Байрона совсѣмъ пропадаютъ въ Пушкинѣ; остается одна крѣпость развившагося таланта: обыкновенный результатъ сношеній между истинными поэтами! Нельзя сказать даже, чтобы одинъ Байронъ исключительно присутствовалъ при этомъ процессѣ развитія художественныхъ силъ. Рядомъ съ нимъ стоялъ въ эту эпоху А. Шенье, которымъ Пушкинъ восхищался почти столько же, сколько и первымъ. Пушкинъ прежде всѣхъ въ Россіи заговорилъ объ А. Шенье и, конечно, одинъ изъ первыхъ въ Европѣ вполне угадалъ прелесть его нѣжныхъ произведеній, особенно антологическихъ, гдѣ обычное щегольство

его замѣнено истиннымъ изяществомъ. Слѣдуетъ вспомнить, что въ шумѣ, который производили тогда элегіи Ламартина, одно это обстоятельство показываетъ, какъ мало подчинялся Пушкинъ вообще шуму, хотя бы онъ шелъ издалека. Нѣкоторые изъ пріятелей его печатали и писали ему о Ламартинѣ съ жаромъ убѣжденія, не находя въ немъ, однакожъ, ни малѣйшаго отголоска на все ихъ увлеченіе. Можно сказать съ достовѣрностію, что очень долгое время Пушкинъ восхищался у насъ произведеніями А. Шенье совершенно уединенно. Со всѣмъ тѣмъ и Байронъ и Шенье играли одинаковую роль въ жизни нашего поэта: это были помѣтки его собственнаго прибывающаго таланта: ступени, по которымъ онъ восходилъ къ полному проявленію своего генія“. Глубокое изученіе Шекспира, разоблачивъ передъ Пушкинымъ всѣ недостатки Байрона, всю неестественность его героевъ, вдругъ измѣнило сужденія поэта о бывшемъ *владѣльцѣ его думъ*. Сужденія эти, высказанныя въ письмѣ по поводу „Бориса Годунова“, особенно замѣчательны какъ по своей вѣрности и самостоятельности, такъ и по сравненію съ непосредственно имъ предшествовавшимъ безусловнымъ поклоненіемъ Байрону. Крутой поворотъ въ мнѣніяхъ былъ слѣдствіемъ столько же необыкновенной способности Пушкина самоусовершенствоваться, какъ и способности относиться ко всякому предмету прямо, безъ пристрастія и предубѣжденія.

Взгляду поэта на художника и искусство особенно содѣйствовали направленіе „Московского Вѣстника“, о которомъ такъ много хлопоталъ Пушкинъ, и кружокъ молодыхъ и талантливыхъ людей, содѣйствовавшихъ успѣху журнала. Г. Анненковъ говоритъ, что взглядъ этотъ и теорію творчества Пушкинъ выразилъ въ извѣстныхъ своихъ стихотвореніяхъ: *Чернь*, *Поэтъ*, *Эхо*, „*Поэтъ, не дорожи любовію народной*“. Разсматривая этотъ взглядъ, авторъ знакомитъ читателей съ сущностію принятой поэтомъ теоріи творчества и весьма основательно подкрѣпляетъ свои мысли доказательствами изъ его произведеній. Къ сказанному прибавимъ только, что стихотвореніе *Эхо* не есть вполнѣ само-

стоятельное, и навѣяно чтеніемъ Томаса Мура. Главная мысль въ немъ принадлежитъ самому Пушкину, но нѣкоторыя подробности и даже размѣръ стихотворенія обличаютъ вліяніе автора „Ирландскихъ Мелодій“.

Потребности свои, какъ художника, Пушкинъ высказалъ за полгода до своей смерти, въ неизданномъ стихотвореніи, въ которомъ признаетъ наслажденіе природою и искусствомъ единственною цѣлью своей жизни, пренебрегая всѣми другими цѣлями, волнующими его современниковъ. Изъ этого стихотворенія приведены послѣднія пять строкъ въ „Матеріалахъ“:

По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы чудесамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безумно утопать въ восторгахъ умиленья...
Вотъ счастье! вотъ права!

Одинъ изъ важнѣйшихъ матеріаловъ для біографіи всякаго лица, дѣйствовавшаго на умственномъ поприщѣ, составляютъ, безъ сомнѣнія, письма. Что касается писемъ Пушкина, то г. Анненковъ говоритъ, что судя даже по немногимъ образцамъ, какіе находятся въ его рукахъ (а въ рукахъ его, судя даже только по „Матеріаламъ“, было нѣсколько десятковъ этихъ писемъ), „переписка Пушкина съ друзьями своими обнимала почти всѣ почему либо замѣчательныя явленія русской жизни и русской словесности“. Возвращаясь къ ней въ другомъ мѣстѣ своего труда, издатель говоритъ: „Непрерывная литературная переписка съ друзьями принадлежала къ числу любимыхъ и немаловажныхъ занятій Пушкина въ это время. Переписка Пушкина особенно драгоценна тѣмъ, что ставитъ, такъ сказать, читателя лицомъ къ лицу съ его мыслию и выказываетъ всю ея гибкость, оригинальность и блескъ, ей свойственный. Эти качества сохраняетъ она даже и тогда, когда теряетъ достоинство непреложной истины или возбуждаетъ сомнительный вопросъ“. Къ сожалѣнію, г. Анненковъ не обратилъ достаточно вниманія на эту любопытнѣйшую сторону своего тру-

да: въ „Матеріалахъ“ только немногія письма Пушкина напечатаны вполнѣ; большею же частью издатель воспользовался отрывками изъ нихъ, которые приводитъ только какъ доказательство высказываемыхъ имъ сужденій. Между тѣмъ переписка Пушкина до такой степени замѣчательна, что за сохраненіе каждой ея строки были бы благодарны читатели. По нашему мнѣнію, прекрасное изданіе г. Анненкова еще болѣе выиграло бы, еслибъ издатель посвятилъ письмамъ Пушкина особый отдѣлъ, прибавивъ отъ себя только примѣчанія и объясненія.

Въ распоряженіи составителя „Матеріаловъ“ преимущественно были письма поэта къ Катенину, Б., Дельвигу и брату. Письма къ Катенину, которыхъ въ „Матеріалахъ“ четыре, напечатаны вполнѣ; но письма къ Б. являются большею частью въ отрывкахъ. Переписка Пушкина съ Б. началась съ іюня 1822 года и дѣятельно продолжалась до 1825 года. Переписка поэта съ братомъ представляетъ много новаго и интереснаго. Изъ этой переписки было извѣстно только первое письмо, напечатанное г. Анненковымъ вполнѣ. Остальные письма, числомъ около тридцати, напечатаны, къ сожалѣнію, въ отрывкахъ.

Разсматривая „Матеріалы“, не можемъ не пожалѣть, что г. Анненковъ принялъ за правило „исключать всѣ полемическія статьи, рожденныя современными спорами“. Издатель замѣчаетъ, что статьи эти, какъ, напримѣръ, напечатанныя въ „Телескопѣ“ 1831 года съ подписью *Феофилактъ Косичкинъ*, „не искупаютъ своей веселостью нѣкоторой жесткости въ формѣ и въ языкѣ“. Съ этимъ мнѣніемъ трудно согласиться: необыкновенное остроуміе этихъ статей, представляющихъ неотразимую сатиру въ самой изящной формѣ, дѣлаютъ ихъ по истинѣ образцовыми въ своемъ родѣ. Кромѣ своего внутренняго достоинства, онѣ любопытны и потому, что въ нихъ отражается время, понятія и литературные нравы. „Матеріалы“ даже не представляютъ достаточно указаній, по которымъ читатели могли бы познакомиться съ этою, извѣстною только немногимъ, стороною таланта Пушкина. Такому же исключенію подверглись нѣкоторые стихо-

творенія и многія эпиграммы, являвшіяся большею частью безъ подписи поэта. При разсмотрѣннн слѣдующихъ томовъ изданія Анненкова, укажемъ нѣкоторыя изъ нихъ и постараемся дополнить уже сдѣланныя имъ указанія неподписанныхъ статей Пушкина, являвшихся въ періодическихъ изданіяхъ; теперь же скажемъ только, что напечатанная въ „Литературной Газетѣ“ статья объ *Исторіи русскаго народа* Полевого, о которой упоминаетъ г. Анненковъ и въ которой находитъ сходство съ образомъ мыслей поэта, дѣйстви-тельно принадлежитъ Пушкину; а подпись подъ нею Р., вѣроятно, означаетъ первую французскую букву его фамилии.

Вторая половина біографіи, и особенно конецъ ея, вообще представляютъ мало собственно біографическихъ фактовъ... Но, взамѣнъ біографическихъ подробностей, г. Анненковъ представляетъ множество новыхъ фактовъ для изу-ненія литературной дѣятельности Пушкина, знакомитъ читателей съ исторіею его произведеній, съ приготовительными къ нимъ работами и въ высшей степени любопытными при-емами его поэтическаго творчества.

Оставляя до слѣдующихъ статей разсмотрѣніе литератур-ной дѣятельности Пушкина, которое составляетъ важнѣйшую сторону труда г. Анненкова, заключимъ наше обзорѣніе указаніемъ *нѣкоторыхъ* неправильностей въ стихѣ, къ сожа-лѣнію, часто встрѣчающихся въ „Матеріалахъ“, и преимуще-ственно въ стихахъ, впервые являющихся въ печати, не касаясь при этомъ собственно типографскихъ неисправно-стей, то-есть опечатокъ, которыя, какъ мы слышали, будутъ указаны въ особомъ приложеніи. Напримѣръ, въ отрывкѣ изъ „Евгенія Онѣгина“, написанномъ, какъ извѣстно, четы-рехстопнымъ ямбомъ, встрѣчается четырехстопный хорей:

Разъ вечернею порою
Одна изъ дѣвъ сюда пришла.

Въ другомъ отрывкѣ изъ „Онѣгина“ есть и неясный и не-правильный стихъ:

Когда бы грузъ, меня гнетущій,
Быль страсть... несчастье.

Въ отрывкахъ, неизвѣстно куда принадлежащихъ, также есть много неправильныхъ или невѣрно разобранныхъ стиховъ. Напримѣръ:

Тамъ на берегу, идѣ оремлетъ мнѣ священникъ,
Твое я имя повторялъ (стр. 346).

Очевидно, что слово *тамъ*—лишнее. Или:

Счастливы тотъ, кто безъ тебя, любовникъ упоенный,
Безъ томной робости твой ловить свѣтлый взоръ (стр. 346).

Также:

Сомнѣнье, страхъ, порочную надежду
Уже въ груди не въ силахъ я хранить;
Невѣрная супруга Филиппу (стр. 351).

Конечно, нельзя не пожалѣть о подобныхъ неисправностяхъ, особенно въ изданіи сочиненій любимаго поэта; но эти недостатки, быть можетъ, и неизбежныя, не уменьшаютъ главнѣйшихъ и неотъемлемыхъ достоинствъ прекраснаго изданія г. Анненкова. Строгость системы, возможная полнота, и несмотря на нѣкоторую скудость собственно біографическихъ фактовъ, живое и полное изображеніе литературной дѣятельности Пушкина—вотъ важныя достоинства изданія. Онѣ вполнѣ выкупаютъ всѣ его мелочныя недостатки, и за нихъ нельзя не благодарить издателя.

В. Гаевскій.

* * *

*) Известно, что Пушкинъ чрезвычайно внимательно обрабатывалъ свои произведенія, особенно писанныя стихами. Три-четыре раза онъ переписывалъ ихъ, каждый разъ то исправляя выраженія, то измѣняя характеръ и развитіе самыхъ мыслей и картинъ. Но до изданія „Матеріаловъ для біографіи А. С. Пушкина“ мы знали объ этомъ только въ общихъ, смутныхъ чертахъ; теперь для насъ становится ясенъ весь характеръ и всѣ подробности этихъ работъ. Г. Анненковъ чрезвычайно внимательно рассмотрѣлъ всѣ черновыя тетради Пушкина, извлекъ изъ нихъ всѣ сколько-нибудь замѣчательныя различія приговорительныхъ и окончательной редакцій и, отнеся мелкіе и раздробленные факты такого рода въ примѣчанія къ каждому произведенію, собралъ важнѣйшіе въ своихъ „Матеріалахъ“. Ограничимся здѣсь сообщеніемъ нѣкоторыхъ свѣдѣній о постепенномъ развитіи двухъ или трехъ произведеній изъ числа тѣхъ, обдумываніемъ и обработкою которыхъ особенно долго занимался поэтъ.

„Евгеній Онѣгинъ“ издавался отдѣльными главами впроложеніи нѣсколькихъ лѣтъ, и между каждымъ предыдущимъ и послѣдующимъ выпусками этого романа Пушкинъ издавалъ другія произведенія, не имѣющія съ нимъ никакой связи. Но эта отрывочность изданія не даетъ еще ни малѣйшаго понятія объ отрывочности самой работы. Строфы каждой главы писаны были вразбивку, послѣдующія послѣ предыдущихъ, безъ всякаго порядка; часто, напримѣръ, въ тетради написана пятнадцатая или двадцатая строфа, потомъ, пятая или десятая и вслѣдъ за ними первая или вторая. Между тѣмъ надъ каждою строфою ужъ выставлена цифра, означающая мѣсто ея въ полномъ составѣ главы. Этого мало; не только строфы каждой главы писались въ безпорядкѣ, не только Пушкинъ писалъ иногда строфы слѣдующей главы,

*) Отрывокъ изъ статей Н. Чернышевскаго, подъ заглавіемъ: „Сочиненія Пушкина, съ приложеніемъ матеріаловъ для его біографіи, портрета, снимковъ съ его почерка и его рисунковъ и проч. Изданіе П. В. Анненкова. Томы I и II. СПб. 1855“. Эти статьи впервые напечатаны въ „Современникѣ“ за 1855 г. въ №№ 2, 3, 7 и 8.

когда еще не готова была предыдущая, но въ одно и то же время, на одной и той же тетради онъ писалъ и строфы „Онѣгина“ и сцены „Бориса Годунова“. Такъ, начавъ писать монологъ Григорія (въ сценѣ съ лѣтописцемъ, въ „Борисѣ Годуновѣ“), Пушкинъ бросаетъ его, не кончивъ, и пишетъ XXIV строфу IV-ой главы „Евгенія Онѣгина“, потомъ нѣсколько строфъ изъ слѣдующихъ главъ романа; затѣмъ оканчивается монологъ Григорія, пишетъ три первыхъ стиха, Пименова отвѣта:

Не сѣтуй, братъ что рано грѣшный свѣтъ
Покинулъ ты, что мало искушеній
Послалъ тебѣ Всевышній...

отмѣчаетъ прозаическою фразою содержаніе, которое должны имѣть слѣдующіе стихи: „Приближаюсь къ тому времени, когда земное перестало быть для меня занимательнымъ“, пишетъ еще пять стиховъ, и опять переходитъ къ „Евгенію Онѣгину“ (XXV строфа IV-ой главы):

Чась отъ часу плѣненный болѣ
Красами Ольги молодой...

и рисуетъ перомъ портретъ Ольги. Подобныхъ случаевъ много мы встрѣчаемъ и у другихъ писателей. Такъ, напримеръ, Гёте писалъ сцены своего „Фауста“ не въ послѣдовательномъ порядкѣ. Конечно, такая внѣдная безпорядочность работы не можетъ быть выставляема на видъ, какъ прекрасный примѣръ для подражанія. У самого Пушкина она оправдывается только счастливою памятью его, помогавшею ему не потеряться въ хаосъ, живостью характера, впечатлительностью, нетерпѣливостью, которая такъ обыкновенна въ пылкихъ людяхъ; но должно замѣтить, что беззаботная непослѣдовательность въ исполненіи строго обдуманнаго плана, не мѣшая стройности произведеній, этимъ самымъ изобличаетъ, что процессъ изложенія на бумагѣ того, что задумано въ умѣ или фантазіи, есть уже дѣло второстепенной важности для достоинства произведенія и, большею частью, даже для сознанія самого писателя, если только онъ дѣйствительно одаренъ самороднымъ талантомъ, а не

насилуетъ свое воображеніе для предумыванія поэтическихъ картинъ. Въ наше время нѣтъ безусловныхъ авторитетовъ, каждое движеніе которыхъ стояло бы выше критики; но урокъ, извлекаемый изъ привычки Пушкина, не можетъ не имѣть своей важности для русскихъ писателей. Особенно въ наше время, когда и между поэтами или беллетристами и критиками такъ преобладаетъ мнѣніе о великомъ значеніи „отдѣлки“, посредствомъ которой доводится произведеніе до „художественности“, въ наше время, когда такъ много придаютъ значенія внѣшней формѣ, не мѣшаетъ обратить вниманіе на отрывокъ изъ черновой записки Пушкина, приводимый г. Анненковымъ, который старается сохранить, какъ драгоценность, каждую строку, найденную имъ въ бумагахъ Пушкина, и въ этомъ справедливо поставляетъ главное право свое на признательность русской публики. Въ отрывкѣ, о которомъ мы говоримъ, Пушкинъ бѣгло обозрѣваетъ развитіе французской литературы и, перечисляя заслуги Ронсара и Малерба, высказываетъ, между прочимъ, слѣдующую мысль: „Люди, одаренные талантами, будучи поражены ничтожностью французскаго стихотворства, думали, что скудость языка была тому виною, и стали стараться преобразовать его... Пришелъ Малербъ, съ такой строгой справедливостью оцѣненный великимъ критикомъ Буало:

Enfin Malherbe vint et le premier en France
Fit sentir dans les vers une juste cadence.

Но Малербъ нынѣ забытъ, подобно Ронсару. Сія два таланта истощили силы свои въ бореніи съ механизмомъ языка, въ усовершенствованіи стиха. Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся болѣе о наружныхъ формахъ слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей отъ употребленія!“

Если бы мы сколько-нибудь усумнились въ справедливости этого замѣчанія о ничтожности наружной отдѣлки сравнительно съ мыслью, безъ всякой заботы о подборѣ словъ и выраженій, оживляющей произведеніе талантливаго писателя, то намъ достаточно было бы вспомнить объ огромной массѣ

написаннаго почти каждымъ изъ великихъ писателей, чтобы осязательно увидѣть, какъ мало времени имъ оставалось на процѣживанье сквозь умственный фильтръ каждаго вылившагося изъ души выраженія, на соображенія о томъ, какъ лучше написать: шука съ голубымъ перомъ или голубоперая шука, и хороша ли выйдетъ картина, если сказать: краезлатыя облака. Эсхилъ, Софокль, Эврипидъ написали каждый около ста трагедій, Аристофанъ болѣе пятидесяти комедій,—а всѣ эти люди проводили на народной площади болѣе времени, нежели въ своей рабочей комнатѣ. Перейди двѣ тысячи лѣтъ, мы встрѣчаемся съ тѣмъ же самымъ явленіемъ: Вольтеръ, Вальтеръ Скоттъ, Гете — написали каждый по нѣскольку десятковъ томовъ. Даже Байронъ и Шиллеръ, умершіе такъ рано, успѣли написать столько, что остается удивляться количеству ихъ произведеній. Вѣроятно, всѣмъ этимъ людямъ некогда было долго заниматься подборіемъ жемчужины къ жемчужинѣ; поневолѣ надобно предположить, что поэтическіе брильянты, если только они самородные, гранятся не столь долговременною полировкой, какъ находимые въ бразильскихъ пескахъ.

Если что требуетъ внимательнаго обдумыванія, то это планъ поэческаго произведенія. Прояснить въ своемъ умѣ основную мысль романа или драмы, вникнуть въ сущность характеровъ, которые будутъ ее проявлять своими дѣйствіями, сообразить положенія лицъ, развитіе сценъ—вотъ что важно; если поэтъ употребитъ на это по нѣскольку часовъ нынѣ, черезъ мѣсяцъ или два, черезъ годъ, какъ придетъ ему вдохновенная минута подумать о создаемомъ твореніи, то эти немногіе часы принесутъ болѣе пользы достоинству его произведенія, нежели цѣлые мѣсяцы неусыпной работы надъ улучшеніемъ и исправленіемъ вылившагося уже на бумагу произведенія. И въ этомъ случаѣ мы ссылаемся на примѣръ Пушкина, который такъ долго обдумывалъ планы своихъ произведеній, иногда по нѣскольку лѣтъ ожидая, пока зародившаяся мысль созданія созрѣетъ въ его головѣ, найдетъ себѣ стройное и полное развитіе. „Черновая подготовка матеріаловъ,—говоритъ г. Анненковъ,—длилась ино-

гда у Пушкина чрезвычайно долго; затѣмъ уже вдохновеніе скоро обращало ихъ въ свѣтлыя и мощныя произведенія искусства—конечно, потому, что эти „черновые матеріалы“ и составляютъ существенную часть творчества. Очень замѣчательна въ этомъ отношеніи исторія развитія его „Египетскихъ Ночей“, возстановленная теперь г. Анненковымъ по драгоценнымъ тетрадямъ поэта. Зародышъ, изъ котораго развились „Египетскія Ночи“, есть прекрасное стихотвореніе о любовникахъ Клеопатры „Чертогъ сіялъ...“, написанное Пушкинымъ еще въ 1825 году. Десять лѣтъ потомъ прошло прежде, нежели развилось въ умѣ его произведеніе, центромъ котораго должно служить это стихотвореніе. Нѣсколько разъ повѣсть эта слагалась въ умѣ его, и была имъ отвергаема, какъ еще не вполне выражающая идею. Нѣкоторые набросанные начерно отрывки, тотчасъ же брошенные, какъ неудовлетворительные, остались единственными слѣдами этой долгой и интересной борьбы съ планомъ и содержаніемъ. Такъ онъ началъ было повѣсть, которая была послѣ его напечатана въ „Сто русскихъ литераторовъ“, подъ заглавіемъ: „Одна глава изъ неоконченнаго романа“; бросивъ это не могшее, по его мнѣнію, выразить мысли начало, онъ набросалъ другой отрывокъ, изъ котораго г. Анненковъ внесъ въ свои „Матеріалы“ все, что можно было разобрать; потомъ написалъ третье начало повѣсти, напечатанное въ прежнемъ изданіи его сочиненій подъ именемъ „Отрывка“; и только послѣ всѣхъ этихъ неудачныхъ, по его мнѣнію, попытокъ нашелъ истинное содержаніе для своихъ „Египетскихъ Ночей“. Но и эти многочисленные слѣды различныхъ эпохъ развитія сюжета составляютъ еще только одну часть его исторіи. Прежде, нежели Пушкинъ увидѣлъ, что лучше всего выразить его идею такая повѣсть, какъ „Египетскія Ночи“, онъ думалъ развить ея содержаніе въ повѣсти изъ классическаго міра, и памятниками этого періода развитія сюжета остались программа повѣсти и три ея отрывка, отысканные г. Анненковымъ въ черновыхъ бумагахъ. Главнымъ лицомъ онъ избралъ Петронія, римскаго поэта, у котораго находилъ слѣ-

ды новыхъ понятій о жизни, противоположныхъ древнимъ воззрѣніямъ, и личность котораго могла поэтому служить для выраженія идеи, подобной идеѣ „Египетскихъ Ночей“, контраста между новымъ и древнимъ міромъ; быть можетъ, Пушкинъ увлекался и трагическою смертію Петронія, который, подвергшись опалѣ Нерона, открылъ себѣ жили въ теплой ваннѣ. Мѣсто не позволяетъ намъ приводить самыхъ отрывковъ, но вотъ программа повѣсти (или, какъ намъ кажется, второй части ея).

„Описаніе дома. Мы находимъ Петронія съ своимъ лѣкаремъ; онъ продолжаетъ разсужденіе о родѣ смерти; избираетъ теплыя. Греческій философъ исчезъ. Петроній улыбается и рассказываетъ *оду*. Описаніе приготовленій. Онъ перевязываетъ рану и начинаются разсказы. *Первый вечеръ*. О Клеопатрѣ — наши разсужденія о томъ. *Второй вечеръ*. Петроній приказываетъ разбить драгоценную чашу — диктуетъ *Satiricon* — разсужденіе о паденіи человѣка — о паденіи боговъ, о общемъ безвѣріи — о превращеніяхъ Нерона. *Рабъ-Христіанинъ*“...

Вотъ сколько раздумья, вотъ сколькихъ трудовъ стоило Пушкину развитіе содержанія „Египетскихъ Ночей“. Другіе примѣры того, какъ видоизмѣнялись внимательнымъ углубленіемъ въ сущность мысли планы произведеній Пушкина, представляетъ разсказъ „Братья Разбойники“. Онъ первоначально хотѣлъ написать болѣе обширную поэму, въ которой этотъ разсказъ былъ бы только эпизодомъ. Вотъ программа предполагавшейся поэмы, найденная г. Анненковымъ: „Разбойники“. Исторія двухъ братьевъ. Атаманъ на Волгѣ. Купеческое судно. Дочь купца“. Но скоро онъ замѣтилъ, что сюжетъ не представляетъ довольно глубины для широкаго развитія, и сжегъ свою поэму, кромѣ отрывка, уцѣлѣвшаго въ рукахъ одного изъ пріятелей Пушкина, и показавшагося потомъ Пушкину заслуживающимъ печати. Г. Анненковъ предполагаетъ — и, вѣроятно, справедливо, что маленькая пьеса „Женихъ“ впоследствии возникла, если можно такъ выразиться, какъ экстрактъ изъ уничтоженной поэмы. Подобнымъ же образомъ „Мѣдный Всадникъ“ произошелъ

изъ эпизода задуманной прежде Пушкинымъ большой поэмы, отрывкомъ изъ другого эпизода которой осталась „Моя Родословная“, въ рукописи начинавшаяся стихами, которые вошли въ описаніе наводненія. Пушкинъ справедливо обдумалъ, что колоссальный „Мѣдный Всадникъ“ дѣлаетъ неумѣстной обстановку „Родословной“. Говоря о программахъ, приведемъ также чрезвычайно интересныя программы „Галуба“; онѣ показываютъ, какое глубокое содержаніе должна была пріобрѣсть по мысли автора эта поэма, которой успѣлъ онъ написать только половину. Планъ ея былъ задуманъ еще въ 1829 году, но только черезъ четыре года приступилъ Пушкинъ къ его исполненію. Представляемъ программы рядомъ:

1-ая ПРОГРАММА.

1. Похороны.
2. *Черкесъ-христiанинъ.*
3. Купецъ.
4. Рабъ.
5. Убійца.
6. Изгнаніе.
7. *Любовь.*
8. Сватовство.
9. Отказъ.
10. Миссіонеръ.
11. Война.
12. Сраженіе.
13. Смерть.
14. Эпилогъ.

2-ая ПРОГРАММА.

Обрядъ похоронъ.
 Уздень и меньшей сынъ.
 І день (отсутствiя Тазита). Ланъ.
 Почта. Грузинскіе купцы.
 ІІ день. Орель. Казакъ.
 ІІІ день. *Отецъ его гонитъ.*
 Юноша и монахъ.
 Любовь отвергнута.
 Битва и монахъ.

Пушкинъ слѣдовалъ при исполненіи второй программѣ, которая намъ кажется и позднѣйшею и болѣе художественною. Г. Анненковъ справедливо заключаетъ, что существенная мысль поэмы была—изобразить, какъ Тазитъ по нравственному развитію ставшій выше суроваго, безпощаднаго дикарства своего племени, тоскующій среди его и, наконецъ, отвергнутый имъ, принимается гуманнымъ обществомъ христiанскаго міра—и, вѣроятно (осмѣлимся при-

бавить мы), падаетъ въ борьбѣ между прежнимъ и новымъ, отвергаемымъ и принимаемымъ нравственнымъ существованіемъ. Пушкинъ успѣлъ исполнить только половину своей программы и, по обыкновенію, зачеркивалъ ея отдѣленія по мѣрѣ того, какъ исполнялъ ихъ. Сличивъ поэму съ программами, видимъ, что Пушкинъ слѣдовалъ второй; но онъ также зачеркивалъ отдѣлы и въ первой программѣ, слѣдовательно, вновь соображалъ и оцѣнивалъ ихъ при исполненіи. Въ первой Тазитъ представляется христіаниномъ уже при самомъ началѣ поэмы; по второй программѣ поэма обнимаетъ весь ходъ его развитія; потому вторая кажется намъ полнѣе въ художественномъ отношеніи, и Пушкинъ не безъ причины предпочелъ ее.

Въ этомъ внимательномъ, продолжительномъ, недовѣрчивомъ обдумываніи плана заключается, по нашему мнѣнію, драгоценный урокъ для тѣхъ писателей, которые, подумавъ полчаса, пишутъ полгода и потомъ поправляютъ годъ, — хорошо еще если пишутъ, какъ велитъ одушевленіе труда, и потомъ исправляютъ, а не сидятъ въ раздумьи надъ каждою фразою, не спутываютъ различныхъ работъ — творить и пересматривать въ одну вялую, утомительную, безхарактерную работу. Конечно, для каждого особеннаго характера и темперамента есть свои особенныя условія, наиболѣе соотвѣтствующія природѣ, наиболѣе благоприятныя для дѣятельности. Человѣкъ съ ровнымъ, покойнымъ, нѣсколько флегматическимъ умомъ, нѣсколько удобнѣе, нежели человѣкъ съ умомъ бойкимъ, пылкимъ, нетерпѣливымъ, можетъ выносить развлеченія или замедленія въ своей работѣ, не портя ея; но нѣтъ человѣка, который бы не работалъ успѣшнѣе, послѣдовательнѣе, лучше, оставаясь не развлекаемымъ, нежели получая каждую минуту толчокъ подъ руку. Мы принимаемъ въ соображеніе и то, что если люди самоувѣренные или, по крайней мѣрѣ, твердые могутъ писать, не задумываясь надъ словами, не чувствуя въ самую минуту письма потребности перемарывать и зачеркивать одно выраженіе, чтобы замѣнить его другимъ, то для людей съ характеромъ мнительнымъ или, по крайней мѣрѣ, нѣ-

сколько робкимъ и застѣнчивымъ было бы насиліемъ ихъ природному расположенію или даже чистою невозможностью писать прямо, не перечеркивая многихъ фразъ, не придумываясь иногда надъ выраженіемъ мысли. Но то вѣрно, что для всякой натуры выгодна твердая, не колеблемая судорожными ужимками поступь. Мы именно то и хотимъ сказать, что для всякаго таланта, каковы бы ни были особенныя его наклонности, каковъ бы ни былъ характеръ человѣка, имъ обладающаго, одно изъ существеннѣйшихъ условій успѣшной дѣятельности то, чтобъ онъ вполнѣ предавался въ минуты творчества теченію своей мысли, ничѣмъ не задерживая, не возмущая его. Такого рода состояніе, если не есть еще вдохновеніе, то довольно близко къ нему. И мы думаемъ, что каждый талантъ много выиграетъ, если будетъ вполнѣ отдаваться своей природѣ, не стѣсняясь никакими внѣшними соображеніями. А къ числу ихъ принадлежитъ забота о красотѣ выраженій; забыть о ней въ то время, какъ пишешь—вѣрнѣйшее средство достигъ ея, насколько то въ силахъ нашего дарованія. Человѣкъ именно тогда производитъ истинный эффектъ, когда и не думаетъ объ эффектахъ. Это замѣтно даже на хорошихъ актерахъ или пѣвцахъ. А писатель не актеръ, онъ долженъ быть гораздо ближе къ увлеченію, забывающему обо всемъ, кромѣ своего предмета. Недурно при этомъ случаѣ вспомнить и правило политической экономіи о раздѣленіи работъ, которое давно выражено пословицею: за двумя зайцами погонишься—ни одного не поймашь. Чѣмъ занялся, тѣмъ и надо заниматься. Когда пишется, пиши и пиши. Потомъ, когда ужъ написано, когда умъ утомился напряженіемъ творчества, перечитывай, соображай и обсуждай написанное. Но — опять есть пословица: написаннаго перомъ не вырубишь топоромъ, — что написалось дурно, нескладно или слабо, тому не придадутъ силы, красоты или стройности никакія исправленія. Послѣдующіе пересмотры произведенія сглаживаютъ только тѣ недостатки произведенія, которые возникаютъ отъ медленности пера, сравнительно съ быстрымъ теченіемъ мысли. Исправить самой

мысли, недостатковъ развитія, принадлежащихъ ей самой, они не въ силахъ. И если вы недовольны не мелкими неточностями и угловатостями грамматическими или риторическими, а какими-нибудь существенными сторонами написаннаго, лучше и даже расчетливѣе, относительно количества времени, нужнаго для работы, не переправлять, а бросить написанное неудачно и писать вновь. Конечно, это своего рода геройство: кому не жаль бросить свой трудъ? Кому не стыдно передъ собою сознаться, что написалъ вещь, никуда не годную? Потому-то и нужно не приниматься писать, не обдумавъ ясно и стройно, что должно быть написано. Повторимъ однако еще разъ, что всякая искусственность ведетъ къ холодности и приторности, что лучший медъ вытекаетъ изъ сотовъ самъ собою, а выжиманье приносить пользу только на маслобойнѣ; что существенное правило не только поэтической дѣятельности, но и вообще жизни: каждый долженъ дѣлать такъ, какъ прилично его натурѣ и сущности производимаго предмета. Пути и проявленія жизни безконечно разнообразны, можно только находить общіе элементы, участвующіе въ созданіяхъ жизни, но нельзя сказать: такого-то рода дѣятельность всегда, во всемъ и у всѣхъ должна быть подъ исключительною властью такого-то правила: всегда и во всемъ могутъ быть случаи, когда самое общее, самое непреложное правило встрѣчается съ другими законами жизни, отнимающими у него исключительное господство надъ дѣятельностью. Потому и правило: обдумывай, обдумывай, и обдумывай, потомъ ничего не будетъ стоить написать; а написанное необдуманно само ничего не стоитъ; или, по просту выражаясь, пять разъ примѣръ, разъ отрѣжь—это простое правило всякой человѣческой дѣятельности, а не одного только эстетическаго міра, не одно всегда и повсюду управляетъ человѣческой жизнью: встрѣчаются случаи, когда другіе законы и условія жизни выказываютъ свои требованія такъ сильно, что подавляютъ его и измѣняютъ характеръ дѣятельности. Таково лирическое настроеніе духа, являющееся порывомъ. Таковъ (быть можетъ, не совсѣмъ умѣстно, по

поводу Пушкина, умъ котораго равнялся таланту и сообщалъ ему наибольшую цѣну, говорить о болѣзненныхъ порожденіяхъ; но у насъ, какъ и вездѣ, хотя не въ такой мѣрѣ какъ у насъ, общая мысль нуждается въ отрицательныхъ приложеніяхъ, чтобы стать замѣтною), таковъ жалкій случай, когда человѣкъ, имѣющій способность писать гладко, не одаренъ способностью стройно мыслить. Случай, къ сожалѣнію, весьма и весьма нерѣдкій. Не знаемъ, какъ бывало это прежде, потому что имена людей, хромавшихъ въ умственномъ отношеніи, не доходятъ до потомства, но современникамъ приходится часто встрѣчаться съ ними. Что же? вѣдь, и они люди, вѣдь, и они заслуживаютъ сочувствія, да и прямая выгода современниковъ требуетъ не отказывать въ особенныхъ предостереженіяхъ спотыкающимся. Потому, если вамъ, читатель, случится встрѣтить поэта или беллетриста, мыслительность котораго движется такъ невѣрно, что каждому не безчувственному человѣку хочется быть заботливымъ опекуномъ его; — то увѣрьте его, что правило обдумывать свои произведенія къ нему не относится: напротивъ, чѣмъ меньше онъ будетъ думать надъ своими произведеніями, тѣмъ лучше. И пусть онъ по преимуществу выбираетъ ихъ сюжетами предметы „не вызывающіе на размышленіе“: восхожденіе солнца, описаніе весны, утра, бури—особенно прекрасныя темы; антологическія стихотворенія лучше всего приспособлены къ его силамъ; изъ приключеній человѣческой жизни очень удобны для него: первая любовь, свѣтскія отношенія, панегирическія повѣсти о граціозныхъ красавицахъ и о необыкновенно блестящихъ молодыхъ людяхъ; патетическія сцены также не представляютъ большихъ затрудненій. Но онъ лучше всего сдѣлаетъ, если распредѣлитъ время поровну между творческою дѣятельностью и образованіемъ своей мыслительной способности чтеніемъ хорошихъ книгъ, по выбору опытнаго руководителя, частыми бесѣдами съ дѣльными людьми и особенно тѣмъ, что будетъ удалаться общества себѣ подобныхъ. При старательности и скромности почти каждый въ состояніи

сдѣлаться человѣкомъ здравомыслящимъ и способнымъ судить о вещахъ. Умственныхъ горбуновъ отъ природы мало.

Естественнѣйшій методъ всякой работы, и ремесленной, и прозаической, и поэтической, состоитъ въ томъ, чтобы ясно обдумать дѣло, и потомъ исполнить его, а потомъ ужъ приниматься за пересмотръ и исправленіе. Такъ умѣетъ поступать даже столяръ: сначала сообразить, какихъ размѣровъ нужно сдѣлать вещь, какую штуку дерева и какого именно дерева приготовить для каждой ея части; потомъ ужъ начинается ея дѣлать, и дѣлаетъ, не останавливаясь надъ полировкой каждаго преклеиваемаго вершка. Наконецъ, давъ просохнуть своей работѣ, принимается за полировку, если только вещь такого рода, что нуждается въ полировкѣ. Во всякомъ случаѣ, хорошій столяръ славится тѣмъ, что дѣлаетъ мебель изъ хорошихъ матеріаловъ, прочно и соотвѣтственно ея цѣли, а не тѣмъ, что хорошо полируетъ ее: порядочно отполировать умѣетъ самый плохой подмастерье.

И какъ успѣшно идетъ работа, когда все въ ней обдумано и соображено. У Пушкина, на примѣръ, который такъ медленно развивалъ свои созданія въ головѣ, созрѣвъ, они выливались на бумагу чрезвычайно быстро. Такъ, первая часть „Полтавы“ кончена 3-го октября, вторая — 9-го, третья — 16-го, слѣдовательно, каждая пѣснь написана въ недѣлю или менѣе. Большая повѣсть „Дубровский“ начата 21 октября, кончена 3-го января, слѣдовательно, написана менѣе нежели въ два съ половиною мѣсяца. Интересными примѣрами того, въ какой незначительной мѣрѣ достоинства, придаваемые мелочною послѣдующею отдѣлкою, возвышаютъ первобытную красоту произведенія, съ которою оно выходитъ изъ пера истинно талантливаго автора, служатъ намъ произведенія, которыхъ Пушкинъ не успѣлъ дописать и, слѣдовательно, не могъ пересмотрѣть и окончательно обработать. Мы спрашиваемъ, въ чемъ уступаетъ „Галубъ“ законченнѣйшимъ по внѣшней отдѣлкѣ поэмамъ Пушкина? Менѣе ли художественны и самые стихи и картины въ этомъ неотдѣланномъ отрывкѣ, нежели въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ“ или въ „Полтавѣ“? Другое неокончен-

ное и также не получившее окончательной отдѣлки произведение, „Русалка“, рѣшительно должно быть названо однимъ изъ превосходнѣйшихъ произведеній поэзіи Пушкина. „Русалку“ едва ли не должно въ художественномъ отношеніи (не по содержанію, не по мысли, а по эстетическимъ достоинствамъ исполненія) поставить наравнѣ съ „Мѣднымъ Всадникомъ“ и „Каменнымъ Гостемъ“, выше и „Цыганъ“, и „Братьевъ Разбойниковъ“, и „Полтавы“. Но поразительнѣ всего примѣръ, представляемый „Сценами изъ рыцарскихъ временъ“. Это произведение яснѣ всего показываетъ, что существенная красота заключена не въ словахъ, которыми умѣетъ геніальный писатель облечь свои мысли, а въ томъ геніальномъ развитіи, которое получаетъ мысль въ его умѣ, воображеніи, соображеніи, назовите это, какъ хотите, — въ художественности, съ какою представляется ему планъ, а не въ выраженіи.

„По бумагамъ Пушкина видно, — говоритъ г. Анненковъ, — что „Сцены рыцарскихъ временъ“ не настоящее произведение, а только планъ произведенія. Сверху рукописи написано: *Планъ*, и затѣмъ, вмѣсто того, чтобъ изложить программу драмы въ описаніи, Пушкинъ прямо началъ сцены и, разъ начавъ, дописалъ ихъ. Такъ составились онѣ, не получивъ надлежащаго развитія и представляя еще одинъ остовъ произведенія и сухость, свойственную плану вообще, хотя бы онъ былъ и въ драматической формѣ“.

Не знаемъ, на сколько развился бы этотъ планъ при полной обработкѣ; не знаемъ, какъ прекрасна была бы драма тогда; но теперь въ „Сценахъ изъ рыцарскихъ временъ“ мы имѣемъ одно изъ превосходнѣйшихъ произведеній Пушкина; рѣшаемся даже сказать, что не жалѣемъ о томъ, что „остовъ произведенія, представляющій сухость“, не былъ обработанъ, не подвергся перекраиванью, развитію и распространенію въ объемѣ. Намъ кажется даже, что сухость этого остова можно замѣтить только, узнавъ по внѣшнимъ признакамъ, что оставшіяся намъ „Сцены“ — остовъ, а не вполне законченное художественное произведение; не укажи намъ на мысль о сухости и необработанности самъ Пуш-

кинъ, мы должны были бы думать, что даже онъ самъ не могъ бы ни прибавить ни измѣнить тутъ ни одного слова, не испортивъ или не ослабивъ своей прекрасной драмы. Если бы можно было вполнѣ высказывать свои мнѣнія, то мы сказали бы даже, что „Сцены изъ рыцарскихъ временъ“ должны быть въ художественномъ отношеніи поставлены не ниже „Бориса Годунова“, а быть можетъ и выше.

Съ вопросомъ о важности мелочной обработки тѣсно связанъ вопросъ: когда авторъ заботящійся о художественномъ достоинствѣ своихъ произведеній, становится нелицепріятнымъ судьей того, достойны ли они его имени, могутъ ли быть изданы въ настоящей своей формѣ или еще не достигли возможнаго совершенства; вопросъ о томъ, долго ли должно храниться произведеніе въ портфеляхъ автора? Пушкинъ очень часто буквально исполнялъ правило Горация: „держи у себя подъ замкомъ девять лѣтъ“, *Nonum prematur in apud*. Множество произведеній, совершенно оконченныхъ, лежали у него не изданными по нѣсколько лѣтъ. Не будемъ исчислять всѣхъ случаевъ, ограничиваясь немногими изъ указанныхъ г. Анненковымъ. „Цыгане“ оставались не изданными, по крайней мѣрѣ, три года; то же было съ главами „Евгенія Онегина“, „Дубровскимъ“, „Мѣднымъ Всадникомъ“,—однимъ словомъ, съ большею частью поэмъ и повѣстей Пушкина. Одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ случаевъ въ этомъ отношеніи составляетъ судьба „Бориса Годунова“, остававшагося въ портфель автора шесть лѣтъ! Драма эта совершенно окончена въ 1825 году, какъ несомнѣнно свидѣтельствуетъ самъ Пушкинъ. Впрочемъ, тутъ чрезвычайное замедленіе объясняется особенною важною, какую предавалъ этому произведенію Пушкинъ, боязнь отдавать его на судъ критиковъ, не приготовленныхъ къ тому, чтобъ оцѣнить по достоинству произведеніе, слишкомъ колоссальное для ихъ понятій, по мнѣнію самого Пушкина, и необыкновенно дорогое ему. Г. Анненковъ сообщаетъ намъ объ этомъ интересные отрывки изъ писемъ и замѣтокъ Пушкина, и мы приводимъ здѣсь нѣкоторые изъ нихъ.

„Долго не могъ я рѣшиться напечатать свою драму. Хорошій или худой успѣхъ моихъ стихотвореній, благосклонное или строгое рѣшеніе журналовъ о какой-нибудь стихотворной повѣсти—слабо тревожили мое самолюбіе. Читая разборы самые оскорбительные, старался я угадать мнѣніе критика, понять, въ чемъ именно состоятъ его обвиненія, и если никогда не отвѣчалъ на оныя, то сіе происходило не изъ презрѣнія, но единственно изъ убѣжденія, что для нашей литературы *il est indifférent*, что такая-то глава „Онѣгина“ вышла выше или ниже другой. Но признаюсь искренно, неуспѣхъ драмы моей огорчилъ бы меня; ибо я твердо убѣжденъ, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспира, а не свѣтскій обычай трагедіи Расина, и что всякій неудачный опытъ можетъ замедлить преобразование нашей сцены“...

....„Съ отвращеніемъ рѣшаюсь я выдать въ свѣтъ „Бориса Годунова“, и хоть я вообще довольно равнодушенъ къ успѣху или неудачѣ своихъ произведеній, но, признаюсь, неудача „Бориса Годунова“, будетъ мнѣ чувствительна, а я въ ней почти увѣренъ. Какъ Монтанъ, я могу сказать о моемъ сочиненіи: *c'est une oeuvre de bonne foi*. Писанная мною въ строгомъ уединеніи, вдали охлаждающаго свѣта, плодъ добросовѣстныхъ изученій, постоянного труда, сія трагедія доставила мнѣ все, чѣмъ писателю насладиться дозволено: живое занятіе вдохновенію, внутреннее убѣжденіе, что мною употреблены были всѣ усилія, наконецъ, одобреніе малаго числа избранныхъ“...

И дѣйствительно, холодный пріемъ, встрѣченный этимъ любимымъ твореніемъ Пушкина, произвелъ на него самое тяжелое впечатлѣніе, которое отчасти даже содѣйствовало развитію его литературныхъ понятій въ смыслѣ, противоположномъ его прежнему доброму стремленію впередъ. „Пововведенія опасны и, кажется, ненужны“, говоритъ онъ въ черновомъ письмѣ, по поводу разборовъ „Бориса Годунова“ въ тогдашнихъ журналахъ. Не разсматривая вопроса, до какой степени основательны были эти разборы, скажемъ только, что „Борисъ Годуновъ“ дѣйствительно не занялъ

того мѣста въ исторіи русскаго литературнаго или сценическаго развитія, какое предназначалъ ему Пушкинъ. Колоссальны или нѣтъ достоинства этой драмы, но она до сихъ поръ не оказала большого вліянія ни на писателей ни на читателей нашихъ, и главы „Евгенія Онѣгина“, о которыхъ сравнительно съ нею такъ презрительно отзывается Пушкинъ, были гораздо важнѣе ея для нашей литературы. Какъ бы то ни было, мы не будемъ удивляться, что Пушкинъ, обыкновенно столь проницательный, не совсѣмъ безпристрастно смотрѣлъ на литературную важность своихъ произведеній: „Евгеній Онѣгинъ“ писался легко, а „Борисъ Годуновъ“ стоилъ автору многихъ трудовъ; кромѣ того, Пушкинъ считалъ драму высочайшею формою искусства. И теперь обыкновенно думаютъ то же. Виною такого мнѣнія, конечно, драмы Шекспира—величіе его генія заставило считать и форму его произведеній чѣмъ-то монументальнымъ, какъ нѣкогда на основаніи превосходства Гомеровыхъ эпоей думали, что безсмертіе дается поэту только сочиненіемъ „эпоеи“. Но если Пушкинъ медлил издавать „Бориса Годунова“ потому, что слишкомъ дорожилъ имъ, то при изданіи другихъ произведеній, особенно мелкихъ, которымъ не придавалъ онъ большой цѣны, онъ не могъ останавливаться опасеніемъ отдать ихъ на судъ журналовъ и публики. А между тѣмъ не только поэмы, повѣсти, но и лирическія стихотворенія часто лежали въ его портфеляхъ неизданными. Беремъ изъ сотни указаній, представляемыхъ примѣчаніями г. Анненкова ко второму тому, нѣсколько случаевъ. Изъ стихотвореній, написанныхъ въ 1824 году, „Ночной зефиръ струить эфиръ“ было напечатано только въ 1827 году, „Аквилонъ“ осталось ненапечатаннымъ до смерти, хотя Пушкинъ, какъ видно, считалъ его достойнымъ печати, поправляя въ 1830 году; „Коварность“ явилась только въ 1828 году; „Къ Языкову“ только въ 1830 году; „Узникъ“ только въ 1832 году. Конечно, такая чрезвычайная медленность была личнымъ произволомъ или особенностью характера, и было бы странно поставлять ее въ примѣръ. Напротивъ, надобно даже сказать, что

излишнее задерживаніе своихъ произведеній неизданными можетъ отчасти вредить свѣжести творчества и еще прямѣ развитію таланта. Но въ наше время, кажется, нѣтъ надобности настаивать на необходимости своевременной отдачи произведеній на общій судъ, по малочисленности людей, погрѣшающихъ противъ этого правила. Если

Блаженъ, кто про себя тайлъ
Души высокія созданья,

то блаженны въ наше время почти только тѣ писатели, которыхъ не соглашается печатать ни одинъ журналъ. Не будемъ, впрочемъ, доходить въ нашихъ мнѣніяхъ до несправедливости: если можно упрекнуть многихъ нашихъ писателей въ поспѣшности, съ какою печатаютъ они свои произведенія, то эта привычка, не совсѣмъ выгодная для таланта, не достигаетъ ни у кого изъ нихъ пагубнаго развитія, въ какомъ упрекали французскихъ фельетонныхъ романистовъ: наши беллетристы посылаютъ свои рассказы въ типографію не листъ за листомъ, сами еще не зная, что будетъ написано въ слѣдующей главѣ романа. Они не только дописываютъ романъ до конца прежде, нежели начинаютъ его печатать, но и перечитываютъ, исправляютъ, вообще, сообразно своимъ убѣжденіямъ, заботятся о возможномъ совершенствѣ своихъ произведеній. Литературное самолюбіе или честолюбіе у насъ еще очень сильно...

Обращаясь къ авторской манерѣ Пушкина, мы находимъ у него перечеркиванье и исправленіе въ чрезвычайно обширномъ размѣрѣ, какъ бы не только отдѣлка стиха, но и самое облеченіе мысли въ стихотворную форму стоило ему чрезвычайныхъ усилій, какъ бы эти стихи, поражающіе прежде всего своею легкостью, писалъ онъ съ большимъ трудомъ, какъ бы механизмъ стиха представлялъ Пушкину затрудненія. Г. Анненковъ собралъ въ своихъ „Матеріалахъ“ очень много данныхъ этой тяжелой, почти хаотической борьбы со стихомъ. Многія страницы, заключающія въ себѣ, какъ можно угадывать по нѣкоторымъ

отдѣльнымъ словамъ, неизданныя стихотворенія или отрывки, перечерканы, испещрены помарками до того, что нѣтъ возможности возстановить написанное. Почти то же надобно сказать о черновыхъ спискахъ многихъ стихотвореній, переписанныхъ потомъ самимъ Пушкинымъ набѣло; снимокъ одного чернового листка „Полтавы“, приложенный къ „Матеріаламъ“, утомить вниманіе каждаго, кто попытается разобрать исторію образованія стиховъ:

Казалось, Карла приводилъ
Желанный бой въ недоумѣнье.

„Почти каждая строка его стиховъ—говорить г. Анненковъ—свидѣтельствуетъ объ этой особенноти его удивительно мужественнаго таланта. Поучительно видѣть, какъ изъ страницы, кругомъ исписанной и, можно сказать, обращенной въ самую мелкую сѣть помарокъ, вытекаетъ стихотвореніе, чистое какъ алмазъ, съ роскошной игрой свѣта и въ изумительной обдѣлкѣ“. Прежде нежели попробуемъ объяснить обширность размѣра, какой принимаетъ у Пушкина отдѣлка стиха, укажемъ обыкновеннѣйшій результатъ ея—уменьшеніе объема стихотворенія, строгое уничтоженіе множества, быть можетъ, половины задуманныхъ стиховъ. Не будемъ приводить безчисленнаго количества стиховъ и строфъ, вычеркнутыхъ Пушкинымъ изъ „Евгенія Онѣгина“. Два—три примѣра изъ другихъ произведеній будутъ достаточны для убѣжденія въ томъ, до какой степени Пушкинъ боялся растянутости. Размышленіе Пимена надъ своею лѣтописью заключалось въ рукописи такъ:

Передо мной опять выходятъ люди,
Уже давно покинувшіе міръ,
Властители, которымъ былъ покоренъ,
И недруги, и старые друзья—
Товарищи моей цвѣтущей жизни...
Какъ ласки ихъ мнѣ радостны бывали,
Какъ живо жгли мнѣ сердце ихъ обиды!
Но гдѣ же ихъ знакомый ликъ и страсти?
Чуть—чуть ихъ слѣды ложится легкой тѣнью,—
И мнѣ давно, давно пора за ними!...

зъ этихъ десяти стиховъ Пушкину показался не из-
нимъ по своей мысли только предпоследній, и весь
новый эпизодъ, дѣйствительно растягивавшій монологъ
олезнымъ повтореніемъ того, что высказывается въ дру-
гихъ стихахъ его, замѣненъ двустипіемъ:

Немного лицъ мнѣ память сохранила,
Немного словъ доходить до меня.

Въ „Полтавѣ“ онъ зачеркиваетъ стихи, описывающіе стра-
сти влюбленнаго казака, отвергнутаго Маріей (въ 1-й пѣснѣ);
третьей пѣснѣ послѣ стиховъ:

Съ горестью глубокой
Внималъ любовникъ ей жестокой;
Но вихрю мыслей предана...

сложена большая часть монолога сумасшедшей:

Ей-Богу, говоритъ она,
Старуха жетъ. Съдой проказникъ
Тамъ въ башнѣ спрятался. Пойдемъ,
Не будемъ горевать о немъ.
Пойдемъ... Какой сегодня праздникъ?
Народъ бѣжитъ, народъ поетъ и т. д.

Изъ семнадцать стиховъ. Въ „Русалкѣ“ уничтоженъ от-
рывъ изъ нѣсколькихъ десятковъ стиховъ въ сценѣ
свадьбы, послѣ упрека дружка дѣвицамъ за ихъ печальную
жизнь; этотъ эпизодъ заключалъ продолженіе упрековъ и
осужденія, произведеннаго появленіемъ утопленницы. Точно
такъ въ началѣ „Мѣднаго Всадника“ уничтожены длин-
ныя размышленія Евгенія (по возвращеніи домой въ вечеръ
послѣ наводненія) о томъ, что онъ женится на Парашѣ
и будетъ съ нею счастливъ. Конечно, всякій согла-
ся, что эти стихи безъ нужды растягивали сцену. Нѣ-
сколько сотъ такихъ стиховъ сохранено въ „Матеріалахъ“,
и Анненковъ справедливо обращаетъ вниманіе писа-
теля на эту строгость Пушкина къ собственнымъ произ-
веденіямъ...

Н. Чернышевскій.

* * *

*) Всѣ почти великіе дѣятели русской словесности были не простыми пѣвцами, но вмѣстѣ съ тѣмъ и *учителями* своихъ читателей, принимая слово „учитель“ въ его весьма прозаическомъ смыслѣ. Иначе и быть не можетъ въ обществѣ еще юномъ, еще недавно призванномъ къ образованію. „Пѣть подобно птицѣ“, о которой говоритъ бардъ у Гете, можно только посреди народа, изнѣженнаго давнимъ образованіемъ, немного одряхлѣвшаго и нуждающагося въ одномъ лишь умственномъ развлеченіи. Тамъ, гдѣ масса избранныхъ читателей, по учености своей, сама способна давать совѣты поэту,—поэтъ можетъ мыслить только о своемъ талантѣ, приноравливать его къ требованіямъ строгихъ цѣнителей, не уклоняясь въ сторону отъ пути, имъ обусловленнаго. У насъ, въ Россіи, великіе писатели всегда стояли впереди своихъ читателей, сами образовывая общество, поучая тѣхъ, кто жаждалъ познанія, трудясь надъ самымъ органомъ своихъ пѣснопѣній, то есть надъ русскимъ языкомъ, еще и по нынѣ не вполне установившимся. Имъ не приходилось пѣть для самихъ себя и уединяться вдаль отъ русскаго народа, къ вершинамъ Геликона. Ломоносовъ не посвящалъ одѣ всей своей жизни,—онъ работалъ русскую грамматику, набрасывалъ историческія замѣтки, думалъ о русскомъ театрѣ, занимался естественными науками. Карамзинъ не отдавался одному какому-либо роду дѣятельности, но прерывалъ лучшіе труды свои для того, чтобъ сѣять вокругъ себя благіе начатки образованія, знакомить современниковъ съ ходомъ иностраннаго искусства, указывать писателямъ новые пути и руководить ихъ своимъ примѣромъ. Жуковскій дѣлалъ то же самое, хотя не издавалъ ни журналовъ ни критическихъ трактатовъ; своими переводами онъ привлекалъ вниманіе читателя къ чудесамъ нѣмецкой и британской словесности, знакомилъ его съ законами новой драмы,—въ то же время пробуждая нашу дремлющую критику, посредствомъ вопроса о *романтизмѣ*, какъ его понимали въ то время. Пушкинъ въ этомъ

*) „Библиотека для Чтенія“ 1855 г., т. 130, №№ 3—4. Статья А. Дружинина, подъ заглавіемъ: „А. С. Пушкинъ и послѣднее изданіе его сочиненій“.

отношеніи остался, по самому ходу вещей, совершенно вѣренъ системѣ своихъ предшественниковъ. Въ дидактическомъ своемъ вліяніи на русскую публику, онъ соединялъ въ себѣ Карамзина съ Жуковскимъ, подобно второму дѣйствуя черезъ прямое вліяніе примѣра и, по методѣ Карамзина, входя въ болѣе прямое соотношеніе съ своимъ читателемъ. Лирикъ и историкъ, переводчикъ и романистъ, эпическій поэтъ и повѣствователь, Пушкинъ представилъ Россіи драгоцѣнные образцы дѣятельности во всѣхъ родахъ, даже ему несимпатическихъ. Но однихъ образцовъ оказывалось недостаточно—развитіе вкуса въ массѣ читателей шло слишкомъ медленно, по убѣжденію нашего поэта. Пушкинъ нашелъ возможность посвящать часть своего времени дѣятельности другого рода. Подобно Карамзину, въ лучшіе годы его дѣятельности, Александръ Сергѣевичъ находилъ время на журнальное сотрудничество, на рецензіи, замѣтки, этюды, очерки, сатиры противъ того направленія словесности, которое казалось ему ошибочнымъ. Ни промахи нашей критики, ни личности задорныхъ противниковъ, ни дѣтская неразвитость журнальныхъ дѣятелей, не были способны отклонить поэта отъ прямыхъ бесѣдъ съ публикой. Мысль объ изданіи газеты или журнала, въ родѣ англійскихъ трехмѣсячныхъ обзорѣй, преслѣдовала Пушкина въ послѣдніе десять лѣтъ его жизни. Смѣшно было бы утверждать, что авторъ „Мѣднаго Всадника“, всегда нерасчетливый и всегда нуждавшійся въ деньгахъ, не видѣлъ денежной стороны въ этомъ вопросѣ, а руководился только одной идеальной потребностью просвѣщать читателя. Но утверждать, что Пушкинъ имѣлъ въ виду одну корыстную цѣль—было бы и смѣшно и недостойно. Журналъ въ то время не могъ давать большихъ доходовъ. Вся предшествовавшая дѣятельность Пушкина показывала въ немъ человѣка, чуждаго всѣмъ мизернымъ расчетамъ.

Со всѣмъ тѣмъ, переходя къ обзору дѣятельности Александра Сергѣича какъ журналиста, мы ощущаемъ какое-то невольное замѣшательство. „Современникъ“ началъ выходить въ 1836 году; первыя его книжки, украшенные именами

первоклассныхъ дѣятелей русской словесности, возбудили общее одобреніе,—но одобреніе это относилось къ одному лишь чисто литературному отдѣлу журнала. Въ цѣломъ своемъ составѣ каждая книжка „Современника“ была несравненно суше книжекъ соперничествовавшего съ нимъ журнала; между тѣмъ какъ этотъ недостатокъ не выкупался никакимъ особеннымъ достоинствомъ по критической части. Было даже что-то устарѣлое, альманашное въ краткихъ рецензіяхъ „Современника“ на новыя книги, въ бѣдности мелкихъ статей и, главное, въ отсутствіи строгой, прочной системы по редакціи самого Сборника. Г. Анненковъ сообщаетъ намъ, что причину основанія „Современника“ должно прежде всего искать въ противодѣйствіи насмѣшливому, парадоксальному взгляду на словесность, начинавшему высказываться въ нѣкоторыхъ изъ русскихъ журналовъ; но, въ такомъ случаѣ, Пушкинъ, какъ журналистъ, владѣя авторитетомъ перваго русскаго поэта, сдѣлалъ слишкомъ мало противодѣйствія тому взгляду, который ему такъ не нравился. Такія рецензіи, какъ, напримѣръ, рецензія альманаха „Мое Новоселье“ („Матеріалы“, стр. 418), такія похвалы, какъ, напримѣръ: „г. N идетъ впередъ. Желаемъ ему успѣха и надѣмся часто говорить о его произведеніяхъ“, не могли особенно занять публику и возбудить въ умѣ ея должную реакцію противъ шутливаго направленія тогдашнихъ критиковъ. Составитель „Матеріаловъ“ говоритъ, что богатство литературнаго отдѣла въ „Современникѣ“ доказываетъ серьезное направленіе его редакціи. Съ этимъ намъ трудно согласиться, ибо мы знаемъ, что журналы того времени, отличавшіеся шутливостью своихъ рецензій, равнымъ образомъ не были бѣдны изящными произведеніями въ первые годы своего существованія. Не лучше ли будетъ намъ просто сознаться, что Пушкинъ или не имѣлъ всѣхъ достоинствъ, нужныхъ редактору періодическаго изданія или (что будетъ вѣрнѣе) не имѣлъ времени сдѣлать изъ „Современника“ любимѣйшее чтеніе для русскихъ читателей? Не вѣрнѣе ли будетъ предположить, что нашъ великій поэтъ, вступая въ свой величайшій періодъ творчества, не могъ съ любовью

заниматься журнальнымъ дѣломъ, что онъ не имѣлъ дара группировать вокругъ себя молодые таланты, что онъ утратилъ охоту къ журнальнымъ словопреніямъ, и что въ Александрѣ Сергѣичѣ развивающійся богатырь поэзіи убилъ скромнаго, но неутомимаго журналиста? Слава нашего пѣвца такъ велика, что небрежность по изданію трехъ или четырехъ журнальныхъ книжекъ нисколько не можетъ повредить его памяти!

Несмотря на наше полное убѣжденіе въ томъ, что „Современникъ“, за время его изданія Александромъ Сергѣичемъ, имѣетъ значеніе отличнаго альманаха, но никакъ не обзорѣнія, мы все-таки должны смягчить нашъ приговоръ о журналистѣ-Пушкинѣ не однимъ похвальнымъ замѣчаніемъ. Поэтъ нашъ любилъ трудиться тихо и, сверхъ того, былъ зорокъ на собственные свои недостатки. Не разъ случалось нашему писателю слабо начинать дѣла, приведенныя въ послѣдствіи къ блистательнѣйшему окончанію. Изъ первыхъ страницъ „Онѣгина“, съ описаніемъ рестораціи и замѣткой о красѣ ногтей, трудно было угадать читателю всю поэтическую прелесть романа, — по первымъ книжкамъ Пушкинскаго журнала нельзя еще съ полной увѣренностью судить объ Александрѣ Сергѣичѣ, какъ о редакторѣ. Не имѣя многихъ качествъ, необходимыхъ журналисту, поэтъ нашъ владѣлъ другими достоинствами, безъ которыхъ всегда почти обходились славнѣйшіе изъ журнальныхъ дѣятелей, какъ старыхъ, такъ и новыхъ.

По многимъ дѣламъ Пушкина, видимъ мы его пламенную любовь къ родной словесности, уваженіе къ читателю, искреннее, теплое участіе къ молодымъ талантамъ. Онъ первый привѣтствовалъ начинанія Гоголя, далъ ему два сюжета для двухъ его произведеній — „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“, и по поводу „Вечеровъ на хуторѣ“ сказалъ нѣсколько словъ о языкѣ и о ложной щепетильности читателей. Свою великую начитанность нашъ поэтъ не таитъ про самого себя, и въ этомъ отношеніи способенъ приносить большую пользу каждому періодическому изданію. Онъ жаждетъ пересказать читателю все его поразившее во время чтенія, познакомить

его съ неизвѣстнымъ у насъ поэтомъ, рассказать ему анекдотъ, только что заставившій его смѣяться,—однимъ словомъ, считаетъ своимъ долгомъ становиться въ постоянные посредники между публикой и всѣмъ тѣмъ, что его самого занимаетъ. Взгляните, какъ онъ хлопочетъ о томъ, чтобъ перевести Берри Корнвалля, чтобъ ознакомить публику съ живымъ сочиненіемъ госпожи Дуровой, доставившимъ ему столько удовольствія; какъ онъ излагаетъ своимъ мастерскимъ слогомъ приключенія Джона Теннера, въ сущности едва ли достойныя такой чести! Въстѣ съ этими достоинствами у Пушкина, какъ у журналиста, является своего рода литературное рыцарство, такъ важное во всякую пору, но особенно характеристическое въ то время, такъ обильное литературными несогласіями. Онъ не бранится ни съ кѣмъ, но долгомъ считаетъ укрыть кого только можетъ отъ несправедливыхъ нападеній. Ему замѣтили въ какомъ-то мѣстѣ, что „Современникъ“ будетъ продолженіемъ „Литературной Газеты“ Дельвига—и Пушкинъ, полный уваженія къ памяти друга, спѣшитъ заступиться за нее достойнымъ образомъ. Другой разъ, по поводу Виландовой поэмы „Вастола“, изданной Пушкинымъ, рецензенты дали замѣтить, что поэту лучше было бы выдать денежное пособіе переводчику поэмы, не позволяя ему прикрывать плохія произведенія любимымъ и знаменитымъ именемъ: „мы не ждали такого жестокаго обвиненія“, пишетъ въ отвѣтъ Александръ Сергѣевичъ: „переводчикъ Виландовой поэмы, человекъ небогатый, но честный и благородный, могъ поручить другому пріятный трудъ издать свою поэму; но конечно бы не принялъ милостыни отъ кого бы то ни было“. Отрадно останавливаться на такихъ чертахъ, ясно подтверждающихъ неоспоримую для насъ истину о томъ, что высокое дарованіе всегда бываетъ неразлучно съ высокими душевными качествами. Рецензіи новыхъ книгъ, помѣщенные Пушкинымъ въ „Современникъ“, при всей ихъ сухой торопливости, по временамъ заключаютъ въ себѣ искры, способныя превратиться, при должномъ трудѣ, въ полезный свѣтильникъ критики. Въ немногихъ строкахъ о второмъ

изданіи „Вечеровъ на хуторѣ“ сказано, что „Старосвѣтскіе Помѣщики“ *есть шутливая, трогательная идиллія, заставляющая смѣяться сквозь слезы грусти и умиленія*. Эти двѣ строки породили чуть не цѣлые томы со стороны послѣдующихъ критиковъ. Произнося отзывы по поводу книги „Походныя записки артиллериста“,—Александръ Сергѣевичъ роняетъ такія слова: *„простые рассказы иногда вносятъ такую черту въ исторію, какой нигдѣ не дороешься“*. Эта самая мысль развита въ наше время Маколеемъ въ рядѣ главъ, которымъ справедливо дивится вся читающая Европа.

Не мѣшаетъ, наконецъ, кончая нашъ выводъ о достоинствахъ и недостаткахъ Пушкина какъ журналиста, припомнить читателю самую цифру года, перваго года изданія „Современника“. Первая книжка сказаннаго изданія появилась въ мартѣ 1836 года, послѣдняя, 4-ая книжка выпущена была въ свѣтъ въ ноябрѣ, за три мѣсяца до кончины поэта. Въ этомъ году Пушкинъ имѣлъ въ своей наковальнѣ (какъ выражался Скоттъ) „Галуба“, „Русалку“ и „Мѣднаго Всадника“. Въ этомъ году Пушкинъ трудился надъ исторіей Петра Великаго. Въ этомъ году зрѣла и близилась катастрофа, лишившая наше отечество перваго изъ его великихъ поэтовъ.

„Русалка“, „Галубъ“ и „Мѣдный Всадникъ“ представляютъ послѣднюю грань, до которой достигъ талантъ Пушкина; а читатель хорошо знаетъ, что изъ трехъ названныхъ нами произведеній только послѣднее дошло до насъ конченнымъ, да и то напечатано послѣ смерти поэта,—значить, безъ окончательныхъ поправокъ, какія Александръ Сергѣичъ могъ бы ему придать по своему усмотрѣнію. Несмотря на тотъ видъ, въ какомъ дошли до насъ названные три произведенія, какой читатель не преклонится передъ этими тремя памятниками могучаго творчества, не преклонится въ нѣмомъ благоговѣніи, сказавши вмѣстѣ съ издателемъ разбираемой нами біографіи: „это не окончаніе поэтической дѣятельности, но скорѣе начатки чего-то великаго!“ „Пушкинъ начиналъ тяжело“, говоритъ намъ г. Аннен-

ковъ. „Какъ дубъ, предназначенный на долгое существованіе, онъ вначалѣ развивался тихо, раскидывая вѣтви свои съ каждымъ годомъ шире и шире“. Нельзя не согласиться съ такимъ замѣчаніемъ, пересматривая посмертныя вещи великаго поэта нашего; нельзя не подивиться правильной послѣдовательности пушкинскаго развитія; нельзя не сознать всей душою той неоспоримой истины, что въ Александрѣ Сергѣичѣ готовился міру поэтъ высочайшаго разбора, родной братъ Байрону, Гете и, можетъ быть, Шекспиру. Дѣятельность послѣднихъ лѣтъ его жизни не есть дѣятельность пѣвца мѣстнаго, просто талантливаго, предназначеннаго на славу въ одномъ только краѣ и въ одномъ только столѣтіи. Подъ „Мѣднымъ Всадникомъ“ и одновременными съ нимъ произведеніями—величайшій поэтъ всѣхъ временъ и народовъ безъ стыда можетъ подписать свое имя.

Есть своего рода прелесть въ неоконченной картинѣ великаго мастера; обильное поученіе таится въ твореніяхъ поэтовъ истинныхъ—твореніяхъ, ходъ которыхъ прерванъ безжалостной смертію. Здѣсь иногда недостатокъ законченности выкупается личностью самого труженика, не умѣвшаго укрыться отъ глазъ его поклонниковъ; между тѣмъ какъ отсутствіе полной обработки позволяетъ намъ глубже проникнуть въ процессъ самого творчества. Знаменитѣйшія изъ произведеній Пушкина, изданныя въ первый разъ послѣ смерти поэта, подобны статуямъ гениальнаго ваятеля, по которымъ еще не прошелъ инструментъ полировщика, и въ которыхъ инныя подробности еще не отдѣланы самимъ художникомъ. Сколько сокровенныхъ чертъ вдохновеннаго рѣзца открывается передъ нами: какъ великолѣпенъ видъ самого матоваго, иногда угловатаго мрамора! какою особенною свѣжестью дышитъ все произведеніе, надъ которымъ его отецъ, кажется, еще сію минуту трудился! Поспѣвшимъ же окинуть внимательнымъ взглядомъ трудъ, нами упомянутый, и, по мѣрѣ силъ нашихъ, прослѣдить за послѣднимъ проявленіемъ генія въ нашемъ гениальномъ учителѣ.

Во всѣхъ трехъ поэмахъ (само собой разумѣется, что „Русалку“ мы не намѣрены называть иначе, какъ поэмою)

способность замысла, всегда такъ блистательная у Пушкина, достигаетъ своего апогея. По сочиненію „Мѣднаго Всадника“, „Галуба“ и „Русалки“ Пушкинъ великъ какъ никто; долгій трудъ и работа надъ эпическими произведеніями принесли за собой роскошный плодъ, плодъ такъ давно ожидаемый. Если „Мѣдный Всадникъ“ такъ близокъ сердцу каждаго русскаго, если ходъ всей поэмы такъ связанъ съ исторіей и поэмой города Петербурга,—то все-таки поэма въ цѣломъ не есть достояніе одной Россіи: она будетъ оцѣнена, понятна и признана великой поэмою вездѣ, гдѣ есть люди, способные понимать изящество. Передайте „Мѣднаго Всадника“ на какой хотите языкъ, прозой или стихами, съ комментаріями или даже безъ комментаріевъ—и будьте увѣрены, что вашъ трудъ не пропадетъ напрасно. Тутъ важна не одна гармонія стиха, не одинъ мѣстный колоритъ.

Шекспиръ все-таки Шекспиръ и въ переводѣ Летузнера; Бернсъ прекрасенъ и въ прозѣ; а мы не вѣримъ въ величіе *мыслныхъ* поэтовъ, поэтовъ одного уголка, поэтовъ, о которыхъ не знаетъ никто, кромѣ ихъ соотчичей. „Мѣдный Всадникъ“ есть вещь общедоступная, произведеніе европейское. Онъ изобилуетъ совершенствами всѣхъ родовъ, начиная отъ своего величаваго начала, до послѣдней неслыханно-грандіозной сцены: когда гигантъ на бронзовомъ конѣ скачетъ за несчастнымъ юношей, потрясая мостовую копытами металлической лошади, и въ блѣдномъ сіяніи луны простираетъ впередъ свою грозную руку! Смѣлость, съ которою поэтъ сливаетъ исторію своего героя съ торжественнѣйшими эпохами народной исторіи—безпредѣльна, изумительна и нова до крайности; между тѣмъ какъ общая идея всего произведенія, по величію своему, принадлежитъ къ тѣмъ идеямъ, какія рождаются только въ фантазіяхъ поэтовъ, подобныхъ Данту, Шекспиру и Мильтону. „Мѣдный Всадникъ“ имѣетъ и свои недостатки—скажемъ это съ полной смѣлостью; но этими недостатками отчасти подтверждается величіе самого поэта, ибо тотъ, кто по красотамъ поэзіи возносится въ разрядъ міровыхъ дѣятелей, и судимъ долженъ быть не

по общепринятому снисходительному кодексу. Мы сказали уже, что смѣлость, съ которою Пушкинъ противопоставилъ судьбу своего бѣднаго мальчика Евгенія съ судьбой нашего родного Петербурга и памятью великаго Преобразователя Россіи, заслуживаетъ удивленія; но намъ слѣдуетъ добавить, что поэтъ, извлекая десятки красотъ изъ своей необыкновенной темы, по временамъ чувствуетъ какъ бы неловкимъ свой поэтическій замыселъ. Предварительный трудъ Александра Сергѣича, отчасти переданный намъ его биографомъ, ясно показываетъ замѣшательство, про которое мы сейчасъ говорили. Начало поэмы, сохраненное въ мелкихъ стихотвореніяхъ, подъ названіемъ „Родословная моего героя“, есть отрывокъ изъ „Мѣднаго Всадника“. Нѣсколько другихъ отрывковъ, безъ жалости отброшенныхъ Пушкинымъ, свидѣтельствуютъ о его желаніи яснѣе обрисовать Евгенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ о трудѣ, какого ему стоила личность молодого человѣка. Въ этомъ отношеніи духъ анализа, такъ критика, такъ сильно развивавшіеся въ Пушкинѣ вслѣдствіе его недавнихъ этюдовъ, по временамъ не даютъ воли его творчеству. Оттого Евгеній блѣденъ какъ лицо, и лицо такой великой поэмы, гдѣ все ясно, опредѣленно, пропитано поэзіей, доведено до крайнихъ предѣловъ изящества. Г. Анненковъ на стр. 383 своихъ „Матеріаловъ“ говоритъ намъ: „Иначе и быть не могло. При описаніи катастрофы, которая одна должна занимать читателя, безъ всякаго развлечения, всякая остановка на частномъ лицѣ была бы примѣтна и противохудожественна. По глубокому пониманію эстетическихъ законовъ, Пушкинъ даже старался ослабить и тѣ легкія очертанія, которыми обрисовалъ Евгенія“. Не скроемъ нашего заключенія: подобныя строки были бы прекрасны въ устахъ панегириста, но никакъ не цѣнителя. Несмотря на все наше благоговѣніе къ памяти Александра Сергѣича, мы смѣло упрекаемъ его Евгенія въ безцвѣтности. О томъ, что можно и должно бы было выйти изъ Евгенія, можетъ только судить поэтъ, подобный Пушкину. Ни наши предположенія, ни наши объясненія, ни наши

панегирики не могутъ имѣть мѣста тамъ, гдѣ высказываются геніальные люди, изъ ничего творя жизнь и образы.

Поэма „Галубъ“, начатая въ 1829 году, не конченная и напечатанная только послѣ смерти Пушкина въ его „Современникѣ“ опять поражаетъ насъ великолѣпіемъ основной мысли. Исторія отрока, воспитаннаго посреди народа, съ которымъ и его характеръ и требованія нравственной природы вполне расходятся, долго занимала нашего поэта, и не могла остаться безъ окончанія, подобно многимъ другимъ блистательнымъ замысламъ. Мы знаемъ, что Александръ Сергѣичъ имѣлъ одно время въ виду планъ романа изъ старой русской исторіи, романа, основаннаго на подобной же счастливой мысли, — но эпическое начало преодолѣло, а вторая побѣдка на Кавказъ, столь любимый нашимъ писателемъ, поселила въ его головѣ мысли еще болѣе глубокия, еще болѣе поэтическія. Объ исполненіи оконченныхъ частей „Галуба“ мы не будемъ распространяться: и прелесть произведенія и его артистическая отдѣлка всѣми безпрекословно признаны.

Но о „Русалкѣ“ мы умолчать не можемъ, хотя всѣ ея достоинства давно уже нашли себѣ восторженныхъ пояснителей. Тутъ мы видимъ Пушкина на одной дорогѣ съ Шекспиромъ, за готовымъ, вычитаннымъ планомъ, за простой легендою, за сказочкою, многими поколѣніями слушанной до нашего поэта, за одною изъ тѣхъ простыхъ темъ, о которыхъ сотнями сокрушаютъ себѣ крылья художники не первоклассные. И несмотря на неимовѣрную трудность задачи, все произведеніе давитъ насъ какъ замысломъ и сочиненіемъ, такъ и высокой гармоніей подробностей. Поэзія, которой проникнута вся „Русалка“ отъ первой строки до послѣдней, безпредѣльна, какъ горизонтъ небесный; читая всю поэму, человѣкъ испытываетъ нѣчто подобное тому чувству, съ какимъ мы смотримъ на небо въ ясную ночь, когда звѣзда за звѣздой открывается внимательному глазу — и безконечныя, поражающія пространства съ каждой минутой открываются передъ созерцателемъ. Нужно много словъ

для того, чтобы перечислить красоты поэмы; но если мы захотимъ анализировать эти красоты, опредѣлить ихъ сущность, — слова покажутся слабыми. Анализировать поэзію „Русалки“ намъ кажется труднѣе, нежели давать отчетъ о прелести удачнѣйшихъ музыкальныхъ произведеній Мендельсона. Въ этомъ посмертномъ твореніи Пушкина находимъ мы все, что составляетъ прелесть поэмъ безсмертныхъ и первоклассныхъ — величественную стройность цѣлаго, безукоризненную прелесть въ малѣйшихъ подробностяхъ, силу замысла, роскошь фантазіи, простоту и общедоступность плана и, наконецъ, стихъ, дѣйствующій на насъ подобно великолѣпной музыкѣ, уносящей душу читателя въ тотъ заповѣднй міръ, гдѣ самые звуки простыхъ словъ рождаютъ собой и мысль и рой поэтическихъ образовъ.

Въ „Русалкѣ“ Пушкинъ весь отдается *романтизму* (принимая это слово въ томъ смыслѣ, какъ его понималъ Александръ Сергѣичъ) и, избравши себѣ тему изъ древняго славянскаго міра, не стѣсняется ни исторіею, ни сценическими условіями, ни нравами своихъ дѣйствующихъ лицъ. Его славянскій князь бродитъ по берегамъ, бывшимъ свидѣтелями счастливой любви и воспоминаетъ о своей возлюбленной; молодая мельничиха гибнетъ смертію Офеліи, и отецъ ея произноситъ рѣчи, исполненныя шекспировской силы. Повидимому—что за романтическія описанія, что за романтическое обхожденіе со своими героями! Но, не защищая романтизма въ томъ значеніи, какое ему придавали близорукіе поклонники Шлегеля и второклассные германскіе поэты и русскіе поэты, жившіе въ одно время съ Пушкинымъ, мы должны сказать, что пѣвцы высокоталантливые, и въ числѣ ихъ авторъ „Русалки“ имѣли свою теорію романтизма, неполнѣ высказанную ими самими, но проявлявшуюся въ ихъ лучшихъ твореніяхъ. По ихъ идеѣ, въ словѣ *романтизмъ* заключалась вся вдохновенная, поэтическая сторона жизни, съ ея нѣжностью и обаятельной прелестью, сторона, почти убитая поэтами XVIII столѣтія, скованная ложнымъ классицизмомъ, но существовавшая всегда, и только забываемая на время. Древнѣйшіе и величайшіе

поэты были романтиками безпрестанно, не дѣлаясь оттого фантазерами и не вредя *правдѣ* своихъ произведеній. Гомеръ, описывая прощаніе Гектора съ Андромахой или видѣніе Ахиллеса на берегу моря — является романтикомъ. Софокль былъ романтикомъ въ послѣднихъ сценахъ „Антигоны“; Данте, описывая смерть Франчески или свое свиданіе съ безплотною Беатриче; Шекспиръ во всѣхъ почти своихъ драматическихъ произведеніяхъ; Тассъ и Аріостъ въ поэмахъ. Въ романтизмъ намъ надо видѣть поэзію изъ поэзіи, высшій полетъ вдохновенія, не фантазію и не дѣйствительность, а какой-то волшебный рубежъ, на которомъ и дѣйствительность и фантазія сливаются въ нѣчто цѣлое, прекрасное и сверхъ того правдивое. Маркизь Поза не могъ, судя по исторіи, говорить суровому Филиппу того, что говоритъ онъ ему у Шиллера: а между тѣмъ Шиллеръ вѣренъ поэтической истинѣ. Ахиллесъ могъ любить своего Патрокла и видѣть его тѣнь во снѣ, хотя передъ своимъ сномъ онъ влачилъ по полю тѣло героя Гектора и дико издѣвался надъ павшимъ противникомъ. Историкъ можетъ говорить намъ, что люди извѣстной эпохи были грубы, дики и даже глупы, — но поэтъ имѣетъ право открывать въ нихъ высоко-поэтическія стремленія и быть правымъ настолько же, насколько правъ и противорѣчащій ему историкъ. Разъ добравшись до сокровеннѣйшихъ струнъ сердца человѣческаго, поэтъ находится въ области, ему принадлежащей, и можетъ смѣло идти по пути, имъ избранному. Натура человека всегда одинакова; поэзія жизни во всѣхъ вѣкахъ одна и та же, только надо быть истиннымъ поэтомъ и имѣть великую силу на пониманіе натуры человѣческой.

Великая сила Пушкина вся сказывается въ „Русалкѣ“, образцовомъ твореніи по своей правдѣ и своей поэзіи. Глубокою, тонкою, обольстительною прелестью исполнены всѣ дѣйствующія лица поэмы, со всѣмъ тѣмъ оставаясь вѣрными своей эпохѣ и своимъ характерамъ. Любовь, измѣна, послѣднее свиданіе князя и дѣвушки, свадебныя сцены — какъ все это въ одно время и вѣрно и плѣнительно! Но по мѣрѣ того, какъ произведеніе расширяется, начинаются

страницы безпримѣрныя, какъ по своей обаятельности, такъ и по тонкости поэзіи, ихъ проникающей. Великолѣпно двигается впередъ поэма, и совершенства ея возрастаютъ съ каждымъ стихомъ до тѣхъ поръ, когда послѣ превосходной сцены русалокъ, на пустынный берегъ является самъ князь, увлекаемый къ грустному мѣсту невѣдомою силою и однимъ изъ самыхъ поэтическихъ порывовъ души человѣческой—воспоминаніемъ о счастливой прошлой любви, разрушенной временною измѣною...

О томъ, что разговоръ князя съ мельникомъ достоинъ шекспировскаго генія—было уже не разъ замѣчено русскими критиками.

Стихи, которыми написана „Русалка“, по совершенству своему до такой степени превышаютъ все писанное мастерами дѣла у насъ, что мы поневолѣ должны будемъ ихъ сравнивать съ бѣлыми стихами тѣхъ иностранныхъ поэтовъ, которые сдѣлали изъ такого стиха лучшій органъ для передачи многихъ изъ своихъ вдохновеній. Бѣлый стихъ Байрона въ „Манфредѣ“, драмахъ и нѣкоторыхъ поэмахъ рѣшительно уступаетъ стиху Пушкина; стихъ Водсворта, превосходный по временамъ, всегда почти испорченъ стремленіемъ поэта къ картинности,—стремленіемъ, какого нѣтъ у Александра Сергѣича. Кромѣ Гете и Мильтона съ Шекспиромъ, мы не знаемъ поэтовъ, которыхъ бѣлый стихъ могъ бы итти рядомъ съ неподобнымъ стихомъ, которому мы не можемъ достаточно надивиться, читая „Русалку“ Пушкина.

Вотъ на какой ступени, по глубокому убѣжденію нашему, стоялъ народный русскій поэтъ, имѣя тридцать семь лѣтъ отъ роду, въ тотъ самый годъ, когда смерть пресѣкла его жизненное поприще.

Недавно мы говорили объ одномъ литературномъ предразсудкѣ нашего времени, а именно о малой вѣрѣ въ могущество труда; теперь же, заключая статью о Пушкинѣ, намъ придется указать на другой предразсудокъ, имѣющій нѣкоторое сходство съ сказаннымъ заблужденіемъ. И пу-

блика наша и даже иные изъ пишущихъ людей почему-то думаютъ, что дѣло поэзіи неразлучно съ юнымъ возрастомъ производителя или, говоря другими словами, что лучшая пора для поэта истиннаго, — есть періодъ его молодости. Изъ числа тысячъ, рыдавшихъ надъ прахомъ Александра Сергѣича, огромное большинство почитателей оплакивало въ немъ *поэта прошлыхъ произведеній*, блистательнаго дѣятеля на литературномъ поприщѣ, человѣка прекраснаго душою, но никакъ не пѣвца, которому, быть можетъ, смерть не дала сдѣлаться русскимъ Шекспиромъ или Мильтономъ девятнадцатаго столѣтія. Пушкину было тридцать семь лѣтъ; а его прошлая дѣятельность казалась даже его близкимъ друзьямъ дѣятельностью полною, почти законченною, совершенно соразмѣрною со способностями, въ немъ таившимися. Пламеннѣйшіе изъ читателей поэта, говоря другъ другу: „сколько пѣсенъ унесъ онъ съ собою въ могилу“, имѣли въ виду пѣсни, подобныя *прежнимъ* пѣснямъ Пушкина; о пѣсняхъ міровыхъ, передъ которыми поблѣднѣли бы пѣсни Пушкинской молодости, едва ли кто рѣшался думать. Покойный поэтъ переступилъ еще передъ смертью Дантовскую *mezze cammin di nostra vita*; ему было тридцать семь лѣтъ—и назвать Александра Сергѣича поэтомъ начинающимъ могъ одинъ только грубый невѣжда. А между тѣмъ онъ былъ поэтомъ начинающимъ. Онъ заканчивалъ свою дѣятельность, какъ великій поэтъ одной страны, и начиналъ свой трудъ, какъ поэтъ всѣхъ вѣковъ и народовъ. Ему было тридцать семь лѣтъ: Данте въ тридцать семь лѣтъ отъ роду, только что обдумывалъ свою поэму „Divina Comedia“. Для плеяды великихъ поэтовъ пора зрѣлаго возраста есть пора начинанія. *Изъ числа громаднхъ произведеній древней и новой поэзіи ни одно не написано юношей*. Обо всемъ нами сказанномъ, слишкомъ мало думала русская публика.

Предразсудокъ о томъ, что поэтическое дарованіе всегда идетъ рядомъ съ молодостью и можетъ только гаснуть съ наступленіемъ зрѣлаго возраста, дѣлится даже самими поэтами. Повсюду встрѣчаются намъ люди съ обыкновеннымъ

талантомъ, которыхъ примѣръ служить только къ наибольшему укорененію сказаннаго заблужденія. Свѣтъ наполненъ юными и блистательными поэтами, поющими только въ одну опредѣленную пору и затѣмъ или обращающимися къ прозѣ или окончательно прощающимися со стезей искусства. Они пожали обильную дань рукоплесканій, украсили свое чело вѣнкомъ, который, по ихъ мнѣнію, пригоденъ только для юнаго чела, и затѣмъ сходятъ со сцены, довольные собой и свѣтомъ. Проза и зрѣлый возрастъ, юность и поэзія, старость и отрицаніе поэзіи—для нихъ проходятъ неразлучно. Борются съ прозой они не дерзаютъ, сливать всю свою жизнь съ дѣломъ искусства они считаютъ за невозможность. Отступаясь отъ своей музы, они отступаютъ отъ нея съ улыбкой на устахъ, безъ слезъ и безъ тоски въ сердцѣ. Никто не смѣется надъ такимъ отступничествомъ; свѣтъ даже его одобряетъ. Воинъ, покинувшій свое званіе во время войны, заслуживаетъ порицаніе; ученый, переставши заниматься своимъ предметомъ, чувствуетъ угрызёніе совѣсти; честный администраторъ, безъ всякаго основанія прекращающій свою полезную дѣятельность, очень хорошо сознаетъ, какой ущербъ приносить онъ своимъ согражданамъ. Ничего подобнаго не происходитъ съ непостояннымъ поэтомъ. Онъ пѣлъ, подобно птицѣ, когда былъ молодъ; но когда насталъ другой возрастъ, и ему пришлось пѣть какъ человѣку, и зрѣлому человѣку,—онъ нашелъ это занятіе слишкомъ тяжелымъ. Будучи молодъ, онъ былъ не прочь увеселять собратій своихъ пѣснями; продолжать такое занятіе въ зрѣломъ возрастѣ ему кажется жалкимъ дѣломъ. Пока дорога была усыпана цвѣтами, онъ шелъ по ней съ бодростью, но при видѣ терній и тяжелаго пути онъ свернулъ въ сторону, потерявъ и трудъ, и года, и всю свою прежнюю дѣятельность, и основу будущихъ пѣснопѣній, и, можетъ быть, свою будущую славу. Такъ ли дѣйствуютъ поэты великіе душою, поэты, которыхъ одни имена возвышаютъ душу нашу? Развѣ и ихъ обманчивые года не клонили къ прозѣ? Развѣ и они не сомнѣвались въ своихъ силахъ? Развѣ и на ихъ душу не находила по временамъ

та тоска, которая, по словамъ древнихъ, иногда находить на атлета въ минуту его сильнѣйшихъ усилій? Развѣ и они не обращали умиленныхъ взглядовъ къ порѣ своей юности, и обманутые обманомъ чувствъ, не считали сказанную пору золотой годиною для своего дарованія? Все это было съ ними, и они все-таки остались поэтами, и подарили свѣту такіа творенія, передъ которыми прахъ и тлѣнъ всѣ гармоническія пѣсенки ихъ же золотой молодости. Не къ юношамъ, увѣнчаннымъ цвѣтами, не къ красавцамъ-мечтателямъ сходить міровая муза, во многихъ отношеніяхъ сходная съ дамами феодальныхъ временъ, по десяткамъ лѣтъ испытывавшими своихъ поклонниковъ. Она сходитъ къ пѣвцамъ, какъ высшая награда за жизнь не попусту прожитую, за геройство и страданія; она улыбается не счастливымъ юношамъ, а мужамъ и старцамъ, про которыхъ можно сказать: „въ нихъ не жило сомнѣніе“! (Doubt dwelt not in them!). Она посѣщала слѣпого, изнуреннаго жизнью, престарѣлаго Мильтона въ его тѣсной комнатѣ, дѣлила съ нимъ бѣдность, укрывала его отъ ожесточенныхъ враговъ, и внушила ему пѣсни „Потеряннаго Рая“. Она ходила за старымъ и суровымъ странникомъ въ францисканской одеждѣ, которому былъ такъ горекъ „хлѣбъ изгнанія“; провожала его въ Германію, во Францію и въ чужіе города его родной Италіи. Она слетала въ темницу къ увѣчному испанскому инвалиду, не покидала Тасса въ пріютѣ безумія и бѣдствія! Молоды ли были названные любимцы музы, были ли они счастливы въ жизни? Пробѣгая умственнымъ взглядомъ ряды великихъ поэтовъ, мы не можемъ отыскать между ними, такъ какъ они намъ представляются, ни одного молодого человѣка. Какія старыя, величественныя лица! съ какимъ благоговѣніемъ останавливаемся мы передъ ними, какъ понятно намъ становится чувство иноплеменныхъ воиновъ, подступившихъ къ воротамъ Рима и въ смятеніи заколыхавшихся при видѣ патриціевъ вѣчнаго города, сенаторовъ, увѣнчанныхъ сѣдинами, величаво ожидающихъ своей участи, сидя на курульныхъ креслахъ! Гомеръ, Дантъ, Шекспиръ, Сервантесъ, Аріостъ, Гёте, Мильтонъ—развѣ это юноши, развѣ это не

старцы, убѣленные сѣдинами? Всюду сѣдина и всюду морщины, даже на поэтахъ любви и веселія: Анакреонъ, Рабле, Беранже не представляются намъ юными пѣвцами! Поодаль отъ несравненной плеяды, представляется намъ сонмъ зрѣлыхъ людей, не успѣвшихъ свершить своего поприща, слишкомъ рано отозванныхъ небомъ отъ ихъ плачущихъ собратій— и впереди этихъ пѣвцовъ, погибшихъ преждевременно, мы различаемъ троихъ поэтовъ, юношей въ сравненіи съ ихъ великими предшественниками: Байрона—Ахиллеса искусства, Шиллера, вѣчнаго юношу, и нашего Пушкина, унесшаго съ собой въ могилу послѣднее слово своей поэзіи. Уступая обоемъ изъ названныхъ товарищей значеніемъ своихъ первыхъ трудовъ,—нашъ соотечественникъ превышаетъ и того и другого залогами своего будущаго значенія. Если молодость Александра Сергѣича не создала ничего подобного „Гарольду“ и „Вильгельму Теллю“,—зато въ его послѣднихъ тетрадахъ остались „Мѣдный Всадникъ“, „Галубъ“ и „Русалка“.

Разъ рѣшившись смотрѣть на поэзію, какъ на дѣло всей жизни поэта, разъ согласившись принимать юность писателя за періодъ его приуготовительныхъ трудовъ, мы безъ труда увидимъ, до какой степени станетъ ясенъ весь вопросъ о значеніи Пушкина въ словесности. Отзывался ли голосъ нашего поэта въ сердцахъ его согражданъ? Услаждала ли его муза наши досуги, разъясняла ли она предъ нами всѣ свѣтлыя стороны жизни, и истолковывала ли она намъ тѣ смутные порывы душъ нашихъ, какіе мы ощущаемъ въ лучшія минуты нашего существованія? Голосъ всей Россіи отвѣчаетъ на такіе вопросы утвердительно. Тайлся ли въ послѣднихъ трудахъ Пушкина зародышъ чего-либо великаго? Шло ли впередъ его дарованіе, поднималось ли оно на высоты, доступныя только поэтамъ, за которыми потомство утвердило титулъ первыхъ между первыми? Авторъ разбѣгаемой нами біографіи не изъясняетъ въ томъ ни малѣйшаго сомнѣнія; всѣ строгіе цѣнители искусства подтверждаютъ его приговоръ единогласно.

Остается, стало быть, рѣшить еще одно сомнѣніе. Иногда

громадные таланты носятъ въ себѣ зародышъ своего будущаго паденія, а сами поэты лишаютъ себя славы вслѣдствіе праздности, ложнаго взгляда на искусство, малаго уваженія къ своему собственному призванію. Имѣлось ли въ дарованіи или характерѣ Пушкина нѣчто подобное сказанному гибельному зародышу? Положа руку на сердце, съ чувствомъ полного безпристрастія, мы можемъ сказать — „не имѣлось“. До послѣдняго дня дѣятельности Пушкина, какъ поэта, его талантъ крѣпнулъ и разрастался. Трудъ благородный и упорный былъ жизнью для Александра Сергѣича. Никогда не былъ онъ самъ поклонникомъ какой-либо теоріи, вредной для искусства, какъ бы она ни была блистательна и скоропреходяща. Онъ уважалъ своихъ сверстниковъ по литературѣ, уважалъ своего читателя, и собственное свое званіе русскаго поэта не промѣнялъ бы ни на какія сокровища. Смерть поразила въ Пушкинѣ литератора истиннаго, одареннаго всѣми качествами величайшихъ писателей и не имѣвшаго въ себѣ ни одного почти недостатка изъ числа недостатковъ неразлучныхъ съ этимъ званіемъ.

Безполезно сѣтовать на событіе совершившееся и безплоднымъ сожалѣніемъ портить себѣ настоящее благо. Вполнѣ сознавая, что въ Пушкинѣ готовился поэтъ *европейскій*, что ранняя смерть отняла у него мѣсто возлѣ Данта, Шекспира и Мильтона, мы не желаемъ унижать и того, что уже было сдѣлано *нашимъ* начинающимъ Пушкинымъ. Воспоминаніе о тѣхъ высотахъ, на которыя въ послѣдніе годы заносился гений поэта, да не вредитъ вѣрной оцѣнкѣ для всей его дѣятельности за все поприще. И пусть сердцу знакомый образъ рано умершаго пѣвца вѣчно носится передъ нами не въ видѣ грандіознаго, туманнаго, неопредѣленнаго видѣнія, — но въ образѣ вѣчнаго юноши, какимъ онъ сошелъ въ преждевременную могилу!

А. Дружининъ.

* * *

*)... Перейдемъ теперь къ критическимъ статьямъ, явив-

*) „Москвитянинъ“ 1855 г., № 13 и 14. Журналистика. „Замѣчанія объ отношеніи современной критики къ искусству“. Статья Аполлона Григорьева.

шимся по поводу новаго изданія сочиненій Пушкина. Повторимъ опять, что всѣ онѣ, за исключеніемъ статьи г. Дружинина, о которой мы скажемъ нѣсколько словъ подъ конецъ нашего разсужденія, обличили крайнее безсиліе критики. Критикъ „Современника“ былъ всѣхъ откровеннѣе; онъ рѣшительно сказалъ, что „давно уже произведенія Пушкина превосходно оцѣнены и, насколько то возможно было, объяснены эстетическою критикою“. Другіе только перефразировали „Матеріалы для біографіи Пушкина“ г. Анненкова и излагали ихъ содержаніе. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, только и можетъ дѣлать въ наше время критика въ отношеніи къ Пушкину, что ссылаться на старую критику да перепечатывать трудъ г. Анненкова? Что же такого фундаментальнаго сдѣлала старая критика? Да ежели бы даже и сдѣлала она что-либо, то неужели трудами ея и исчерпывается вся возможная дѣятельность эстетическая въ отношеніи къ такому писателю, каковъ Пушкинъ? Ежегодно въ Германіи и нерѣдко въ самой Англіи являются новыя сочиненія о Шекспирѣ, и никому въ голову не приходитъ, чтобы труды Колериджей, Дрековъ, Ульрици, Гервинусовъ, даже Зиферсовъ были безплодны. Во Франціи до сихъ поръ занимаются историческою и эстетическою оцѣнкою писателей XVII вѣка—а тутъ объявляютъ, что нечего больше и говорить послѣ старой критики о такомъ великомъ поэтѣ Россіи, каковъ былъ Пушкинъ. Согласитесь, что подобной мысли никогда и нигдѣ еще не провозглашалось печатно, кромѣ несчастной русской литературы, страдающей постояннымъ недугомъ безнарядицы.

Но однакожь, что сдѣлано критикой въ отношеніи къ Пушкину такого, что исключало бы возможность всякой дѣятельности или, по крайней мѣрѣ, настоящую потребность ея? Критическія статьи о Пушкинѣ намъ довольно хорошо извѣстны. Мы знаемъ, что много хорошихъ частныхъ найдется въ статьяхъ современныхъ появленію его произведеній, знаемъ, что много прекрасныхъ эстетическихъ замѣчаній наговорено въ статьяхъ о Пушкинѣ, тянувшихся въ прежнихъ „Отечественныхъ Запискахъ“, изъ которыхъ

четыре первыхъ, самыя громадныя, къ Пушкину не относятся а толкуютъ, какъ „*ничто*“, написанное Воркуловымъ Евдокимомъ—„*обо всемъ!*“, что прекрасныя эстетическія замѣчанія надобно часто искать въ этихъ статьяхъ въ хаосъ необузданнаго пагоса, безконечныхъ отступленій, дикихъ нравственныхъ положеній и т. д.,—что надъ этими статьями, однимъ словомъ, нужно тоже совершить работу и извлечь изъ нихъ существенное и нужное. Мы знаемъ, кромѣ того, статьи г. Мартынова въ „Маякѣ“, обвинявшія героевъ Пушкина въ уголовныхъ преступленіяхъ, самого же поэта въ безбожій и безнравственности, мы знаемъ статьи Полевого, статьи г. Недоумки,—мыслителя, безъ сомнѣнія, честнаго, но человѣка безъ эстетическаго вкуса, какъ доказываютъ всѣ статьи его, преимущественно же „Разговоръ о Борисѣ Годуновѣ“—гдѣ онъ бросаетъ перчатку за Пушкина, а самъ не понимаетъ въ „Борисѣ“ рѣшительно ничего,—и знаемъ, что ничѣмъ, нами исчисленнымъ, не только не исчерпана эстетическая критика въ отношеніи къ Пушкину, но едва ли и начата порядкомъ. Совершенъ ли трудъ надъ Пушкинымъ, какъ надъ поэтомъ обще-европейскимъ, т. е. опредѣлены ли особенность его взгляда на жизнь, художественной манеры и проч. сравнительно съ другими великими его собратіями—съ Шекспиромъ, Гете, Шиллеромъ, Байрономъ, Мицкевичемъ и иными? Показано-ли значеніе его, какъ поэта народнаго, опредѣлены ли элементы, изъ которыхъ истекла его творческая дѣятельность, вліянія, которымъ онъ подвергался, и вліянія, имъ произведенныя? Изслѣдованы ли плоды его дѣятельности, изъясненъ ли изъ собственныхъ его произведеній его поэтическо-нравственный образъ? Возьмите, напримѣръ, одно чувство любви, отношенія къ женщинѣ, и прослѣдите его у Пушкина, сравнительно съ другими его собратіями: если найдете рѣзкія особенности—объясните ихъ народностью поэта или свойствами его натуры и т. д. Надъ Пушкинымъ надобно работать, надобно *начать* на немъ перевоспитываться морально и эстетически, если воспитывались не на немъ, а на г. Некрасовѣ, Щербинѣ и иныхъ. О языкѣ Пушкинскомъ, о

стихъ его сказано ли что-нибудь дѣльное и основательное... Дѣло въ отношеніи къ Пушкину сдѣлано только г. Анненковымъ, сдѣлано честно, умно, талантливо, за что ему и поклонъ отъ лица всей Россіи,—но нельзя же только обирать трудъ г. Анненкова, а надобно дѣлать что-либо и самимъ. Что же сдѣлано при появленіи изданія критикою? Критика „Отечественныхъ Записокъ“ избрала себѣ цѣль довольно скромную, указать на достоинства и недостатки изданія. Критикъ „Современника“ въ двухъ статьяхъ перефразируетъ трудъ г. Анненкова, въ третьей приступаетъ къ труду самостоятельному. Какую же самостоятельную задачу избралъ себѣ критикъ „Современника?..“ Странно и вымолвить, въ чемъ заключается эта самостоятельная задача. Непонятно даже, какъ такая задача можетъ придти первая въ голову критика, принимающагося за Пушкина. Эта задача—ни болѣе ни менѣ какъ оправданіе отношеній критики къ дѣятельности Пушкина, доказательство несправедливости горькихъ жалобъ или горькаго равнодушія поэта къ его цѣнителямъ!.. Читатели, можетъ быть, не вѣрятъ?

„Обыкновенно говорятъ, будто бы съ самаго появленія „Руслана и Людмилы“ началось шумное и чрезвычайно сильное критическое движеніе въ тогдашнихъ журналахъ: многіе даже воображаютъ, будто борьба противъ и за Пушкина въ теченіе цѣлыхъ шестнадцати лѣтъ (1820—1836) такъ же занимала перья журналистовъ, какъ, на примѣръ, въ послѣдующее время пренія противъ и въ защиту натуральной школы, два или три года постоянно одушевлявшія русскую журналистику. Такое понятіе не совѣмъ точно. Если собрать все, что было написано въ журналахъ двадцатыхъ годовъ о всѣхъ произведеніяхъ Пушкина до „Полтавы“, то масса будетъ менѣе, нежели то, что было въ наше время написано, на примѣръ, по случаю появленія комедіи г. Островскаго „Бѣдность не порокъ“. Въ тощихъ книжкахъ тогдашнихъ журналовъ страницы наполнялись переводами, безчисленными стихотвореніями и вялыми статейками о немовѣрно сухихъ предметахъ. Отзывы о явленіяхъ литературы ограничивались обыкновенно очень немногими стра-

ичками, если не строками. Только въ послѣднее время ятельности Пушкина критика получила болѣе развитія". В. Положимъ, что все это и правда, но что же это дозываетъ? Не отсутствіе движенія, а отсутствіе толщины журналахъ и пухлости въ статьяхъ. Движеніе было—стоянное, сильное, хотя и не выражалось огромными зтѣями. Мы вотъ теперь пишемъ большую статью въ дозательство отсутствія движенія въ нашей критикѣ!). „Други ошибка, еще важнѣйшая, состоитъ въ томъ, что думаеъ, будто критика, современная Пушкину, не умѣла цѣтъ его. Мы вовсе не имѣемъ желанія превозносить прошедшее: готовы сказать о немъ вообще, что его значеніе еувеличивается даже тѣми людьми, которые наиболѣе строго дятъ о немъ. Но тѣмъ не менѣе, должны мы сказать, что ди умные и, по своему времени, очень проницательные ществовали всегда; что каковы бывають писатели, точно ковы же бывають критики—тъ и другіе рождаются нимъ и тѣмъ же обществомъ“.

Стало быть, по Сенькѣ шапка, по Пушкину Полевой! екрасное заключеніе—и на основаніи его-то построилъ юю статью безымянный критикъ. Вся цѣль его статьи—казать, что критика „Телеграфа“ и другихъ журналовъ , отношеніи къ Пушкину была не такъ придирчива и уста, какъ обыкновенно думаютъ.—И чѣмъ же доказываъ онъ свое положеніе? 1) На стр. 6 своей статьи пароей на стихотвореніе Пушкина „Поэтъ и Чернь“, помѣенной въ „Телеграфѣ“, пародіей, которую, какъ безчеящую ея, можетъ быть, одумавшагося сочинителя, не ѣдовало перепечатывать, пародіей, ругающейсѣ надъ веикимъ поэтомъ, имѣвшимъ право сказать о себѣ:

Что чувства добрыя я лирой возбуждалъ,
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ
И милость къ падшимъ призывалъ—

родіей, не только не возбуждающей негодованія критика, о даже снабженной толкованіемъ, въ которомъ почтенный

и даровитый Дельвигъ названъ литературнымъ кліентомъ Пушкина!.. Спрашиваемъ г. критика, думалъ ли онъ о Пушкинѣ или вообще о чемъ-нибудь, переписывая такіе стихи пародіи, обращенные къ поэту:

Лжи, лести, низости уроки
Ты проповѣдуешь шута.
Съ твоимъ божественномъ искусствомъ,
Зачѣмъ, презрѣнной славы льстецъ,
Зачѣмъ предательскимъ ты чувствомъ
Мрачишь лавровый свой вѣнецъ?

Критикъ замѣчаетъ еще снисходительно, что форма пародіи очень жестка, но что самъ Пушкинъ выражался жестко въ статьяхъ Теофилакта Косичкина! Читалъ ли г. критикъ правдивыя, благородныя статьи Теофилакта Косичкина? Статьи Косичкина устремлены не на лицо, а на темныя стороны жизни и литературы, которыхъ лицо является случайнымъ представителемъ, а пародія обращена на Пушкина, на человѣка, которому мы всѣ, если не безыменный критикъ, обязаны лучшею частію самихъ себя! 2) Далѣе, безпристрастіе и правдивость журналовъ критикъ доказываетъ насмѣшками надъ „Евгеніемъ Онѣгинымъ“ и требованіями какой-то *степенности* отъ поэта—и только. Изъ двухъ-трехъ статей такого же рода г. критикъ выводитъ слѣдующее заключеніе: „Кажется, трудно не согласиться, что и при жизни Пушкина его произведенія были оцѣниваемы не голословно, не пошло, не мелочно“.

Нѣтъ, г. критикъ! Вы, видно, не взглянули на исторію критики какъ настоящій историкъ! Вы—извините насъ—не прослѣдили даже хорошо критическихъ статей того времени. Даже о статьяхъ г. Недоумки, котораго эстетическій вкусъ вы защищаете, — вы знакомы, кажется, только по наслышкѣ! Если бы исторія критики знакома была вамъ точно по источникамъ, вы бы не то увидѣли! Вы увидали бы не тѣ явленія, которыя приводите: васъ поразило бы странною непониманіемъ Пушкина даже и такою критикою, которая умѣла горячо, пламенно ему сочувствовать, васъ

поразило бы по преимуществу, что критика *дорастает* постепенно до Пушкина. Каковъ, напримѣръ, покажется замъ вотъ этотъ отрывокъ изъ „Литературныхъ Мечтаній“ человѣка, пламенно сочувствовавшаго Пушкину, писанный, какъ вамъ, вѣроятно, не безызвѣстно, въ 1834 году, отрывокъ, въ которомъ поклоненіе Пушкину, несмотря на громкія злова, такъ еще робко, гдѣ еще *разсказывается*, что Пушкинъ творилъ, шая и играя (а мы знаемъ теперь, благодаря г. Анненкову, какъ дорого доставались баловню природы эти шалости и игры), гдѣ еще не узнаютъ Пушкина въ его сказкахъ и въ его Анджело. А статья писана пламеннымъ поклонникомъ поэта, который послѣ, повзросли, понималъ серьезность Пушкинскихъ шалостей и игръ, возгоргался суровою жестокостью манеры, въ которой написанъ Анджело, и простотою сказокъ, хотя не понималъ послѣднихъ, по малой грамотности.

„Пушкинъ былъ совершеннымъ выраженіемъ своего времени. Одаренный высокимъ поэтическимъ чувствомъ и удивительною способностію принимать и отражать всѣ возможные ощущенія, онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка; онъ заплатилъ дань всѣмъ великимъ современнымъ событіямъ, явленіямъ и мыслямъ, всему, что только могла чувствовать тогда Россія, *переставшая стирить въ несомнѣнность вѣковыхъ правилъ, самою мудростью извлеченныхъ изъ писаній великихъ гениевъ*, и съ удивленіемъ узнавшая о другихъ нравахъ о другихъ мірахъ мыслей и понятій, и новыхъ неизвѣстныхъ ей дотолѣ взглядахъ на давно извѣстныя ей дѣла и событія. Несправедливо говорятъ, будто онъ подражалъ Шенье, Байрону и другимъ: Байронъ владѣлъ имъ не какъ образецъ, но какъ явленіе, какъ властитель думъ вѣка, а я сказалъ, что Пушкинъ заплатилъ свою дань каждому великому явленію. Да, Пушкинъ былъ выраженіемъ современнаго ему міра, представителемъ современнаго ему человѣчества, не міра русскаго, но человѣчества русскаго. Что дѣлать? Мы всѣ гении-самоучки; мы все знаемъ, ничему не учившись, все

пріобрѣли, не проливши ни капли крови (??), а веселясь и играя, (?) словомъ:

Мы всё учились понемногу,
Чему-нибудь и какъ-нибудь.

Пушкинъ отъ шумныхъ оргій разгульной юности переходилъ къ суровому труду,

Чтобъ въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ,

отъ труда опять къ молодымъ пирамъ, сладкому бездѣлю и легкокрылому похмѣлю. *Ему недоставало только нѣмецко-художественнаго воспитанія (NB и слава Богу). Баловень природы, онъ, шая и играя, постигалъ у нея плѣнительные образы и формы, и, снисходительная къ своему любимцу, она роскошно одѣляла его тѣми цвѣтами и звуками, за которые другіе жертвуютъ ей наслажденіями юности, которые покупаютъ у нея цѣною отреченія отъ жизни... Какъ чародѣй, онъ въ одно и то же время исторгалъ у насъ слезы и слезы, игралъ во волѣ нашими чувствами... Онъ пѣлъ, и какъ изумлена была Русь звуками его голоса: и не диво—она еще никогда не слыхала подобныхъ; какъ жадно прислушивалась она къ нимъ: и не диво—въ нихъ трепетали всѣ нервы ея жизни! Я помню это время, счастливое время, когда въ глуши провинціи, въ глуши утѣднаго городка, въ лѣтніе дни, изъ растворенныхъ оконъ носились по воздуху эти звуки, подобные шуму волнъ или журчанію ручья...* (NB. Восхитительныя, поэтическія строки! Вотъ какъ учитесь писать, т. е. чувствовать, г. критикъ, для того чтобы выступить со статьею о Пушкинѣ, и тогда вы можете разрѣшить вопросъ—можно или нѣтъ еще что-либо намъ писать. Не знаемъ, цѣните ли вы такъ, какъ мы цѣнили и чувствовали въ свое время всю даровитость этого живо чувствовавшаго критика. Это не Полевой и не г. Недоумко—а между тѣмъ и онъ *выросталъ* съ произведеніями Пушкина, и его Пушкинъ опредѣлялъ такъ же вѣрно и мѣтко, какъ вѣрно и мѣтко опредѣлялъ онъ часто однимъ словомъ различныхъ дѣятелей!). „Невозможно обозрѣть всѣхъ его

созданій и опредѣлить характеръ каждаго: это значило бы перечестъ и описать всѣ деревья и цвѣты *Армидина* сада. У Пушкина мало, очень мало мелкихъ стихотвореній; у него по большей части все поэмы: его поэтическія тризны кадъ урнами великихъ, его могучая бесѣда съ моремъ, его нѣщая дума о Наполеонѣ — поэмы. Но самые драгоценные алмазы его поэтического вѣнка, безъ сомнѣнія, суть „Евгений Онѣгинъ“ и „Борисъ Годуновъ“. *Я никогда не кончилъ бы, если бы началъ говорить о сихъ произведеніяхъ*. (NB. А вы, г. критикъ, думаете, что все покончено, что и говорить больше не о чемъ, — развѣ только о *справедливости* критики, современной произведеніямъ Пушкина!).

„Пушкинъ царствовалъ десять лѣтъ: „Борисъ Годуновъ“ былъ послѣднимъ великимъ его подвигомъ; въ третьей части полного собранія его стихотвореній замерли звуки его гармонической лиры. *Теперь мы не узнаемъ Пушкина; онъ мерз или, можетъ быть, только обмерзъ на время. Можетъ быть, его уже нѣтъ, а можетъ быть, онъ и воскреснетъ; тотъ вопросъ, это Гамлетовское „быть или не быть“ скрывается во мглѣ будущаго. По крайней мѣрѣ, судя по его жазкамъ, по его поэмѣ „Анджело“ и по другимъ произведеніямъ, обрѣтающимся въ „Новосельѣ“ и „Библіотекѣ для Чтенія“* (NB. А въ „Библіотекѣ для Чтенія“ напечатанъ былъ „Гусаръ“, одно изъ художественнѣйшихъ произведеній поэта!), *мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Гдѣ теперь эти звуки, въ коихъ слышалось, было, то удалое разгулье, то сердечная тоска, гдѣ эти вспышки пламеннаго и глубокаго чувства, потрясавшаго сердца, сжимавшаго и волновавшаго груди, эти вспышки остроумія тонкаго и язвительнаго, этой ироніи, вмѣстѣ злой и тоскливой, которые поражали умъ своею игрою; гдѣ теперь „эти картины жизни и природы, передъ которыми блѣдна была жизнь и природа“*. (Ясное дѣло, что критика была еще молода, когда Пушкинъ вступалъ въ возрастъ чужества; выросла — и стала понимать Пушкина-мужа. Но какъ ей искренно жаль молодости Пушкина! Какъ свѣжа и могуча въ самомъ дѣлѣ эта критика! Какъ вѣрить она въ

искусство, въ то, что произведенія искусства могутъ быть выше произведеній жизни и природы — и что бы сказала она, эта критика, на которую критика теперешняя ссылается, еслибъ увидала дикія положенія недавно вышедшей книги г. Чернышевскаго, встрѣченной весьма благосклонно критикою, на нее ссылающеюся?). „Увы! вмѣсто нихъ, мы читаемъ теперь стихи съ правильною цензурою, съ богатыми и полубогатыми приемами“ (NB. Увы! можемъ и мы воскликнуть, — критикѣ невѣдомо было, какъ начинало надѣдаться поэту однообразіе этихъ богатыхъ и полубогатыхъ приемъ, какъ тревожимъ онъ былъ исканіемъ новыхъ формъ — увы! все это и мы узнали только изъ труда г. Анненкова, да не оцѣнили еще по достоинству ни Пушкина ни труда его издателя! Увы! увы! увы!), „съ пѣстическими вольностями, о коихъ такъ пространно, такъ удовлетворительно и такъ глубокомысленно разсуждали архимандритъ *Апполосъ* и г. *Остолоповъ*! *Отранная вещь, непонятная вещь!* Неужели Пушкина, котораго не могли убить ни изступленные похвалы энтузіастовъ, ни хвалебные гимны торгашей, ни сильныя, нерѣдко справедливыя нападки и порицанія его антагонистовъ, неужели, говорю, я, этого Пушкина убило „Новоселье“ г. Смирдина? *И однакожъ, не будемъ слишкомъ поспѣшны и опрометчивы въ заключеніяхъ нашихъ о Пушкинѣ. Пушкина судить не легко. Вы, вѣрно, читали его элегію въ октябрьской книжкѣ „Библіотеки для Чтенія“.* Вы, вѣрно, были потрясены глубокимъ чувствомъ, которымъ дышитъ это зданіе? Упомянутая элегія, кромѣ утѣшительныхъ надеждъ, подаваемыхъ ею о Пушкинѣ, еще замѣчательна и въ томъ отношеніи, что заключаетъ въ себѣ вѣрную характеристику Пушкина какъ художника:

Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь.

„Да, я свято вѣрю, что онъ вполне раздѣлялъ безотрадную муку отверженной любви черноокой Черкешенки или своей плѣнительной Татьяны, этого лучшаго и любимѣйшаго идеала его фантазіи; что онъ, вмѣстѣ съ своимъ мрачнымъ Гиреемъ, томился этою тоскою души, пресыщенной

наслаждениями и все еще не отдавшей наслаждения; что онъ горько неистовымъ огнемъ ревности, влѣтъ съ Заремою и Алеко, и упивался дикою любовью Земфиры; что онъ скорбѣлъ и радовался за свои идеалы, что журчанье его стиховъ согласовалось съ его рыданіями и смѣхомъ". (NB. Опять мѣсто, отличающееся удивительнымъ сочувствіемъ къ изящному, поэтическимъ пониманіемъ изящнаго, неотразимо увлекающею вѣрою въ жизнь и искусство!). „Пусть скажутъ, что это пристрастіе, идолопоклонство, дѣтство, глупость, но я лучше хочу вѣрить тому, что Пушкинъ мистифируетъ „Библіотеку для Чтенія“, чѣмъ тому, что его талантъ погасъ. Я вѣрю, думаю, и мнѣ отрадно вѣрить и думать, что Пушкинъ подаритъ насъ новыми созданіями, которыя будутъ выше прежнихъ". („Молва" 1834 г., № 50, стр. 397—400).

Что вы скажете объ этомъ отзывѣ добросовѣстной, сочувствующей, вѣрующей критики, отзывѣ, въ которомъ удивительное пониманіе идетъ объ руку съ удивительнымъ же непониманіемъ, — вы, г. критикъ, взявшій на себя задачу оправдать критику въ ея отношеніяхъ къ Пушкину, вы, равнодушно перепечатающій злые пасквили на „мирнаго поэта", вѣроятно потому, что критикъ больше нечего дѣлать въ отношеніи къ Пушкину, какъ перепечатывать на него пасквили?

Приведенное нами мѣсто изъ старой критики временъ Сатурна, критики, низвергнутой по всему праву ту критику временъ Урана, которую принялся такъ неудачно защищать г. новый критикъ „Современника" — само по себѣ очень назидательно, но будетъ еще назидательнѣе, когда мы объяснимъ его современными ему свидѣтельствами.

Когда въ 1839 году вышла вторая часть „Новоселья", въ которой напечатана въ первый разъ повѣсть „Анджело", въ 22 № „Молвы" появилась слѣдующая статья. По пламенному сочувствію къ Пушкину, по поэтическому пониманію поэта, статья принадлежитъ, очевидно, тому же перу, которое писало „Литературныя Мечтанія". Замѣчательнъ въ

высокой степени отзывъ объ „Анджело“ своею неустраши-
мою вѣрностію.

„Піеса сія заслуживаетъ полное вниманіе критики, *хотя* ~~едва ли воспользуется таковымъ же отъ публики~~“. (NB. Ка-
ково предвѣдѣніе? Что, еслибъ оно смогло не сробѣть?)
„Замѣтимъ предварительно, что эта горсть людей у насъ ~~читающихъ и, слѣдовательно, читающихъ Пушкина, такъ~~
еще малочисленна, такъ мало внимательна къ авторамъ, ~~екъ~~
читаемымъ, что у нея не можетъ образоваться различныхъ ~~мнѣній и, слѣдовательно, сужденій о писателѣ. Нѣтъ, онъ~~
съ плеча, однимъ махомъ, по двумъ—тремъ піесамъ, со-
ставляетъ свое мнѣніе объ сочинителѣ; *и послѣ, что хо-*
тите дѣлайте, вы не совете ее съ этого понятія или ~~что~~
что еще хуже, если будете усиливаться, сами проиграетъ ~~не~~
непремѣнно“. (NB. Да, замѣтимъ мы, даже сами отступи-
тесь, если вы еще молоды, если ваши основанія шатки,
если вы малограмотны, что и сдѣлалось). „Безспорно, ~~что~~
несравненный, единственный современный талантъ Пушкина
сдѣлался извѣстенъ у насъ первыми произведеніями его
юности, хотя, быть можетъ, и не всегда отчетистыми, но
всегда горячими, пылкими, истинно-поэтическими. Первое
впечатлѣніе рѣшило славу его, положило основной камень
мнѣнію публики о Пушкинѣ. Каждый стихъ его, каждое
слово ловили, записывали, выучивали и всюду думали *ви-*
дѣть тѣнь или блескъ того же характера пылкой, стреми-
тельной юности, по произведеніямъ которой составили о
немъ понятіе. Но поэтъ, какъ Пушкинъ, не могъ оставаться
въ зависимости, даже и отъ общественнаго мнѣнія: онъ
шелъ своимъ путемъ, и чѣмъ сильнѣе, самобытнѣе, выше
развивался талантъ его, тѣмъ далѣе послѣдующія его про-
изведенія расходились съ тѣмъ первымъ впечатлѣніемъ, ко-
торое такъ шумно, такъ торжественно сдѣлалъ онъ, еще
не знаемый, изъ садовъ лица! Онъ былъ недоволенъ публи-
кою, недоволенъ ея образомъ воззрѣнія на себя, и негодова-
ніе поэта изливалось не разъ въ стихахъ могущественныхъ:

Такъ толковала чернь пустая,
Поэту славному внимая.

„Но публика стояла крѣпко на своемъ, и поэтъ, не внимая ей, идучи своимъ путемъ, болѣе и болѣе отдалялся отъ ея участія. Вотъ, по нашему мнѣнію, единственная *разгадка*, почему послѣднія лучшія поэмы его, какъ, напри- мѣръ, „Борисъ Годуновъ“, были принимаемы съ меньшимъ жаромъ и участіемъ. Пушкинъ не внималъ и продолжалъ *путь свой*. Не смѣемъ здѣсь пускаться въ разсужденіе, кто правъ: публика ли съ своимъ упрямствомъ и желаніемъ слышать отъ поэта тотъ же строй пѣсней, которымъ онъ пробудилъ ея вниманіе, или непокорность поэта сему требованію. Ограничимся сознаніемъ, что *общее участіе къ произведеніямъ Пушкина уже значительно измѣнилось, а вмѣстѣ съ тѣмъ и характеръ его сочиненій*. Это предвари- тельное изложеніе, по нашему разумѣнію, было необходимо для того, чтобы дать, въ настоящемъ случаѣ, вѣрный от- четъ о повѣсти его „Анджело“ и показать, что мы, уважая поэта, изучали не только его произведенія, но плодъ ихъ вліянія на публику и ея къ нему отношенія. Дополнимъ это замѣчаніемъ, что есть еще люди, независимые отъ пер- выхъ впечатлѣній, которые и теперь понимаютъ и цѣнятъ Пушкина: но много ли ихъ? Обратимся къ „Анджело“. Боккаціо, отецъ Декамерона, былъ первымъ начавшимъ пи- сать въ родѣ, къ коему принадлежитъ „Анджело“. *Простой, самый естественный, безстрастный, не размышляющій раз- сказъ происшествій, какъ они были, есть отличительная черта сего рода произведений*, являвшихся въ свое время не случайно, не по прихоти литературной, а вслѣдствіе осо- быхъ обстоятельствъ, развивавшихъ въ разные періоды вре- мени различные роды стихотвореній: сагу, романсъ, балладу и т. д. Возможно ли подобное воссозданіе какого-либо рода стихотвореній во всякое время по волѣ самаго сильнаго дарованія? Имѣетъ ли право талантъ, не обращая вниманія на современное, его окружающее, постоянно усиливаться воскресить прошедшее, идти назадъ, не стремиться впередъ? Можетъ ли имѣть успѣхъ подобное направленіе? Въ правѣ ли писатель винить публику, если она не раздѣляетъ его стремленія къ минувшему, а въ силу вѣчно неизмѣняемаго

влеченія къ будущему остается равнодушною, непризнательною къ его тягостному боренію съ вѣкомъ, усилю, часто обнаруживающему тѣмъ разительнѣе всю великость его дарованія? Вотъ вопросы, которые въ настоящее время было бы кстати предложить на разрѣшеніе, и отвѣчать на которые мы не можемъ въ статьѣ библиографической, хотя въ нихъ-то существенно должна заключаться истинная оцѣнка піесы Пушкина, полной искусства, доведеннаго до естественности, ума, скрытаго въ простотѣ разительной, и сверхъ того неотъемлемо отличающейся истиннымъ признакомъ зрѣлости поэта—тѣмъ спокойствіемъ, которое мы постигаемъ въ твореніяхъ первоклассныхъ писателей. Судить стихосложенію Пушкина было бы излишне: мы ограничиваемся наведеніемъ читателей на мысль, стоящую, по мнѣнію нашему, подробнаго изслѣдованія. („Молва“ 1834 г., № 22, стр. 338—341).

Нельзя не удивляться здѣсь и вѣрности взгляда во взглядѣ на значеніе Пушкина и на отношеніе къ нему публики и критики, и превосходному опредѣленію существенныхъ качествъ манеры, въ которой писанъ „Анджело“, даже указанію связи этой манеры съ манерой Боккачіо, хотя, недостатокъ грамотности очевиденъ и здѣсь: не указанъ ближайшій источникъ „Анджело“—Шекспирова драма. Самые вопросы, останавливающіе критика, въ извѣстной степени законны: самое стихосложеніе Пушкина поразило его своею особенностью—тутъ нѣтъ еще и помина объ архимандритѣ Аполлосѣ и г. Остолоповѣ. Передъ чѣмъ же отступила эта критика, повидимому, столь самостоятельная, столь мужественная, столь созрѣвшая до пониманія Пушкина?

Передъ статью „Жителя Сивцева вражка“, напечатанною въ 24 № той же „Молвы“, на стр. 370—375!!!

„Рецензентъ вашъ — говорить этотъ новый критикъ—въ сужденіи объ „Анджело“ Пушкина, помѣщенномъ въ сей части „Новоселья“, оказалъ слишкомъ явное пристрастіе. Я совершенно согласенъ съ нимъ въ томъ, что говоритъ онъ вообще о ходѣ вліянія Пушкина на публику, о постоянно усиливающимся разнорѣчіи его съ нею и о значитель-

юмъ измѣненіи общаго участія къ его произведеніямъ. Но, признаюсь, вопреки ему, не нашель въ „Анджело“ ни „искусства, доведеннаго до естественности“, ни „ума, скрытаго въ простотѣ разительной“, тѣмъ болѣе не замѣтилъ „истиннаго признака зрѣлости поэта—того спокойствія, которое мы постигаемъ въ твореніяхъ первоклассныхъ писателей“. По моему искреннему убѣжденію, „Анджело“ есть самое плохое произведеніе Пушкина; еслибъ не было подъ нимъ его имени, я бы не повѣрилъ, чтобъ это стихотвореніе принадлежало къ послѣднему двадцатипятилѣтію нашей словесности, и счелъ бы его стариною, вытащенною изъ отысканнаго вновь портфеля какого-нибудь изъ второстепенныхъ образцовыхъ писателей прошлаго вѣка. Такъ мало походитъ оно на Пушкинское даже самою версификаціею, избылиющею (о невѣроятности усѣченными прилагательными и распространенными предлогами! Не угодно ли вамъ перечестъ вновь слѣдующіе стихи:

Ты думаешь? такъ вотъ тебѣ предположеніе:
 Что, еслибъ отдали тебѣ на разрѣшеніе,
 Оставить брата влечь ко плахѣ на убой,
 Иль искупить его, пожертвовавъ собой
 И плоть предавъ грѣху.

Или, пожалуй, хотъ эти:

Средство есть одно къ его спасенію.
 (Все это клонится къ тому предположенію,
 И только есть вопросъ и больше ничего).
 Положимъ: тотъ, кто бъ могъ одинъ спасти его
 (Наперсникъ суди, иль самъ по сану властный
 Законы толковать, мягчить ихъ смыслъ ужасный),
 Къ тебѣ желаньемъ былъ преступнымъ воспаленъ
 И требовалъ, чтобъ ты казнь брата искупила
 Своимъ паденіемъ: не то—рѣшить законъ.

Или слѣдующій афоризмъ:

Законъ не долженъ быть пужало изъ тряпицы,
 На коемъ, наконецъ, уже садятся птицы.

„Спрашиваю, чѣмъ эти и многіе подобныя стихи лучше стиховъ не только Хераскова и Кострова, даже нѣкоторыхъ

Сумарокова? Я уже не упоминаю о томъ, что въ отношеніи къ содержанію „Анджело“ есть не что иное, какъ передѣлка Шекспировой „Measure for measure“ изъ прекрасной драмы въ вялую, пустую сказку. Не думайте, чтобы я былъ предубѣжденъ противъ творца этой передѣлки; напротивъ, увѣряю васъ, что никто больше меня не чувствуетъ живѣйшей признательности къ Пушкину за неопцененныя минуты, кои онъ доставлялъ мнѣ своими первыми произведеніями, благоухавшими свѣжей сладостью мощнаго роскошнаго таланта. И потому, читая „Анджело“, я повторялъ съ чувствомъ глубочайшей горести его же прекрасныя стихи, въ то время глубоко запавшій мнѣ въ душу: увы!

Таковъ ли былъ онъ, расцвѣтающій?..

Въ полной надеждѣ, что вы не откажетесь ввѣрить крылья — ямъ вашей „Молвы“ сію апелляцію на „Молву“, съ отличныя уваженіемъ имѣю честь быть вашъ покорнѣйшій слуга .

„Житель Сивцева Вражка“.

И предъ такой-то ничтожной статейкой отступила критика. И потомъ явились „Литературныя Мечтанія“.

Не въ правѣ ли же была сама эта критика въ другую свою эпоху, въ эпоху, которую, въ противоположность временамъ Сатурна, мы назовемъ эпохою титаническою — въ эпоху паеоса, въ статьѣ о Киршѣ Даниловѣ и Сахаровѣ, въ „Отеч. Запискахъ“, говорить: „Критика того времени безусловно восторгалась произведеніями Пушкина до той поры, какъ геній его возмужалъ: не подозревая того, что онъ имъ сталъ уже слишкомъ не по плечу, они, по своему ственному человѣческой слабости самолюбію, заключили, что онъ палъ.“

А неизвѣстный критикъ „Современника“ взялся оправдывать критику, современную Пушкину! *).

*) Мы увѣрены даже, что онъ готовъ быть ратоборцемъ за приведенную статью „Жителя Сивцева Вражка“, — вмѣстѣ съ нимъ находить „Анджело“ самою плохую вещь, вмѣстѣ съ нимъ не понимать, почему великій художникъ такъ утомился своею легкою версификаціей, почему обратился онъ къ манерѣ писателей прошлаго вѣка.

Но обратимся къ другимъ статьямъ о Пушкинѣ.

Статья о сочиненіяхъ Пушкина въ іюльской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ собственно о сочиненіяхъ Пушкина не толкуетъ, да и толковать не хочетъ. Предлагаемыя журналомъ статьи имѣютъ предметомъ *разсматривать со всѣхъ сторонъ изданіе*... Какъ это, кажется, ухитриться написать нѣсколько статей объ изданіи—и кому будутъ предлагаться эти статьи? Подробный эстетическій разборъ самихъ произведеній поэта не входитъ въ планъ этихъ статей, потому что, какъ говорить критикъ—„въ нашемъ же журналѣ былъ напечатанъ полный разборъ сочиненій Пушкина. Взглядъ нашъ съ тѣхъ поръ не измѣнился, потому что творенія Пушкина, хотя уже почти четверть вѣка прошло надъ его могилою, до сихъ поръ не утратили своей обаятельной силы и свѣжести, и еще далеко то время, когда критика въ состояніи будетъ сказать что-либо новое или измѣнить свои сужденія о его произведеніяхъ, изъ которыхъ многимъ суждена вѣчная юность, какъ всему истинному въ наукѣ“. Прекрасно сказано, замѣтимъ мы—но ссылка на прежнюю критику, какъ на исчерпавшую все, что можно сказать какъ о Пушкинѣ, такъ и о многомъ другомъ, если не обо всемъ,—подтверждаетъ какъ нельзя болѣе нашу мысль объ одряхлѣніи и истощеніи теперешней. Какъ это не найти въ Пушкинѣ чего-либо новаго, даже съ эстетической стороны, когда цѣлыя библіотеки сочиненій о знаменитыхъ писателяхъ существуютъ въ другихъ европейскихъ литературахъ? И особенно въ настоящее время были бы полезны эстетическія статьи о Пушкинѣ. Около четверти вѣка прошло послѣ его смерти—какъ справедливо, хотя не точно выразился критикъ, и должно признаться, къ сожалѣнію, что поколѣніе, воспитавшееся въ эту четверть вѣка, воспиталось—увы! не на Пушкинѣ, какъ воспитывались на немъ мы, нынѣ пишущіе и поучающіе. Скажемъ даже болѣе: различные эфемерныя произведенія и тяжеловѣсныя статьи объ этихъ эфемерныхъ произведеніяхъ, статьи, въ которыхъ широко и глубокомысленно обсуживались по поводу литературы различные политико-экономическіе вопросы—разорвали связь

между Пушкинымъ и поколѣніемъ, воспитавшимся въ эту четверть вѣка: вкусъ у этого поколѣнія (мы говоримъ о той части его, которая подверглась журнальнымъ вліяніямъ) испорченъ или, лучше сказать, зараженъ: юношамъ и дѣвамъ, которые съ паеосомъ читали только больничныя или исправительныя стихотворенія г. Некрасова и *греческія* пѣсно-пѣнія г. Щербины, нужно долго и долго втолковывать на — Пушкинѣ, въ чемъ заключается значеніе искусства, въ чемъ состоитъ истинная красота; даже читавшимъ даровитыхъ изъ — новыхъ поэтовъ, но только новыхъ — красота пушкинской — поэзіи будетъ новостью: мы сами въ тѣхъ обществахъ, гдѣ — наиболѣе читаютъ вообще и, кромѣ того, читаютъ даже по — русски мужескій полъ и женскій, встрѣчали и встрѣчаемъ — госпожъ и господъ, которымъ напосми только то или дру — гое стихотвореніе Фета, Огарева, Майкова — они наизусть — его знаютъ, но которые какъ-то смутно, неопредѣленно от — зываются о Пушкинѣ. Да объ одной простотѣ, правдѣ и — искренности пушкинской поэзіи сравнительно со всею со — временною — можно написать нѣсколько статей, болѣе, ко — нечно, нужныхъ для публики, чѣмъ нынѣ предлагаемая статья — и будущія статьи объ изданіи Пушкина, статьи, которымъ — мѣсто не въ отдѣлѣ критики. А что можно сказать о Пуш — кинѣ какъ о повѣствователѣ, особенно сравнительно съ про — дуктами натуральной школы и съ водяною беллетристикою — послѣднихъ двухъ или трехъ лѣтъ! Явно, что ссылка на — прежнюю критику есть въ настоящемъ случаѣ смиренное, хотя неискреннее сознаніе критики въ безсиліи и истощеніи. Замѣчательно, что никто изъ *настоящихъ* литераторовъ, никто изъ *извѣстныхъ* критиковъ, кромѣ г. Дружинина, не ска — залъ ни слова о Пушкинѣ, предоставивши это дѣло борцамъ — темнымъ или только что выступившимъ на сцену литера — туры, хотя отъ нѣкоторыхъ, какъ, напримѣръ, отъ г. Гала — хова, принадлежащаго къ поколѣнію, воспитавшемуся на Пушкинѣ, и знакомаго съ фактами не ученически, — отъ г. Кудрявцева, котораго нѣкоторыя статьи показывали много эстетическаго такта въ оцѣнкѣ поэтическихъ произведеній, въ правѣ были ожидать многіе статей о Пушкинѣ, скорѣе

чѣмъ отъ таинственнаго критика „Современника“, — но г. Галаховъ почилъ на лаврахъ послѣ своей статьи о Карамзинѣ, г. Кудрявцевъ печатаетъ въ „Запискахъ“ очень хорошія статьи о Дантѣ, другіе изъ грамотныхъ критиковъ давно уже ничего не печатаютъ. На сценѣ только темные борцы, въ родѣ господина, пописывающаго критики въ „Современникѣ“, и многихъ господъ, *имѣ же имя легионъ*, наводняющихъ безнаказанно безвкусіемъ и незнаніемъ дѣла столбцы С.-Петербургскихъ газетъ. Печальное, по истинѣ печальное состояніе критики! Еще печальнѣе представляется оно, когда среди этихъ темныхъ борцовъ появляется борецъ посѣдѣлый, въ родѣ г. П., съ мнѣніями дикими, устарѣлыми, и говорить какъ *власть имѣющій* о томъ, что повѣсти Пушкина — дрянъ, а г. Воилярскій чуть-чуть не геній!

Боже мой! и неужели же все это оттого, что, нечего писать критикѣ? Да, вѣдь, знаетъ же и прекрасно знаетъ критика, о чемъ писать, какія интересныя струнки затронуть, говоря о писателѣ иностранномъ. Посмотрите, на примѣръ, какъ основательно говоритъ упомянутый нами г. Кудрявцевъ въ статьяхъ о Дантѣ: „Каждая вновь наступающая эпоха пробуетъ свои силы надъ Дантомъ; *каждый вновь выработанный приѣмъ въ общей исторіи литературы прилагается и къ Данту*. Только что, кажется, установилось новое воззрѣніе на него, какъ старое опять усиливается взять перевѣсъ надъ новымъ. Опытъ слѣдуетъ за опытомъ, одинъ приѣмъ смѣняется другимъ, *но никто, конечно, не скажетъ, что современныя работы, предпринятыя надъ Дантомъ, какъ бы, впрочемъ, онъ ни были удачны, полагали предѣлъ дальнѣйшему изслѣдованію о немъ*. Пока не умрутъ историческіе и литературные интересы, дѣятельная мысль не перестанетъ трудиться надъ его твореніями и всегда будетъ надѣяться найти въ нихъ много новаго для себя“. Какая ужасающая разногласица между этими здравыми словами, прилагающимися, конечно, къ изученію всякаго великаго народнаго писателя — и между словами критиковъ „Отечественныхъ Записокъ“ и „Современника“. Между тѣмъ г. Кудрявцевъ же, на примѣръ, такъ хорошо сознающій эти истины

и такъ здраво ихъ выражающій, удивительно ясно обозначающій приемы исторической критики — предпочитаетъ работу надъ Пушкинымъ извлеченіе изъ двухъ книгъ о Дантѣ: Форіэля и Вегеля, работу, конечно, болѣе легкую и, пожалуй, доставляющую въ своемъ кружкѣ дешевую славу, но за которую взяться можно и безъ дарованій г. Кудрявцева, статью, которую подъ силу было бы смастерить какому-нибудь г. Тихонравову или другому темному адепту! Въ настоящую минуту это особенно досадно, и тѣмъ болѣе досадно, что въ предисловіи къ своему извлеченію г. Кудрявцевъ излагаетъ превосходно приемы исторической критики. „Въ наше время—говоритъ онъ—лучше, нежели когда либо, понятно, что жизнь писателя и его авторская дѣятельность—два явленія, соединенныя между собою тѣснѣйшимъ образомъ, или что въ дѣятельности писателя, въ его произведеніяхъ, слагаются его же жизненные результаты. Если ужъ слогъ самъ по себѣ обличаетъ человѣка, то чего же не скажетъ намъ о немъ самое содержаніе его произведеній? Надобно только искусно собрать лучи свѣта, проливаемаго твореніями писателя на его жизнь, и умѣть направить ихъ на настоящіе пункты. Нельзя сомнѣваться въ успѣхѣ этого метода, послѣ блестящихъ опытовъ приложенія его къ Гётте и Шиллеру и въ недавнее время къ Шекспиру извѣстнымъ историкомъ нѣмецкой литературы. Послѣдній опытъ особенно говоритъ въ пользу метода, потому что только съ помощію его автору удалось, наконецъ, заглянуть во внутренній міръ поэта и открыть въ этомъ мірѣ послѣдовательность явленій, о которыхъ его біографы не имѣли никакого подозрѣнія. Въ строкахъ и между строками твореній Шекспира Гервинусъ нашелъ секретъ прочесть внутреннюю его біографію. Почему не приложить того же способа и къ другимъ писателямъ, о дѣятельности которыхъ мы гораздо больше знаемъ изъ ихъ произведеній, нежели изъ истории ихъ жизни? Въ свою очередь, жизнь писателя даетъ ключъ къ объясненію его твореній. Это старая истина, которой сила извѣстна была уже въ древней литературѣ. Въ наше время значеніе ея сознается все болѣе и болѣе. Кто не читалъ

жизни автора, для того потерявъ смыслъ многихъ его произведеній. *Чѣмъ оригинальнѣе писатель, тѣмъ глубже въ его жизни лежатъ корни самыхъ его созданий*: не тотъ только пустой фразеръ и риторъ, кто любитъ пышныя рѣчи, но тотъ въ особенности, у кого онѣ легко ложатся подъ перо, безъ участія мысли и сердца. Спросите у комментаторовъ, знающихъ лучше насъ домашнія тайны писателей, и они скажутъ вамъ, съ ироническою улыбкою или безъ нея — все равно, что мотивы задушевнѣйшихъ лирическихъ произведенийъ взяты обыкновенно изъ жизни самого поэта. У романиста, у драматическаго писателя, можетъ быть, тѣ же самыя ощущенія превратились въ идеальныя образы, полныя жизни и движенія. Еще болѣе надобно доспрашиваться отъ ответа о жизни писателя, если въ рѣчахъ его слышится одно твердое убѣжденіе, которое покрываетъ собою всю прочія мысли. Убѣжденіе не рождается изъ теорій; оно приходитъ вмѣстѣ съ успѣхами жизни и нерѣдко наперекоръ ея направленію. Если убѣжденіе истинно, если это не призракъ, оно наполнитъ всего человека, и не можетъ не сказаться въ его произведеніяхъ. Оторвите убѣжденіе отъ жизненной его основы — и оно, если не потеряетъ вовсе своего разумнаго смысла, легко можетъ показаться странностью, и поведетъ только къ произвольнымъ толкованіямъ“.

Читая подобныя строки, невольно приходитъ въ голову мысль, какъ легко усваиваемъ мы все то, что долгимъ умственнымъ процессомъ выработано въ остальной Европѣ, становимся тотчасъ же во всякомъ дѣлѣ хозяевами, относимся даже ко всякому дѣлу критически (и, прибавимъ не безъ чувства народной гордости, имѣемъ право относиться критически), — и между тѣмъ на дѣлѣ, на практикѣ, прилагаемъ наше ясное и тонкое пониманіе къ какимъ-нибудь трудамъ ех отіо, отговариваясь тѣмъ, что нечего дѣлать, не для чего дѣлать и т. д. „Матеріалы для біографіи Пушкина“ (скромное и справедливое заглавіе труда г. Анненкова) подавали именно поводъ къ испытанію надъ Пушкинымъ такого рода пріема, котораго свойства и значеніе такъ хорошо объяснены г. Кудрявцевымъ — а у насъ нашелся

особенный приёмъ: перепечатывать старые пасквили на Пушкина, да еще другой—ссылаться на прежнюю критическую дѣятельность!

Честь и слава г. Дружинину! Заслуга двухъ статей его о Пушкинѣ въ „Библіотекѣ для Чтенія“ заключается въ томъ, что онъ какъ мыслящій и серьезный литераторъ общелся съ трудомъ г. Анненкова — изъ матеріаловъ, предложенныхъ издателемъ для желающихъ изображать колоссальный образъ нашего народнаго поэта, г. Дружининъ выѣнилъ изъвѣстіе Пушкина — европейскаго поэта и Пушкина — человѣка труда. Распространяться о статьяхъ его, проникнутыхъ единою, стройною и живою мыслию, обдуманныхъ честно, выполненныхъ съ умомъ и изяществомъ—мы не будемъ, желая сообщить статьѣ нашей единство полемическаго колорита. Г. Дружининъ—блестящее исключеніе: общія же замѣчанія наши касались не исключеній, а обыденныхъ явленій въ критикѣ—и, кажется, съ достаточною ясностью доказали ея несостоятельность. Признаемся откровенно, что не безъ нѣкотораго злобнаго удовольствія слѣдили мы за ея промахами, но, вѣроятно, противники наши поймутъ, какъ они уже поняли, впрочемъ, что наша полемическая жестокость имѣетъ источникомъ своимъ не личное раздраженіе, а любовь и уваженіе къ искусству. Что же касается до насъ лично, то, ведя борьбу не съ теперешнею критикою, а съ тою, на которую теперешняя ссылается, съ критикою, какъ и наша, не чуждою рѣзкостей и увлеченій идеями, мы не раздражались и не будемъ раздражаться глумленіемъ надъ увлеченіями. Отсутствіе способности къ пониманію увлеченій есть одна изъ болѣзней нравственной дряхлости.

Аполлонъ Григорьевъ.

* * *

*) Какова бы ни была сама по себѣ наша литература, скудна ли, или богата, она, слава Богу, перестала уже быть несущественнымъ и блѣднымъ отраженіемъ чужеземныхъ явленій, глухимъ отзвукомъ случайно долетавшихъ голосовъ, отдаленнымъ и нерѣдко безсмысленнымъ послѣдствіемъ неусвоенныхъ началъ; въ ней чувствуется присутствіе собственной жизни, чувствуется внутренняя связь въ ея явленіяхъ; возникаютъ направленія по закону этой внутренней связи; есть свои образцы, свои господствующія начала, обозначается своя система; словомъ, общественное сознаніе у насъ, — ибо литература есть относительно общества то же самое, что сознаніе въ отдѣльномъ человѣкѣ, — представляетъ собою хотя еще весьма юное, можетъ быть, еще весьма слабое, но уже живое развитіе, уже сложившійся организмъ. Начала, господствующія надъ развитіемъ нашей литературы, справедливо обозначаются именами тѣхъ изъ ея дѣятелей, которые вносили въ нее новыя направленія, сообщали ей новое движеніе, и потому имѣли особенное вліяніе на умы, на сознаніе и, слѣдовательно, на жизнь, потому что человѣческая жизнь нераздѣльна съ знаніемъ. Къ этимъ многозначительнымъ именамъ въ нашей литературѣ принадлежатъ имена Пушкина и Гоголя.

Новыя изданія ихъ сочиненій оживили воспоминаніе объ нихъ, и изъ прошедшаго, хотя и очень близкаго, но все же прошедшаго, ввели ихъ снова въ среду настоящаго, снова раздалось ихъ знакомое слово, снова испытываемъ мы ихъ дѣйствіе и оцѣниваемъ ихъ значеніе.

О Пушкинѣ много сужденій было высказано прежде, много говорено и теперь по поводу изданія его сочиненій. Ему посчастливилось еще и въ томъ отношеніи, что онъ нашелъ для своихъ сочиненій столько же добросовѣстнаго и тщательнаго, сколько и даровитаго издателя, который положилъ на свой трудъ много силъ, внесъ въ него много ума, промышленности и вкуса. Біографическіе матеріалы, собран-

* М. И. Катковъ. „Русскій Вѣстникъ“ 1856 г., т. I, январь, книга 1-я и 2-я, т. 2-й, мартъ, книга 2-я. Статья подъ заглавіемъ: „Сочиненія Пушкина. Изд. П. В. Анненкова. Спб. 1856. 6 томовъ, въ 8 доловъ.“

ные г. Анненковымъ и примѣчанія его къ сочиненіямъ Пушкина много способствуютъ къ уясненію его дѣятельности и значенія.

При оцѣнкѣ Пушкина всегда возникали въ нашей литературѣ эстетическіе толки. Многое этими толками было уяснено, многое также было запутано; а потому мы считаемъ себя нѣкоторымъ образомъ въ правѣ коснуться вопросовъ эстетики, и высказать нѣсколько общихъ мыслей, прежде чѣмъ приступимъ къ ближайшей характеристикѣ нашего поэта. По нашему мнѣнію, понятія объ искусствѣ требуютъ у насъ нѣкотораго пересмотра, и мы попытаемся въ краткомъ очеркѣ коснуться главныхъ пунктовъ.

I.

Стремленіе къ самостоятельности, замѣчаемое въ нашей литературѣ, равно какъ и въ нашемъ обществѣ, есть явленіе бесспорно очень утѣшительное. Мы начинаемъ мыслить, не озираясь робко по сторонамъ, не перебирая бережно и бессмысленно послѣдковъ чужой мысли, не повторяя съ подобострастіемъ фразъ и словъ безъ яснаго сознанія того, что ими выражается. Дѣйствительно, пора уже намъ говорить и дѣйствовать на свой собственный счетъ, изъ собственного капитала.

Итакъ, мы радуемся этой потребности доходить до всего своимъ умомъ. Безъ этого условія ничто не можетъ пойти въ прокъ, но все же это только отрицательное условіе. Нашъ пріятель, судья Тяпкинъ-Ляпкинъ также доходилъ собственнымъ умомъ до своихъ глубокомысленныхъ теорій о происхожденіи вещей.

Однако никому изъ насъ не было бы лестно сопутствовать этому мыслителю, и да будетъ почтенный образъ его полезнымъ предостереженіемъ для многихъ.

Нерѣдко случается намъ слышать и читать рѣшительные приговоры о цѣлыхъ системахъ человѣческаго разумѣнія, надъ которыми работали великіе умы въ теченіе вѣковъ, и которые самыми погрѣшностями своими были плодотворны. Можно не

Знать ихъ и итти своей тропинкой, добывая по немногу собственнымъ трудомъ хотя бы даже то, что уже давнымъ давно добыто: самостоятельность труда сообщить и малому, неважному, давно извѣстному результату новую свѣжесть и даже важность. Понятіе, которое добываемъ мы сами изъ первыхъ матеріаловъ, будетъ всегда содержать въ собѣ нѣчто новое. Особенность матеріаловъ, изъ которыхъ понятіе выработано, будетъ болѣе или менѣе ощутительно въ немъ и придастъ ему силу и значительность. Только такое понятіе и можетъ быть легко и плодотворно употребляемо нами въ нашихъ сужденіяхъ; только такое понятіе окажется истинною силою, которою упрочивается наше господство надъ извѣстнымъ кругомъ предметовъ. Общія теоріи и системы мышленія, составляющія богатство и силу человѣческаго разума, добывались при такихъ условіяхъ, и при такихъ же только условіяхъ могутъ быть поняты и усвоены. Итакъ, кромѣ добраго слова, ничего нельзя было бы сказать о стремленіи добывать собственнымъ трудомъ свои понятія и мыслить своимъ умомъ. Основательна была бы и соединенная съ такимъ положительнымъ стремленіемъ полемика противъ схоластическаго безплодія, противъ готовыхъ формулъ и общихъ мѣстъ. Но необходимо требуется, чтобы эта полемика не была слѣпою, чтобы критикъ зналъ, о чемъ говорить, и направлялъ свои удары куда слѣдуетъ, чтобы онъ не бросалъ камней въ небо, по крайней мѣрѣ, изъ опасенія попасть ими въ свою голову.

Такъ, напримѣръ, изъ разныхъ критическихъ уголковъ раздаются весьма часто укоры противъ теоріи и философіи. „Намъ надоѣли, кричатъ эти господа, мертвыя опредѣленія! Долой всѣ эти формулы, всѣ эти умозрительныя идеи, всѣ эти отвлеченныя опредѣленія! Пора теорій миновала безвозвратно!“ И затѣмъ начинаютъ сами созидать свои теоріи, творить свою философію, которая, конечно, не имѣетъ ничего общаго ни съ какими идеями, ни съ какимъ умозрѣніемъ.

Мы не хотимъ называть именъ, и готовы съ полнымъ безпристрастіемъ отдать должную справедливость тѣмъ изъ

нашихъ критиковъ, въ которыхъ нельзя не замѣтить несомнѣнныхъ признаковъ дарованія. Мы готовы сочувствовать имъ во многомъ добромъ, готовы сочувствовать даже въ основѣ тѣхъ побужденій, которыя при неосмотрительности увлекаютъ ихъ въ промахи и крайности. Они правы, вооружаясь противъ отвлеченныхъ формулъ; но, къ сожалѣнію, забываютъ только, что въ этихъ мертвыхъ формулахъ никто, кромѣ ихъ самихъ, не виноватъ, что предметъ ихъ справедливаго неудовольствія—недостатокъ ихъ же собственной мысли. Мы поздравляемъ ихъ съ прекраснымъ свойствомъ живыхъ и добрыхъ натуръ, въ которыхъ возбуждается нетерпѣливая и страстная реакція противъ всего мертвого, противъ всякаго застоя и косности. Но мы желали бы, чтобы съ этою реакціею соединялось сознаніе, въ чемъ и отъ чего зло.

Увы! то явленіе въ нашей литературѣ, которымъ вызвано у насъ вышеуказанное замѣчаніе, есть только одинъ изъ самыхъ мелкихъ и неважныхъ случаевъ явленія всеобщаго, непрерывно и въ колоссальныхъ размѣрахъ происходящаго въ исторіи человѣческаго разумѣнія.

Параллельно съ ходомъ какого-либо великаго дѣла, возникаютъ въ умахъ представленія объ немъ, нерѣдко противоположныя существу того, что ими знаменуются. Раскрываясь въ живомъ сознаніи, они сами приобрѣтаютъ дѣйствительность, образуютъ свою исторію, независимую отъ хода самого дѣла. Съ теченіемъ времени господствующія представленія начинаютъ колебаться, возникаетъ противодѣйствіе, противъ явленій сознанія употребляются всѣ орудія сознанія, и развѣдающій анализъ, и сила насмѣшки, и страсть гнѣва. Идолы падаютъ, и люди думаютъ, что съ ними падаетъ дѣло. Но часто бываетъ такъ, что самое дѣло, овладѣвая все болѣе и болѣе умами независимо отъ тѣхъ представленій, которыя заслоняли его, возбуждаетъ противъ нихъ реакцію; оно-то подъ другими именами и подъ другими представленіями вооружаетъ умы противъ несоотвѣтственныхъ о себѣ представленій, и заставляетъ служить себѣ своихъ

противниковъ, которые иногда бываютъ вѣрнѣе ему и ближе къ нему, чѣмъ его защитники.

Но возвратимся къ нашему вопросу. Въ нашей критикѣ, по поводу Пушкина, часто слышалось возраженіе противъ будто бы ошибочной теоріи, которая учитъ, что искусство должно имѣть свою цѣль въ самомъ себѣ. Это положеніе, въ своей отвлеченности и отрывочности, можетъ быть всячески понимаемо. Мы слышимъ слова, и первыя, какія случились въ умѣ нашемъ понятія являются на зовъ; выходитъ смыслъ, котораго мы сами бываемъ единственными виновниками, смыслъ смутный, сбивчивый и близкій къ безсмыслицѣ. Изъ уваженія къ авторитету теоріи, мы благоговѣемъ передъ собственною безсмыслицею, потомъ начинаемъ тяготиться ею, наконецъ, чувствуемъ пресыщеніе, вспыхиваемъ гнѣвомъ, сбрасываемъ съ себя иго, и потомъ, какъ люди опытные, насмѣшливо отзываемся о системахъ, къ которымъ будто бы прежде принадлежали, но отъ которыхъ счастливо наконецъ отдѣлались. Мы точно двинулись впередъ, потому что вышли изъ ложнаго положенія, но не относительно самого дѣла, отъ котораго не могли уйти, потому что никогда къ нему не подходили. Отрывочныя, налету схваченныя фразы, возбуждившія въ нашемъ умѣ смутныя и безплодныя движенія—вотъ вся наша философія. Порадуемся, что отъ ней освободились, но будемъ видѣть въ ней не болѣе, какъ нашъ же собственный, хотя и невольный грѣхъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ освобожденною и здоровою мыслию почтимъ истинное разумѣніе, и будемъ стараться приблизиться къ нему, начиная мыслить собственнымъ умомъ.

Искусство должно имѣть свою внутреннюю цѣль, какъ имѣетъ ее все на свѣтѣ. Это общій законъ всякой организаціи, всякаго самостоятельнаго существованія, всякой дѣятельности, условленной природою человѣческою. Говорите, что хотите, но не отнимайте у искусства его права на существованіе, *sa raison d'être*.

Неужели въ самомъ дѣлѣ эта богатая и великая сфера человѣческой дѣятельности, сфера, въ которой проявлено столько силъ и генія, неужели она лишена своего вну-

твеннаго закона, неужели ей не дано начала самоуправленія, самобытности и независимости? Неужели явленія въ въ этой области возникаютъ только по постороннимъ поводамъ и требованіямъ? Итакъ, не за чѣмъ говорить намъ объ искусствѣ; есть только случайно возникающія, тамъ и сямъ, различныя явленія, которымъ даемъ мы, по нѣкоторымъ общимъ признакамъ, общее названіе произведеній искусствъ. Одни изъ этихъ произведеній вызываются нуждою, другія—празднымъ досугомъ, и вотъ для бѣднаго поэта, чтобы не попасть въ скоморохи, не остается иного убѣжища, какъ поступить въ служители благочинія.

О старый мыслитель Италіи, не это ли твои *corsi ricorsi*? Неужели мы возвратились къ тѣмъ же воззрѣніямъ, отъ которыхъ почитали себя совершенно освобожденными? Какъ доблестно и съ какою энергіею бились мы противъ этихъ обветшалыхъ воззрѣній, возникшихъ въ тѣ времена, когда искусство не имѣло для мысли никакого существеннаго интереса! И вотъ опять, съ другой стороны, приходимъ мы сами къ тому же! Отъ тѣхъ романтическихъ бредней о значеніи художника, которыя еще не очень давно стояли такимъ туманомъ въ нашей литературѣ, отъ всѣхъ этихъ краснорѣчивыхъ и горячихъ толковъ о художественности, толковъ, которые проводили столь рѣзкую границу между такъ названными произведеніями беллетристики, не имѣющими самостоятельнаго значенія, и произведеніями художественными, передъ которыми благоговѣнно преклонялись колѣна, отъ всего этого осталось въ нашихъ критикахъ лишь чувство пресыщенія, и они готовы теперь ставить художнику въ вину художественность его произведеній. Пушкинъ подвергся укору за то, что оставался вѣренъ цѣлямъ искусства. Его восхваляютъ, какъ художника, но укоряютъ за то, что онъ былъ исключительно художникомъ.

Пушкинъ, говорятъ критики, былъ въ нашей литературѣ художникомъ по преимуществу; онъ первый внесъ въ нее истинное начало поэзіи; но за то онъ и былъ только художникомъ, только поэтомъ.

Повинуясь влеченію своей природы, онъ подчинилъ себя

вполнѣ этой теоріи, предписывающей искусству не знать иной цѣли, кромѣ цѣли искусства. Ему бы только уловить красоту явленія, только начертить изящный образъ, только передать ощущеніе въ живой прелести стиха. Онъ былъ эхомъ, которое отзывается на все безразлично и безстрастно; такъ онъ и понималъ свое назначеніе, какъ поэта. Онъ самъ высказалъ свою теорію искусства въ знаменитомъ стихотвореніи: *Чернь*. Съ презрѣніемъ и негодованіемъ отталкиваетъ поэтъ эту, какъ онъ выражается, „тупую чернь“, этотъ „непосвященный и бессмысленный народъ“, который собрался просить у него слова поученія. Въ стихотвореніи Пушкина послѣднее слово осталось, конечно, за поэтомъ. Но критики становятся на противную сторону, и, разумѣется, удерживаютъ за собою послѣднее слово, повторяя и разбирая то, что высказано въ стихотвореніи отъ лица черни.

Читатели, можетъ быть, не посѣтуютъ на насъ, если мы начнемъ нѣсколько издалека, чтобы по возможности уяснить спорное дѣло.

Пушкинъ не былъ теоретикомъ. Но дѣйствительно съ теченіемъ времени его художественная дѣятельность достигла до самосознанія, которое выразилось въ нѣсколькихъ прекрасныхъ стихотвореніяхъ. Эти стихотворенія, при всей свободѣ своей формы, при всемъ отсутствіи догматическаго характера, заключаютъ въ себѣ намеки на теорію искусства, которую легко извлечь изъ нихъ.

Бывало говорилось у насъ, что дѣятельность художника совершается безсознательно. Объ этомъ вопросѣ также велись въ нашей журналистикѣ горячіе толки, которые, какъ кажется, кончились такимъ же чувствомъ пресыщенія, какъ и прочіе эстетическіе толки у насъ. Въ самомъ дѣлѣ, при дальнѣйшей опытности, при большей зрѣлости понятій, трудно было оставаться въ наивной увѣренности, что художникъ, въ минуту вдохновенія, обмираетъ, какъ пчела, или какъ ясновидящій въ магнетическомъ усыпленіи, и что устами его вѣщаетъ посѣтившая его чуждая сила. Мы весьма основательно убѣдились, что такое понятіе о вдохновеніи художника совершенно нелѣпо, что состояніе твор-

чества есть состояніе здраваго и трезваго духа, что художникъ, какъ и мыслитель, сохраняетъ въ минуту дѣятельности всю свою умственную свободу, и что даже напротивъ такая минута есть въ человѣкѣ состояніе высшей внутренней ясности. Теперь, кажется, мы уже не признаемъ никакой особенности въ состояніи умственного творчества, и самое слово творчество употребляемъ только по привыкѣ, не придавая ему никакого особеннаго значенія, а ученіе о бессознательности творчества относимъ къ пустому хламу нашихъ прежнихъ романтическихъ бредней. Но и здѣсь мы ошибаемся, и здѣсь повторяется вышеуказанное нами явленіе. Сами сочинивъ нелѣпую бессознательность въ искусствѣ, мы потомъ слагаемъ всю вину на философскія теоріи, которыя никогда этому не учили.

Поэзія есть прежде всего одна изъ формъ нашего сознанія. Это особаго рода мышленіе; это умственная дѣятельность. Но чѣмъ могущественнѣе овладѣваетъ нашею душою какая-либо мысль, чѣмъ съ большей энергіею предаемся мы какому-либо дѣлу, тѣмъ менѣе остается въ насъ мѣста и силъ для всякой другой мысли, для всякой посторонней дѣятельности. Если бы съ развитіемъ одного дѣла современно происходило въ насъ другое дѣло, то ни одно не могло бы происходить съ тою силою, свободою и правильностію, какія требуются для полнаго успѣха. Одно возмущало бы и ослабляло бы теченіе другого, и мы бы несчастнымъ образомъ двоились между ними. Это общій законъ, который находитъ себѣ только частное приложеніе относительно художественнаго творчества. Развивая мысленно рядъ представленій, поглощающихъ все наше вниманіе, мы не можемъ въ то же время развивать другіе ряды, не отнимая жизни и силы у перваго. Возникшій въ насъ замыселъ даетъ нашему уму и всей нашей внутренней организаціи соответственное строеніе; смотря по глубинѣ и силѣ замысла, весь внутренній міръ, все хранящееся въ нашей душѣ разнообразіе мыслей, представленій, чувствованій, располагается такъ, чтобы входить въ систему начавшагося развитія, и занимать въ ней опредѣленное назначеніе. Когда Шекспиръ

создавалъ своего Отелло и развивалъ въ своемъ воображеніи ещѣ его безумной ревности, это чувство, болѣе или менѣе знакомое сердцу поэта, поднималось тогда въ душѣ его не какъ собственная страсть, но какъ свободное представленіе, со всѣми особенностями своей природы и своего проявленія, и вселялось въ страшнаго Мавра и оживляло его мрачный образъ; оно не могло бы тогда развиваться какъ собственная страсть, а если бы возникъ къ тому поводъ, то созданіе поэта по необходимости должно было бы прерваться. Не только подобныя постороннія возбужденія со стороны дѣйствительности могутъ вредить внутреннему дѣлу, но также и всякое другое внутреннее дѣло, а равно и новый актъ сознанія, который слѣдилъ бы за первымъ. Вдохновеніе творчества не только не чуждо сознанія, но есть напротивъ самое усиленное его состояніе. Человѣкъ въ этомъ состояніи весь становится созерцаніемъ, внутреннимъ зрѣніемъ и слухомъ. Но чѣмъ сильнѣе такое состояніе, тѣмъ менѣе бываетъ возможнымъ, современно съ нимъ, другое подобное состояніе. Мы не можемъ сосредоточить наши понятія для того, чтобы наблюдать за сильною внутреннею работою въ самый моментъ ея развитія, не можемъ не потому только, что намъ не достало бы матеріальныхъ силъ, но потому преимущественно, что не будетъ у насъ свободныхъ нравственныхъ силъ для новой работы, не будетъ въ нашемъ распоряженіи тѣхъ умственныхъ способностей, тѣхъ понятій, которыя были бы для ней необходимы, но которыя заняты болѣе или менѣе близкимъ отношеніемъ къ начавшемуся дѣлу. Они не могутъ вступить въ тѣ сочетанія, которыя требовались бы для новаго дѣла, не нарушая цѣлаго настроенія нашей души. Отдавать себѣ отчетъ въ общихъ законахъ своей дѣятельности требуетъ особенной дѣятельности, новаго плана, новаго настроенія и своего времени. Итакъ вотъ она, эта пресловутая безсознательность художника! Это не безсознательность, а цѣльность сознанія, и нисколько не составляетъ исключительной принадлежности искусства въ тѣснѣйшемъ значеніи этого слова.

Это общее условіе всякаго рода дѣятельности, которая

творчески совершается въ человѣческомъ духѣ, и творчество въ этомъ смыслѣ ни мало не есть принадлежность людей, слагающихъ стихи, сочиняющихъ повѣсти или драмы, или занимающихся живописью; оно равно относится и къ ученому, инженеру, и даже къ математику, котораго бывало ставили во враждебныя отношенія къ поэту.

Но внутреннія состоянія наши проходятъ, и хранятся въ памяти. То, что было невозможно при *настоящемъ* развитіи, становится возможнымъ относительно *прошедшаго*. Рядъ подобныхъ состояній, какъ состояній прошедшихъ, является намъ простымъ воспоминаніемъ, простыми представленіями, и мы образуемъ изъ нихъ тѣ общія представленія, въ которыхъ сосредоточивается для насъ ихъ значеніе, ихъ сущность, ихъ понятіе.

Перейдемъ теперь къ тому, какъ нашъ поэтъ разумѣетъ значеніе своей дѣятельности.

Въ одномъ изъ позднѣйшихъ стихотвореній (1831 года), Пушкинъ сравнилъ поэта съ отголоскомъ.

Реветь ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,
Трубитъ ли рогъ, гремитъ ли громъ,
Поетъ ли дѣва за холмомъ—
На всякій звукъ .
Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ
Родишь ты вдругъ.
Ты внемлешь грохоту громовъ,
И гласу бури и валовъ,
И крику сельскихъ пастуховъ—
И плешь отвѣтъ;
Тебѣ жъ нѣтъ отзыва... Таковъ
И ты, поэтъ!

Безъ сомнѣнія, Пушкинъ не имѣлъ въ виду выразить этими стихами полное значеніе поэта. Оно, какъ видно, родилось у него мгновенно, и навѣяно мимолетнымъ настроеніемъ. Можетъ быть, хотѣлось ему только выразить, подъ общимъ представленіемъ поэта, случайное чувство личнаго одиночества и недовольства. Дѣйствительно эта безотзывность на голосъ поэта, эта исключительность его положе-

нія въ мірѣ, какъ существа, которое, откликаясь, на все, остается само безъ отзыва, все это было бы чертою слишкомъ хитрою и искусственною въ общей характеристикѣ поэта. Вообще эта аналогія съ отголоскомъ не очень богата, и немного хромаетъ; но тѣмъ не менѣе она намекаетъ на весьма характеристическое, хотя вовсе не исключительное значеніе поэта.

Существенный смыслъ сравненія, по нашему мнѣнію, заключается въ призваніи поэта постигать и воспроизводить всѣ явленія жизни. Мы удержимъ только этотъ общій смыслъ, и посмотримъ, что въ немъ содержится.

Обыкновенно во главу поэзіи полагается красота, какъ цѣлю знанія поставляется истина. Но это также принадлежитъ къ числу грубо-понятыхъ формулъ. Прекрасное, конечно, входитъ какъ существенная черта въ характеристику искусства, но въ основаніе его должны мы положить то же, что и въ основаніе познающей мысли—истину. Истина есть первая и необходимая основа всякой поэзіи; истина есть также внутренняя цѣль ея, какъ и цѣль знанія; она то даетъ искусству значеніе существенное, великое; благодаря ей-то искусство есть нѣчто необходимое въ общей экономіи человѣческаго духа. Наконецъ, скажемъ болѣе, скажемъ рѣшительно, поэзія въ сущности есть то же самое, что и познающее мышленіе, то же что знаніе, то же что философія, и разнится отъ нихъ только предметами и способами постиженія.

Какъ ни страннымъ покажется такое сближеніе поэзіи съ знаніемъ, поэзіи, которая по обыкновеннымъ понятіямъ почитается совершенною противоположностію строгой мысли, обрекшей себя на служеніе истинѣ, но мы твердо стоимъ на своемъ положеніи. Поэзіи отводятъ область воображенія и фантазіи, знанію область разума: все это большею частію только слова, произносимыя безъ мысли.

Но, возразятъ намъ многіе съ удивленіемъ, поэзія есть вымыселъ; въ поэтическихъ произведеніяхъ изображаются вымышленныя лица и событія, и даже въ историческихъ

романахъ гораздо болѣе выдумки, чѣмъ правды. Какое же тутъ знаніе, какая истина?

Однако жъ кто не говоритъ объ истинѣ и правдѣ, какъ главныхъ достоинствахъ поэтическаго вымысла? Кто не требуетъ отъ поэта знанія человѣческаго сердца? Кто не отличаетъ пустыхъ выдумокъ празднаго воображенія отъ возвышенныхъ произведеній искусства, въ которыхъ черпаемъ мы великія идеи, богатство опыта, которыя расширяютъ нашъ умственный горизонтъ и открываютъ передъ нашимъ изумленнымъ взоромъ глубокія и сокровеннѣйшія стороны жизни?

Итакъ высказанное нами положеніе о существенномъ средствѣ поэзіи и знанія, о истинѣ какъ ея главной цѣли, вовсе не должно казаться слишкомъ страннымъ даже во мнѣніи тѣхъ, кому бы оно съ перваго раза и показалось страннымъ.

Поэзія, въ истинномъ смыслѣ, есть познающая мысль, направленная на все то, что не подвластно отвлеченному мышленію. Это безконечное разнообразіе жизни, эта неисчислимая полнота существованій, этотъ міръ души человѣческой, незримый, но столь же дѣйствительный и столь-же неистощимый въ своихъ явленіяхъ, какъ и видимый міръ, этотъ міръ человѣческихъ отношеній и силъ, которыя непосредственно дѣйствуютъ въ нихъ и управляютъ ими,—все это требуетъ постигающаго понятія, все это также должно быть предметомъ яснаго и для всѣхъ выраженного знанія, и это познаніе отъ начала вѣка ведется въ томъ, что мы зовемъ художествомъ и поэзіею.

Знаніе въ томъ, что мы зовемъ наукой и знаніе въ томъ, что мы зовемъ поэзіей, различаются между собою такъ: первое имѣетъ въ виду отвлеченное, общія отношенія предметовъ; собирая во множествѣ частныя явленія, первое не обращаетъ вниманія на индивидуальныя ихъ отличія, сосредоточивается въ нихъ исключительно лишь на понятіяхъ родовыхъ и высказываетъ общія положенія, какъ законы природы; послѣднее, напротивъ, направлено къ тому, что брошено первымъ, какъ случайное,—къ тому, на что первое не хочетъ и не можетъ обратить вниманія. Но и въ этомъ отношеніи противоположность между знаніемъ, въ

тѣснѣйшемъ смыслѣ этого слова, и поэзіей не есть ничто существенное и непремѣнное. Есть сферы познанія, въ которыхъ оно сближается съ поэзіей. Это именно тѣ сферы, гдѣ мышленіе слагаетъ съ себя, говоря схоластическимъ терминомъ, *дискурсивный* характеръ, принимаетъ характеръ созерцанія, гдѣ оно не состоитъ въ сочетаніи отвлеченныхъ понятій, но относится также къ индивидуальному, какъ въ исторіи или въ возвышенныхъ сферахъ философскаго разума, гдѣ мысль имѣетъ передъ собою всеобщія, и потому также индивидуальныя, единственныя начала.

Мы коснулись отношенія поэзіи къ міру нравственному, къ міру человѣческому. Художникъ есть истинный естествоиспытатель въ этомъ мірѣ. Онъ производитъ въ немъ самыя разнообразныя наблюденія, которыя не уступаютъ въ богатствѣ наблюденіямъ науки. И здѣсь вновь встрѣчаемъ мы сближеніе поэзіи съ наукой. Тотъ же самый процессъ совершается въ умѣ мыслителя, извлекающаго изъ безднъ частныхъ фактовъ такъ-называемый всеобщій фактъ, или законъ природы, какъ и въ художникѣ, когда въ немъ изъ тысячи схваченныхъ особенностей вырабатывается общій типъ, характеристическій образъ. Разница происходитъ отъ свойства предметовъ, на которые направлена дѣятельность того и другого. Наблюденія, производимыя въ мірѣ чело-вѣческой свободы, не могутъ соединяться съ тѣми внѣшними приѣмами, съ тѣми искусственными орудіями, которыя составляютъ предметъ особаго изученія, и къ которымъ естествоиспытатель прибѣгаетъ для сообщенія видимой точности своимъ выводамъ. За то, съ другой стороны, естествоиспытатель имѣетъ дѣло съ письменами, которыхъ смыслъ не ясенъ ему непосредственно. Явленія природы предстоятъ ему какъ голые, внѣшніе факты, и получаютъ значеніе, говорятъ ему лишь въ той мѣрѣ, въ какой вырабатываются изъ нихъ отвлеченные признаки или логическія формулы законовъ природы. Поэзія относится большею частію къ такимъ явленіямъ, смыслъ которыхъ непосредственно сказывается въ нашемъ сердцѣ, въ нашемъ нравственномъ чувствѣ, въ нашемъ самосознаніи; она относится преимуще-

ственно къ человѣческому міру, въ которомъ явленія сами чувствуютъ себя. Все внѣшнее въ этомъ мірѣ находитъ себѣ непосредственное истолкованіе во внутреннемъ, которому служитъ знакомъ. Природа внѣшняя входитъ въ вѣдѣніе поэзіи лишь по своему отношенію къ человѣческому міру; поэзія знаетъ ее въ отраженіи человѣческаго чувства, въ уподобленіи явленіямъ внутреннимъ, во взаимодействіи съ человѣческою волею, знаетъ ее какъ окруженіе, какъ сцену жизни и событій. Далѣе, руководствуясь чувствомъ внутренняго, она вноситъ въ соотвѣтственные явленія природы психическія настроенія. И здѣсь истинная поэзія не есть пустая выдумка или риторическая фигура. Конечно, въ поэзіи, какъ и вообще въ языкѣ, уподобленія служатъ способомъ выраженія и логическою ступенью въ развитіи понятія; но въ основаніи этой потребности сближать внутреннія явленія съ внѣшними таится глубокое чувство существеннаго сродства между ними. Во всемъ внѣшнемъ есть свое внутреннее, и поэтический взглядъ угадываетъ это внутреннее по аналогіи съ душою человѣческою. Поэзія открываетъ намъ вдохновенное прозрѣніе космической жизни, сходясь здѣсь снова съ философскою мыслию.

Наука, обобщая явленія, группируетъ ихъ по логическимъ отношеніямъ, извлекаетъ ихъ изъ тѣхъ безчисленно разнообразныхъ связей, какъ существуютъ они въ дѣйствительности; наука тщательно уединяетъ свой фактъ, возводя его въ понятіе; индивидуальности служатъ для ней только веществомъ анализа; она сыплетъ и льетъ ихъ въ свои реторты, добираясь только до элементовъ, чтобы потомъ разбирать и читать посредствомъ этой азбуки сложныя сочетанія явленій. Мысль художника держится на понятіяхъ видовыхъ, которымъ непосредственно подчинено (*понятіе*) разнообразіе индивидуальности. Видъ по терминологіи греческой философіи, есть то же что идея; оба реченія въ греческомъ языкѣ одного происхожденія, и употреблялись мыслителями одно вмѣсто другого. Мысль художника остается такимъ образомъ на рубежѣ между отвлеченною общностью и живымъ явленіемъ. Фактъ, событіе не исчезаетъ для него

въ общемъ законѣ. Онъ повѣствуетъ, изображаетъ, выводитъ живыя лица на сцену. Хотя художественная мысль также обобщаетъ явленія, также соединяется съ отвлеченіемъ, однако художественное обобщеніе не разрушаетъ индивидуальности явленія, оно только возводитъ его въ типъ. Плодъ художественнаго познанія есть фактъ, удержанный во всей своей индивидуальности, но высвобожденный изъ путаницы случайностей, съ которыми въ дѣйствительности является для простаго глаза. Фактъ, въ художественномъ понятіи, сохраняетъ всю свою жизненность. Художественное обобщеніе есть не что иное, какъ уразумѣніе всего случайнаго въ предметѣ. Черты характера, моменты дѣйствія, подробности событія, выраженіе душевнаго состоянія, все въ произведеніи истинно-художественномъ должно быть запечатлѣно внутреннею необходимостью, все должно быть проникнуто своимъ значеніемъ, все должно имѣть свое достаточное основаніе, и всякая частность должна находиться въ ясномъ отношеніи къ своему цѣлому, такъ чтобы все было вмѣстѣ и живою дѣйствительностью и понятіемъ.

Признакъ красоты или изящнаго, придаваемый искусству, относится столько же къ свойству художественнаго сознанія, сколько къ его выраженію, къ исполненію его замысла. Въ художественномъ созерцаніи явленія жизни достигаютъ возвышенной области разума, и даютъ ему въ себѣ мѣсто проявиться, почувствоваться, сказаться. Тутъ-то рождаются эти идеалы, исполненные жизни и вмѣстѣ проникнутые всеобщимъ, всемірнымъ значеніемъ.

Все дѣло идеализаціи состоитъ лишь въ томъ, что данное качество освобождается въ умѣ художника отъ всѣхъ тѣхъ стѣсненій, которымъ подвергается оно въ дѣйствительности. Разумъ и есть не что иное, какъ возможность полнаго и безпрепятственнаго раскрытія всякой вещи, какъ она должна быть, на свободѣ отъ всѣхъ возмущеній со стороны безчисленныхъ развитій, совершающихся въ дѣйствительности параллельно съ нею. Когда въ сознаніи нашемъ представляемое дѣло достигнетъ такой свободы и чистоты рас-

крытія, тогда сознаніе принимает то свойство, которое называемъ мы разумомъ.

Но довольно объ этомъ. Часто будутъ представляться намъ случаи подробнѣе и основательнѣе говорить какъ объ этомъ, такъ и о многомъ другомъ; теперь достаточно этихъ намековъ, въ которыхъ мы старались столько же быть краткими, сколько и ясными.

Не мѣшаетъ однако коснуться еще одного вопроса, исключительно относящагося къ поэзіи, какъ къ искусству слова, и очень важнаго для характеристики Пушкина.

Не совсѣмъ легкимъ можетъ показаться примѣненіе всего нами сказаннаго ко многимъ поэтическимъ произведеніямъ, главное достоинство которыхъ заключается въ прелести стиха, въ очарованіи слова. Не самъ ли Пушкинъ говоритъ объ этой „прелести стиховъ“, какъ объ одномъ изъ правъ своихъ на благодарность потомства? Какое же соотношеніе имѣетъ изящество выраженія съ цѣлью, представляемою нами для художественной дѣятельности? Эти мелкія, игривыя стихотворенія, въ которыхъ не раскрывается ничего опредѣленнаго, какъ подойдутъ они подъ то строгое понятіе, которому рѣшили мы подчинить разнообразную область искусства? Что найдемъ мы въ подобныхъ произведеніяхъ, кромѣ красоты выраженія, а между тѣмъ куда же отнесемъ ихъ, если не къ поэзіи?

Этимъ вопросомъ мы касаемся другой стороны художественной дѣятельности, стороны исполненія. Художественная мысль вступаетъ въ борьбу съ веществомъ, чтобы овладѣть имъ и выразиться въ немъ для всѣхъ и каждаго. Борьба эта имѣетъ свою исторію, и внѣшняя сторона художественной дѣятельности образуетъ свою сферу и пріобрѣтаетъ свою важность. Вещество, покоряемое художественнымъ цѣлямъ, требуетъ особаго изученія; оно поддается лишь сильной рукѣ, и то постепенно, въ теченіе времени. Каждое торжество въ этой борьбѣ передается отъ поколѣнія къ поколѣнію, и служить условіемъ новыхъ успѣховъ; мало по малу для каждаго искусства возникаетъ своя особая наука, своя опытность, равно какъ и при каждой наукѣ для изложенія ея

содержаніи, образуется особое искусство, своего рода также наука. Въ эпоху полнаго развитія искусства составляется кодексъ установленныхъ правилъ, утвердившихся приѣмовъ и способовъ техники. Это общія мѣста, готовые фразы искусства, то же самое, что и тѣ готовые формулы рѣчи, которыми надѣляется насъ общее образованіе, и которыя употребляемъ мы безъ всякаго собственнаго въ нихъ участія. Но въ исторіи искусства останутся навсегда великими памятниками тѣ произведенія, въ которыхъ первоначально одержаны гениемъ побѣды надъ непокорною силою вещества. Что въ послѣдствіи становится легкимъ и незначительнымъ, что становится общимъ мѣстомъ, то въ этихъ первоначальныхъ выраженіяхъ является высоко-важнымъ, свѣжимъ и оригинальнымъ. Часто вся сила замѣчательнаго дарованія расточалась на эти первоначальныя побѣды, и ничего другаго не завѣщала потомству, кромѣ выраженій, означенныхъ ею и навсегда покоренныхъ художественному сознанію.

Все сейчасъ сказанное имѣетъ особое значеніе относительно поэзіи въ тѣснѣйшемъ смыслѣ этого слова. Въ исторіи нашей литературы мы можемъ указать на нѣсколько, даже не стихотвореній, а стиховъ, справедливо замѣченныхъ критикою, какъ несомнѣнныя доказательства истинно-художественнаго дара, который ничѣмъ столько не ознаменовалъ себя, какъ этими первыми побѣдами, одержанными надъ языкомъ. Ломоносова мы должны были бы признать истиннымъ художникомъ, если бы онъ не написалъ ничего, кромѣ извѣстной оды, выбранной изъ книги Іова, и, напримѣръ, слѣдующихъ стиховъ въ ней:

Кто море удержалъ брегами,
И безднѣ положилъ предѣлъ
И ей свирѣпыми волнами
Стремиться далѣ не велѣлъ?
Покрытую пучину мглою
Не Я ли сильною рукою
Открылъ и разогналъ туманъ,
И съ суши сдвинулъ океанъ?

Поэтъ есть образователь языка, и эту образовательную

силу черпаетъ онъ въ постиженіи духа и средствъ языка. Языкъ не есть просто матеріалъ, какъ глыба мрамора или какъ краски; самый звукъ не есть въ немъ главное, такъ что даже благозвучіе стиха не столько состоитъ собственно въ звукахъ, сколько въ особомъ движеніи, въ особомъ сочетаніи реченій, въ особомъ послѣдованіи соединенныхъ съ ними представленій и настроеній. Прочтите иностранцу самое по васъ благозвучное стихотвореніе; повѣрьте, онъ не отличить его отъ самаго неблагозвучнаго, которое вы потрудитесь прочесть ему вслѣдъ за первымъ, кромѣ развѣ страшной и умышленно подобранной какофоніи. Насъ очаровываютъ въ этомъ благозвучіи разгаданныя тайны языка. Художникъ овладѣваетъ, если позволено будетъ такъ выразиться, индивидуальностію языка. Выскажемся нѣсколько яснѣе. Каждое реченіе, кромѣ своего общаго значенія, или понятія, которымъ оно совпадаетъ съ соотвѣтственными реченіями другихъ языковъ, есть нѣчто само по себѣ существующее, нѣчто индивидуальное, имѣющее свою исторію, и хранящее въ себѣ слѣды разныхъ положеній, въ которыхъ случалось ему находиться. Художественное чувство относится къ слову не просто какъ къ понятію, но вмѣстѣ какъ къ факту, какъ бы къ особой оживленной сущности, запечатлѣнной своимъ прошедшимъ, имѣющей свои воспоминанія и свои притязанія. Реченіе, которое по своему общему значенію могло бы годиться для того или другого употребленія, не будетъ употреблено художникомъ, если окажется къ тому препятствіе въ исторической судьбѣ слова, въ его *положеніи*, въ тѣхъ мелкихъ и едва замѣтныхъ сочетаніяхъ, съ которыми оно неминуемо является въ чутокъ умѣ.

Истинный поэтъ есть великій знатокъ языка, хотя бы и не учился никакой грамматикѣ, и въ поэтическихъ произведеніяхъ раскрываются передъ нами тайны слова и ощущается тотъ духъ, тотъ строй сознанія, который составляетъ его основу въ данное время народной жизни и образованія.

Перейдемъ теперь къ другому, весьма важному вопросу, который возникъ въ нашей литературѣ по поводу Пушкина.

II.

Мы старались показать, что самая первая и существенная цѣль искусства есть истина, что поэзія можетъ и должна быть понимаема какъ знаніе, что красота художественныхъ произведеній есть особое свойство этого знанія и основана на истинѣ. Но, спросятъ насъ, должно ли искусство ограничиваться однимъ теоретическимъ значеніемъ, или оно должно имѣть также и практическое значеніе? Этотъ вопросъ внушилъ самому Пушкину извѣстное стихотвореніе „Чернь“, о которомъ привелось намъ упомянуть выше.

Въ этомъ стихотвореніи ясно замѣтно развитіе темы, замѣтна нѣкоторая діалектика, возвышеніе тона и мысли. Чернь сначала говоритъ слѣдующее о поэтѣ:

*„Зачѣмъ такъ звучно онъ поетъ?
Напрасно ухо поражая,
Къ какой онъ цѣли насъ ведетъ?
.....
Какъ вѣтеръ пѣснь его свободна,
За то какъ вѣтеръ и бесплодна:
Какая польза намъ отъ ней?“*

Вопросъ, въ этихъ словахъ, касается самаго существованія искусства, какъ и вообще всего, что не имѣетъ внѣшней цѣли, что посвящено безкорыстному удовлетворенію высшихъ потребностей человѣческой природы. Поэтъ выражаетъ это въ рѣзкихъ стихахъ:

*Ты червь земли, не сынъ небесъ;
Тебѣ бы пользы все—на вѣсь
Кумиръ ты цѣнишь Бельведерскій.
Ты пользы, пользы въ немъ не зришь.
Но мраморъ сей вѣдь богъ!.. Такъ что же?
Печной горшокъ тебѣ дороже,
Ты пищу въ немъ себѣ варишь.*

Слѣдующее за тѣмъ возраженіе черни принимаетъ болѣе серьезный характеръ. Она не отрицаетъ высшихъ даровъ

и призваній, но требуетъ, чтобы „небесъ избранникъ“ употреблялъ свой даръ во благо ближняго, чтобы онъ исправлялъ сердца собратьевъ.

Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки:
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
А мы послушаемъ тебя.

Требованія, повидимому, весьма честныя и законныя. Но поэтъ съ новою силою гремитъ противъ черни. Онъ отрекается отъ возлагаемой на него обязанности; онъ не думаетъ, чтобы „гласъ лиры“ могъ оживить „каменѣющихъ въ развратѣ безумныхъ рабовъ, которые противны ему какъ гробы“. Негодованіе поэта оправдывается тѣмъ оттѣнкомъ, который приданъ увѣщательной рѣчи, вызывающей его на подвигъ исправленія сердецъ. Чернь исчисляетъ свои пороки вовсе не съ тѣмъ чувствомъ, которое жаждетъ исправленія. Этотъ заключительный стихъ:

А мы послушаемъ тебя,

показываетъ ясно, что шумливые требователи морали въ поэзіи очень удобно могутъ оставаться при своихъ порокахъ, и желали бы только въ воображеніи поиграть добродѣтелью. Въ человѣкѣ самомъ испорченномъ долго еще сохраняется потребность какъ нибудь возстановить въ себѣ равновѣсіе между слишкомъ сильнымъ зломъ и слишкомъ слабымъ добромъ. Не имѣя ни охоты ни силы бороться со зломъ въ своемъ сердцѣ и побѣждать наклонности воли, онъ хочетъ по крайней мѣрѣ дать въ своемъ воображеніи полный просторъ добру. Отъявленный негодяй толкуетъ иногда съ большимъ чувствомъ о чести и добродѣтели, и не всегда это бываетъ лишь однимъ лицемѣріемъ. Поэтъ, конечно, долженъ отказаться отъ такого служенія, и заключаетъ свою рѣчь исповѣдью своего истиннаго призванія:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Исповѣдь краснорѣчивая и сильная! Мы не должны однако привязываться въ ней къ каждому слову, или, съ другой стороны, видѣть въ этомъ лирическомъ движеніи точное выраженіе эстетическаго закона. Мы согласны, что въ общей исповѣди поэта выразилась невольнo личность самого Пушкина, особенность его природы и дарованія. Но основной смыслъ этихъ стиховъ, что бы кто ни говорилъ, очень вѣренъ. Да! мы не имѣемъ никакого права требовать чего либо отъ искусства свыше того, что высказывается этими немногими словами, опредѣляющими призваніе художника. Если вдохновеніе не есть пустое слово, то что же иное можетъ означать оно здѣсь, какъ не творческое созерцаніе жизни и истины? Не есть ли это то благодатное состояніе, болѣе или менѣе испытанное каждымъ, въ которое какъ бы мгновенно озаряется свѣтомъ нашъ умъ, раскрывается кругъ нашихъ обычныхъ представленій и принимаетъ въ себя нѣчто новое, сильно и животворно дѣйствующее на наше сознаніе? Коснется ли наша мысль живой сущности явленій, очнется ли въ душѣ нашей какое либо скрытно-дѣйствующее начало и внезапно озарится сознаніемъ; обозначится ли вдругъ, въ живомъ образѣ или звукѣ, наше внутреннее настроеніе, или, можетъ быть, послѣ долгихъ исканій, мысль найдетъ свое слово, цѣль свое средство; развернется ли передъ нами, въ существенныхъ очертаніяхъ, но во всей полнотѣ жизни, міръ разнообразныхъ явленій: все подобное есть даръ вдохновенія, которое хотя не есть исключительная принадлежность художника, но безъ котораго не возможна истинная поэзія. Творческое воспроизведеніе дѣйствительности въ сознаніи—вотъ вдохновеніе художника, вотъ цѣль и задача его.

Приведемъ здѣсь кстати разсказъ Пушкина о первыхъ испытанныхъ имъ минутахъ еще юнаго вдохновенія:

. Яркія видѣнья,
Съ неизъяснимою красой,
Въ часы ночного вдохновенья
Вились, летали надо мной.
Все волновало нѣжный умъ:

Цвѣтушій лугъ, луны блистанье,
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
Старушки чудное преданье;
Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ,
И тяжкимъ пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава;
Въ ней грезы чудныя рождались,
Въ размѣры стройные стекались
Мои послушныя слова
И звонкой рѣмой замыкались...

Какъ живо и истинно переданы въ этихъ словахъ первое развитіе поэтическаго дара, эти первыя разнообразныя впечатлѣнія бытія, которыя въ поэтической душѣ возбуждаютъ сродную себѣ игру представленій и находятъ въ нихъ свое выраженіе, наконецъ, этотъ пламенный недугъ, эта neodолжимая потребность осилить внутреннюю тревогу пробудившейся души и дать ей выраженіе!

Приведемъ въ заключеніе пьесу, принадлежащую къ зрѣлой эпохѣ Пушкина, пьесу, въ которой онъ еще разъ возвращается къ заключенію поэта, и которая великолѣпно дополняетъ взглядъ Пушкина на свое призваніе.

Поэтъ, не дорожи любовію народной!
Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ;
Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной,
Но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ.

Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
Не требуя наградъ за подвигъ благородный.

Онъ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой высшій судъ;
Всѣхъ строже оцѣнишь умѣешь ты свой трудъ,
Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?

Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранить
И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ,
И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ.

Но возвратимся къ вопросу о практическомъ значеніи искусства.

Вопросъ о пользѣ былъ нѣкогда неизбѣжнымъ предисловіемъ ко всякому дѣлу. Потомъ, когда заговорили о самостоятельности каждаго дѣла, проистекающаго изъ существенной потребности человѣческой природы, подобные предварительные трактаты о пользѣ подверглись осмѣянію. Но вопросъ о пользѣ можетъ имѣть болѣе глубокое значеніе, не заслуживающее осмѣянія. Все въ мірѣ связано между собою, все дѣйствуетъ одно на другое, и потому все можетъ быть взаимно полезно или вредно. Но, съ другой стороны, дѣйствовать успѣшно можетъ только то, что достаточно сильно и зрѣло въ самомъ себѣ. Каждая вещь имѣетъ свое назначеніе, и становится способною дѣйствовать лишь въ той мѣрѣ, въ какой удовлетворяетъ внутреннему закону своего существованія. Въ человѣческомъ мірѣ должны мы признать то же самое. Каждая дѣятельность хочетъ имѣть свой корень, свою область и требуетъ самостоятельнаго развитія. Она должна прежде сама развиться, и лишь потомъ можетъ оказывать вліяніе на все прочее. Хотите ли вы утолить голодъ или жажду: вы возьмете зрѣлый плодъ, а гнилой или незрѣлый будетъ бесполезенъ вамъ. Хотите ли пользы отъ науки: дайте ей полный просторъ, дайте возможность, чтобы умственные силы могли быть преданы ей вполне, такъ чтобы она образовала великій и живой организмъ, чтобы каждая существенная цѣль въ ней достигалась достиженіемъ многихъ другихъ посредствующихъ цѣлей, и чтобы каждая изъ такихъ посредствующихъ цѣлей могла стать предметомъ особыхъ стремленій и могла образовывать свой міръ. Не спрашивайте, зачѣмъ то и зачѣмъ другое; не говорите о бесполезности той или другой части: знайте, что за каждую часть отвѣчаетъ цѣлое, а цѣлое возможно лишь при полномъ и рѣшительномъ развитіи каждой части.

Вы хотите, чтобы художникъ былъ полезенъ? Дайте же ему быть художникомъ, и не смущайтесь тѣмъ, что онъ съ полнымъ усердіемъ занятъ изученіями и приготовленіями,

которыя имѣють своею единственною цѣлью дѣло искусства. Когда дѣло исполнится, когда оно явится на свѣтъ, оно непременно окажетъ вліяніе на всѣ стороны человѣческаго сознанія и жизни, и окажетъ тѣмъ сильнѣйшее вліяніе, чѣмъ болѣе будетъ соответствовать условіямъ своей внутренней природы. Не говорите, что толку въ этихъ прекрасныхъ линіяхъ, въ этихъ образахъ и звукахъ? Какая польза намъ отъ этого? Мы не будемъ отвѣчать на эти вопросы рѣзкими словами поэта, не будемъ также распространяться о важности внутренней цѣли искусства, о томъ, что минуты этого вдохновеннаго созерцанія идей и жизни сами по себѣ драгоценны; прямѣе и примирительнѣе будемъ отвѣчать этимъ суровымъ искателемъ пользы. Правда, скажемъ мы имъ, люди призваны въ міръ не для одного спокойнаго созерцанія; мы должны дѣйствовать и участвовать въ великихъ битвахъ жизни, каждый по силамъ и средствамъ своимъ; все въ человѣческомъ мірѣ стремится и дѣйствуетъ, все въ напряженіи и борьбѣ; такъ мы не будемъ терпѣть, чтобы силы, столь нужны для дѣйствія и борьбы, замыкались въ неприступной оградѣ и пребывали тамъ въ блаженномъ созерцаніи, бесплодно для всего окружающаго. Но точно ли остаются эти силы бесплодными? Точно ли изъ этихъ возвышенныхъ сферъ не истекаетъ обратное дѣйствіе на жизнь? Точно ли есть такія разобщенныя сферы, которыя бы не оказывали взаимнаго другъ на друга вліянія и не дѣйствовали на всю совокупность человѣческаго сознанія и жизни? Нѣтъ, взаимное дѣйствіе вещей можетъ быть измѣряемо не грубою оцѣнкою поверхностнаго взгляда. Дѣйствіе далеко отходить отъ своей причины, и принимаетъ безконечно разнообразныя виды и оттѣнки, такъ что отдаленное дѣйствіе, сличенное съ своею первоначальною причиною, часто оказывается вовсе на нее не похожимъ. Самыя, если позволено будетъ такъ выразиться, спеціальныя произведенія искусства не остаются безъ дѣйствія на жизнь, и дѣйствіе ихъ можетъ оказаться тамъ, гдѣ мы вовсе не ожидали его. Не думаете ли вы, что впечатлѣніе прекраснаго такъ и заглохнетъ въ эстетическомъ чувствѣ? что оно ни

во что еще не переходитъ, ни въ чемъ еще не выражается? Мы же думаемъ, что истинное образованіе невозможно безъ этого элемента, и исторія своими примѣрами подтверждаетъ наше мнѣніе. Поэзія ознаменовываетъ первое пробужденіе народа къ исторической жизни, искусство и знаніе сопутствуютъ его развитію и служатъ самымъ лучшимъ выраженіемъ силы и свойства развитія. Народы самые практическіе отличались высокимъ и сильнымъ развитіемъ умственной и художественной дѣятельности, которая, повидимому, была совершенно чужда текущихъ вопросовъ и дневныхъ интересовъ, но которая въ самомъ то дѣлѣ была совершенно необходима для успѣховъ жизни.

Скажите, откуда взялось въ жизни образованныхъ народовъ это изящество формъ и благородство общественныхъ отношеній? Мы такъ гордимся этими успѣхами гражданственности и съ такимъ ужасомъ озираемся назадъ къ тѣмъ временамъ, когда въ обществѣ еще не чувствовалось присутствіе эстетическаго начала; мы съ такимъ пыломъ готовы на всякую экспедицію для новыхъ завоеваній подъ знаменемъ этой гражданственности, такъ нами цѣнимой! А между тѣмъ изящество жизни впервые выработалось въ тѣхъ умственныхъ сферахъ, которыя казались намъ бесплодными; впервые развилось оно въ тѣхъ чистыхъ созерцаніяхъ мысли, которыя могли казаться совершенно бесполезными для жизни. Линіи Рафаэля не рѣшили никакого практическаго вопроса изъ современнаго ему быта; но великое благо и великую пользу принесли онѣ съ теченіемъ времени для жизни: онѣ могущественно содѣйствовали къ ея очеловѣченію. Дѣйствіе великихъ произведеній искусства остается не въ одной лишь ближайшей ихъ сферѣ, но распространяется далеко и оказывается тамъ, гдѣ объ идеалахъ художника нѣтъ и помина.

Представленія, образы, мысли, все это силы и весьма дѣйствительныя силы въ человѣческомъ сознаніи. Ничто не прокрадется въ нашихъ мысляхъ безъ дѣйствія, хотя бы вначалѣ и незамѣтнаго. Прекрасные образы и звуки вносятъ съ собою въ сознаніе это начало прекраснаго, ихъ

отличающее. Оно не остается только при нихъ, а мало по малу приобрѣтаетъ свое отдѣльное значеніе, становится особою силою, которая войдетъ въ безчисленные сочетанія и окажется въ самыхъ разнообразныхъ явленіяхъ нравственнаго міра. Но значеніе искусства простирается далѣе, чѣмъ признакъ прекраснаго, понимаемый въ обыкновенномъ своемъ смыслѣ. Художественная мысль, какъ и мысль познающая, открываетъ намъ внутренній взоръ на явленія жизни и черезъ то расширяетъ наше сознаніе, сферу нашего умственного господства: словомъ, могущественно способствуетъ тому, изъ за чего мы бьемся въ жизни. Требуйте отъ искусства прежде всего истины; требуйте, чтобы художественная мысль уловляла существенную связь явленій и приводила къ общему сознанію все то, что творится и дѣлается во иракѣ жизни; требуйте этого, и польза приложится сама собою, польза великая, ибо чего-же лучше, если жизнь приобрѣтаетъ свѣтъ, а сознаніе—силу и господство?

Каждый въ мірѣ стоитъ за своимъ дѣломъ, и каждый притомъ служить орудіемъ одного великаго общаго дѣла. Честный труженикъ, приводящій въ движеніе тысячи колесъ и пружинъ въ видахъ вещественнаго благосостоянія, необходимъ для нравственнаго процвѣтанія общества, не имѣетъ, можетъ быть, въ кругу своихъ обычныхъ понятій никакого прямого отношенія къ искусству и поэзіи; скорѣе можетъ показаться онъ живымъ отрицаніемъ всякой поэзіи. Но что бы онъ ни думалъ про себя, и какъ бы даже ни жаловался на безплодность отвлеченныхъ мыслей, все что есть въ его дѣлѣ по истинѣ благороднаго, живого, способнаго къ развитію и ведущаго къ успѣхамъ, это нравственное начало въ его дѣятельности, иногда самому ему неясное, но согревающее его грудь, все это связано въ дѣйствительности со многими чисто-умственными движеніями, хотя бы и чуждыми его личному сознанію.

Не заставляйте художника браться за „метлу“, какъ выразился Пушкинъ въ стихотвореніи „Чернь“. Повѣрьте, тутъ-то и мало будетъ пользы отъ него. Пусть, напротивъ, онъ дѣлаетъ свое дѣло; оставьте ему его „вдохновеніе“,

его „сладкіе звуки“, его „молитвы“. Если вдохновеніе его будетъ истинно, онъ, не заботясь, будетъ полезенъ.

Довѣримся вдохновенію истины, и будемъ требовать отъ художника, какъ и отъ мыслителя, чтобы они свято служили ей. Ненего заботиться о томъ, чтобы художникъ былъ крѣпокъ своей эпохѣ. Болѣе чѣмъ кто нибудь, онъ созданъ духомъ своего народа и духомъ своего времени, и на немъ неизгладимо означенъ ихъ образъ. Вдохновенная мысль, воспитанная стремленіемъ къ истинѣ, первая усматриваетъ признаки времени. Въ ея произведеніяхъ сами собою отражаются господствующія начала и направленія эпохи. То, что происходитъ глухо въ умахъ, обрѣтаетъ себѣ выраженіе въ поэтическомъ сознаніи, и возводится въ ясное для всѣхъ представленіе. Творческая мысль дѣйствительно владѣетъ могущественнымъ орудіемъ, и ея слово находитъ вѣрный путь къ сердцамъ; но оно только тогда бываетъ плодотворно, когда является ея свободнымъ и чистымъ выраженіемъ. Она оставляетъ по себѣ богатый запасъ запечатлѣнныхъ ею выраженій, которые становятся общимъ достояніемъ. Ими пользуется всякій, и слава Богу! Но творческая мысль пусть идетъ далѣе, и открываетъ новые пути, и дѣлаетъ новыя завоеванія. Остережемся, чтобы, вмѣсто поэта, не навязать себѣ на шею или фразера или доктринера. Фразеръ, это родъ никуда негодный, и объ немъ говорить не стоитъ; доктринеръ—дѣятель почтенный, но гораздо бы лучше ему дѣйствовать прямѣе, не прибѣгая къ формамъ художественнаго творчества. Поэма, повѣсть, драма, написанныя съ дидактическою или ораторскою цѣлью, часто только вредятъ вызвавшей ихъ мысли. Уму бываетъ въ нихъ душно, и, вмѣсто живого дѣла, часто производятъ они только томительную апатію. Лишь одинъ родъ поэзіи сближается съ искусствомъ оратора: это лирика, которую нельзя принимать за твердую форму собственно художественной дѣятельности. Лирика можетъ быть во всемъ, даже въ безмолвномъ поступкѣ, и наоборотъ, въ размѣрномъ складѣ летучаго стиха можетъ, болѣе или менѣе удачно, выразиться всякое душевное движеніе.

Источникъ разногласія въ сужденіяхъ весьма часто заключается лишь въ сбивчивости словъ. Формула: „Искусство для искусства“ можетъ въ самомъ дѣлѣ заключать въ себѣ смыслъ весьма неблагопріятный, и отъ такого смысла должны мы освободить эстетическій законъ, дающій внутреннюю цѣль явленіямъ искусства. Все непріятно-поражающее умъ въ этомъ знаменитомъ выраженіи: „искусство для искусства“, заключается въ представленіи, будто художникъ долженъ имѣть своею цѣлью только изящество исполненія, — и тутъ мы съ полнымъ правомъ восклицаемъ: нѣтъ! искусство должно имѣть какую либо болѣе существенную цѣль; пусть оно лучше оставитъ тщеславное притязаніе находить въ самомъ себѣ цѣль для своихъ явленій, и будетъ лишь простымъ и честнымъ орудіемъ для другихъ назначеній, на которыя вызываетъ его жизнь съ своими битвами и стремленіями. Но дѣло въ томъ, что искусство именно тогда-то и будетъ лишено всякой внутренней цѣли, когда художественная дѣятельность будетъ заключаться только въ искусствѣ исполненія; тогда то оно и превратится въ простое средство для достиженія постороннихъ и дѣйствительно суетныхъ цѣлей. Мы видимъ такое искусство во множествѣ литературныхъ явленій, которыхъ все назначеніе состоитъ лишь въ томъ, чтобы болѣе или менѣе пріятно занимать праздный досугъ читателя. Такое искусство видимъ мы тоже въ явленіяхъ временъ упадка, когда изсякаютъ источники всякой умственной производительности, и когда всѣ стремленія имѣютъ цѣлью только щекотать чувства, поражать эффектомъ и угождать прихотямъ вкуса. Подобныя явленія столь же мало соотвѣтствуютъ внутренней цѣли искусства, какъ и тѣ, въ которыхъ мысль прибѣгаетъ къ формамъ художественной дѣятельности для разныхъ практическихъ цѣлей. Хотя явленія этого послѣдняго рода гораздо предпочтительнѣе первыхъ въ нравственномъ отношеніи, но ни тамъ, ни тутъ нѣтъ истиннаго искусства; ни тамъ, ни тутъ не достигается та великая цѣль, въ которой состоитъ его сущность и заключается его необходимость для человѣческаго развитія. Эта цѣль есть сознаніе: художественное

Творчество есть дѣятельность мысли, приводящей къ сознанию то, что безъ ея посредства оставалось бы для него чуждымъ и нѣмымъ; дѣятельность мысли, которая вноситъ жизнь въ человѣческое сознание и сознание въ самые потаенные изгибы жизни.

И такъ, нѣтъ сомнѣнiя, что отъ искусства, въ чистомъ и существенномъ значенiи его, проистекаетъ великая польза, и мы можемъ спокойно ограничиваться ею, не навязывая художнику никакихъ практическихъ побужденiй для дѣятельности. Какое различiе между практическимъ направленiемъ мысли и направленiемъ теоретическимъ, которое должно господствовать въ художественной дѣятельности? Практически направленная мысль имѣетъ свою цѣлью непосредственно склонять къ чему нибудь волю, непосредственно побуждать людей къ поступку. Но чтобъ произвести такое дѣйствiе, мы по необходимости должны имѣть въ виду не одну только истину дѣла, а также и всѣ тѣ различныя обстоятельства, отъ которыхъ можетъ зависѣть рѣшенiе воли и особенность ея настроенiя въ данное время. Большею частiю мы бываемъ принуждены обращать вниманiе лишь на одну сторону предмета, часто должны бываемъ вовсе оставлять предметъ, и всю силу слова устремлять на обстоятельства, совершенно ему постороннiя; интересъ истины исчезаетъ; все рассчитывается только на практическое впечатлѣнiе. Мы не отрицаемъ необходимости и такого рода дѣятельности, мы съ радостiю привѣтствуемъ ее тамъ, гдѣ она встрѣчается въ достойномъ видѣ; пусть даже пользуется она для своихъ цѣлей художественными формами, но мы не хотимъ, чтобы она вытѣсняла искусство въ его собственномъ значенiи, и ставила себя на его мѣсто. Искусство, какъ и наука, дѣйствуютъ прежде всего раскрытiемъ предмета въ его истинѣ, и потомъ уже предоставляютъ самой истинѣ дѣйствовать на убѣжденiя и волю. Впрочемъ, ограждая самостоятельность искусства, мы, съ другой стороны, желали бы содѣйствовать къ уничтоженiю той исключительности, въ какой иногда понимаютъ художественность и поэзiю. Не только не должны онѣ быть связываемы съ какимъ либо особымъ способомъ

выраженія, на примѣръ, съ формою стиха, но и вообще съ извѣстными родами произведеній. Художественность и поэзія могутъ сопровождать живую творческую мысль повсюду, какова бы предмета она ни касалась. Чтобы не ходить далеко за примѣромъ, приведемъ „Записки Оренбургскаго ружейнаго охотника“ С. Т. Аксакова, или, еще ближе, вышедшую на этихъ дняхъ его же книгу „Семейная Хроника“. Это не поэма и не драма: но сколько тутъ поэзіи и какая чистая художественность въ изображеніяхъ!

Самъ художникъ вовсе не есть какое либо особенное существо. Каждый вообще даровитый человѣкъ бываетъ въ извѣстной степени и въ извѣстномъ отношеніи художникомъ, и съ поэтическимъ вдохновеніемъ можетъ быть знакомъ тотъ, кто никогда не писалъ ни стиховъ ни даже прозы.

Но не ставя художника въ исключительное положеніе и допуская художественное начало въ каждомъ болѣе или менѣе даровитомъ и развитомъ человѣкѣ, мы также считаемъ необходимымъ, чтобы въ художникѣ жилъ и развивался человѣкъ. Въ интересѣ самого искусства должно требовать, чтобы художникъ былъ развитъ и нравственно и умственно. Правда, бываетъ нерѣдко, что вдохновеніе

. озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго

и не дается усиленному труду; правда, самъ Пушкинъ оставилъ намъ другую искреннюю и печальную исповѣдь:

Когда не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ забавахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ.
Молчить его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ. . .

Такъ, это истинно; но мы можемъ утѣшить себя тѣмъ, что это только фактъ, а не законъ. Напротивъ, мы должны убѣдиться, что богатый даръ природы можетъ вполнѣ проявить себя только при условіи высокаго нравственнаго и умственнаго образованія. Пусть вдохновеніе посѣщаетъ блудящимъ огнемъ голову празднаго гуляки; еще вѣрнѣе то, что великое и всемірное можетъ быть произведено только тѣмъ, кто способенъ чувствовать великое и всемірное въ самомъ себѣ.

Давая искусству независимое значеніе, мы не освобождаемъ художника отъ обязанности заботиться о содержаніи своихъ произведеній. Мы согласны, что печать высокой художественности отличаетъ и такія произведенія, которыя предметомъ своимъ имѣютъ самыя ничтожныя явленія жизни; но, какъ бы ни было ничтожно явленіе, мысль должна стоять высоко, чтобы понимать его сущность, и, можетъ быть, тѣмъ выше должна стоять она, чѣмъ ничтожнѣе постигаемое ею явленіе. Всякое ничтожество можетъ быть художественно воспроизведено только такою мыслію, которая не останавливается на поверхности вещей, и способна видѣть каждое явленіе въ его сущности, при свѣтѣ идеи, въ глубокой, обширной и сложной связи, дающей ему интересъ для разумнія.

III.

Общее значеніе Пушкина въ нашей литературѣ было давно оцѣнено и оцѣнено весьма вѣрно. Въ немъ по справедливости видятъ представителя художественнаго начала въ русскомъ словѣ, виновника чистой и истинной поэзіи въ развитіи нашего народнаго сознанія. Противъ такой оцѣнки Пушкина слышались, можетъ быть, послышались и теперь нѣкоторыя возраженія. Не будетъ ли это несправедливостью къ предшественникамъ и современникамъ Пушкина? Были герои и до Агамемнона, были у насъ поэты и до Пушкина: что же останется для нихъ, когда мы все отдадимъ послѣднему? Не говоря уже о Ломоносовѣ, въ которомъ поэтическая дѣятельность соединялась съ дѣятельностью ученаго и

который славился въ исторіи нашего образованія болѣе какъ насадитель науки, нежели какъ поэтъ, что же скажемъ мы о Державинѣ, который въ литературѣ не имѣетъ иного значенія, кромѣ значенія поэта? А поэты ближайшіе къ Пушкину, его старѣйшіе современники, Жуковский и Батюшковъ?

Заслуги предшественниковъ Пушкина ничѣмъ такъ не могутъ быть почтены какъ признаніемъ всей важности того, что безъ ихъ дѣятельности не могло бы произойти. Пушкинъ былъ наслѣдникомъ ихъ, и оцѣнивая богатство, оставленное имъ, мы съ тѣмъ вмѣстѣ оцѣниваемъ и все то, что было ему завѣщано отъ прежнихъ дѣателей. Не было бы поэзіи Пушкина, если бы ему не предшествовали сильныя дарованія, и полная художественность его произведеній была плодомъ цѣлаго развитія, которымъ наша литература можетъ по справедливости гордиться. Въ прежнихъ поэтахъ, которыми ни мало не думаемъ мы отказывать въ этомъ титулѣ, должно признать болѣе или менѣе успѣшныя стремленія привить художественное начало къ русскому слову, болѣе или менѣе рѣшительныя приближенія къ оригинальной русской поэзіи. Каждый изъ нихъ выражалъ въ своей дѣятельности какое либо особое направленіе, и потому каждый болѣе или менѣе имѣетъ въ исторіи нашего образованія свое самостоятельное значеніе, независимо отъ вопроса о художественности своихъ произведеній.

Сначала обратимъ вниманіе на отношеніе Пушкина къ языку. Довольно простого взгляда, чтобы оцѣнить всю разницу между языкомъ Пушкина и его предшественниковъ. Никакъ не подумаешь, что Пушкинъ началъ свои первые опыты еще при жизни Державина, и еще успѣлъ принять его благословеніе:

Старикъ Державинъ насъ замѣтилъ
И въ гробъ сходя благословилъ.

Читая Пушкина послѣ Державина, чувствуешь уже по одному языку, что находишься въ другой эпохѣ. Времени протекло немного, а черта раздѣленія эпохъ уже такъ явственно, такъ рѣзко обозначилась!

Конечно, главная заслуга въ преобразованіи литературнаго языка, оказана не столько Пушкинымъ, сколько Карамзинымъ. Сверхъ того, и самую славу созданія новаго стиха Пушкинымъ раздѣляетъ онъ со многими другими старѣйшими своими современниками, особенно съ Жуковскимъ, котораго имя неразрывно связано съ именемъ Пушкина. Когда, такимъ образомъ, станемъ изучать ходъ нашей литературы во всей его постепенности, обращая вниманіе на всѣ посредствующія явленія, то не будемъ болѣе дивиться рѣзкимъ и внезапнымъ смѣнамъ эпохъ. Намъ станетъ понятно происхожденіе новаго; но явленія, въ которыхъ это новое раскрылось во всей своей силѣ, возбуждаютъ въ насъ не меньшее удивленіе. Одинъ изъ великихъ мыслителей древности сказалъ, что знаніе есть врагъ удивленію и что кто понимаетъ происхожденіе дѣла, тотъ уже болѣе не удивляется; прибавимъ: не удивляется происхожденію дѣла, но можетъ удивляться самому дѣлу въ его полномъ проявленіи. Мы можемъ вполне знать силу элементовъ, изъ которыхъ рождается вещь, но тѣмъ не менѣе ея живое появленіе поражаетъ насъ какъ нѣчто новое и неожиданное. Поэзія Пушкина, въ своихъ зрѣлыхъ произведеніяхъ, именно поражаетъ насъ такою неожиданностію, хотя мы можемъ со всею постепенностью различать и оцѣнять все, что приготвило и достойно сопровождало ея развитіе.

Въ поэтическомъ словѣ Пушкина пришли къ окончательному равновѣсію всѣ стихіи русской рѣчи. То, что теперь называемъ мы русскимъ языкомъ, есть плодъ продолжительнаго и труднаго развитія. Какъ всѣмъ извѣстно, въ древнее время письменнымъ языкомъ въ Россіи было нарѣчіе церковно-славянское. Но менѣе извѣстно то, что это нарѣчіе существенно разнилось отъ народнаго, которое долгое время не знало письменности, и лишь въ болѣе позднюю эпоху стало появляться въ памятникахъ, не имѣющихъ литературнаго значенія, преимущественно юридическихъ; мы говоримъ: менѣе извѣстно, потому что хотя различіе между церковно-славянскимъ языкомъ и языкомъ народнымъ чувствуется всѣми, и хотя теперь едва ли кто объяснитъ себѣ

эту разницу измѣненіями времени, едва ли кто видитъ въ церковномъ языкѣ древнѣйшее состояніе того же языка, который мы слышимъ въ народѣ; однако многіе еще полагаютъ, что въ семействѣ славянскихъ нарѣчій церковное принадлежитъ къ одному порядку съ народнымъ русскимъ; но нашему же убѣжденію, они принадлежатъ къ двумъ противоположнымъ вѣтвямъ общаго семейства. Вотъ почему литературный русский языкъ, слившійся изъ этихъ двухъ главныхъ стихій, долгое время представлялъ собою нестройное броженіе. Къ этимъ двумъ кореннымъ стихіямъ присоеди-
няются въ позднѣйшее время вліяніе классической грамматики, внесенной въ нашъ языкъ Ломоносовымъ и служащей основаніемъ всѣхъ образованныхъ языковъ; наконецъ, вліяніе новѣйшихъ европейскихъ литературъ.

Изящество рѣчи Пушкина вышло не изъ хаоса. Хаосъ прекратился до него, и уже до него возникъ стройный и правильный порядокъ. Но въ дѣятельности нашего поэта окончилось развитіе этого порядка; въ ней, наконецъ, успокоился внутренній трудъ образованія языка; въ Пушкинѣ творческая мысль заключила рядъ своихъ завоеваній въ этой области, раздѣлалась съ нею, и освободилась для новыхъ задачъ, для иной дѣятельности. Настоящій русский языкъ есть уже языкъ совершенно создавшійся, принявшій всѣ впечатлѣнія образующей силы, и дающій полную возможность для всякаго умственного развитія. Великое дѣло въ жизни народа установившійся литературный языкъ. Ничѣмъ такъ не скрѣпляется народное единство, какъ образованіемъ литературнаго языка. Пока еще шло это дѣло образованія, мы въ семьѣ историческихъ народовъ казались отсталыми, были робкими учениками и подражателями. Когда дѣло это совершилось, русская мысль находитъ въ себѣ внутреннюю силу для оригинальнаго живого движенія, и народная фizioномія выясняется изъ тумана.

Вспомните, какой интересъ господствовалъ въ нашей литературѣ не такъ давно, лѣтъ за сорокъ и даже за тридцать предъ симъ. Всѣ помышляли только о слогѣ. Дарованія истощали себя на устроеніе складной фразы или глад-

каго стиха. Интересъ мысли былъ дѣломъ второстепеннымъ; Умы были заняты только искусствомъ выраженія. Мысль схватывалась гдѣ попало, и никто не заботился объ ея оригинальности. Всѣ роды умственной дѣятельности поглощались словесностью; кто бы чѣмъ ни занимался, все выходило за нятіемъ словесностью, чищеніемъ слога, подборомъ прилагательныхъ и ихъ болѣе чувствительнымъ или болѣе торжественнымъ размѣщеніемъ. Въ великихъ умахъ, какъ замѣтили мы выше, трудъ надъ языкомъ былъ дѣломъ важнымъ и существеннымъ; къ тому же они имѣли столько силъ, что могли посвящать свою мысль еще и другимъ цѣлямъ. Такъ знаменитое твореніе Карамзина, будучи вѣковѣчнымъ памятникомъ созрѣвшаго языка, имѣетъ неотъемлемое значеніе, какъ первая книга народнаго самопознанія, какъ первый зрѣлый плодъ русской науки. Но указанные выше признаки того времени не теряютъ отъ того своей силы. Мы можемъ и теперь еще встрѣтить въ литературѣ нѣкоторыхъ отсталыхъ орловъ того времени. Они и теперь все тѣ же блюстители чистоты и правильности языка, какъ они себя чествуютъ; все тѣ же у нихъ приемы, та же критика, которая не видитъ ничего далѣе слога, и мѣряетъ всякое умственное дѣло грамматикой и риторикой. Но, что было въ свое время естественнымъ и законнымъ, то является теперь дикою и смѣшною аномаліею. Печально раздаются эти запоздавшіе голоса отжившаго времени. Это уже не тѣ добрые, не безъ пользы трудившіеся, почтенные любители словесности стараго времени; это ярые противники всякой живой мысли, всего что носить на себѣ отпечатокъ умственной дѣятельности, имъ непонятной и чуждой. Въ отношеніи же къ языку, нынѣшніе его блюстители совершенно бесполезны: бесполезны потому, что русскій языкъ, слава Богу! окончательно образовался, и не нуждается ни въ какихъ блюстителяхъ. Писатели, которые въ настоящее время грѣшатъ противъ духа и законовъ языка, вредятъ только своей мысли; языку же вредить отнюдь не могутъ, и заботы объ немъ совершенно излишни.

Но возвратимся къ дѣлу. Пушкинъ имѣлъ полное право сказать о себѣ:

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ:
И гордый внукъ Славянъ, и Финъ, и нынѣ дикой
Тунгусъ, и другъ степей Калмыкъ.

Множество разнообразныхъ племенъ, населяющихъ наше отечество, должны исполнѣть, умственно и нравственно, повиниться русской народности, какъ подчинены они теперь Россійскому государству. Для этихъ племенъ русская народность есть единственный путь къ человѣческому образванію, и они „назовутъ имя Пушкина.“ Пушкинъ, какъ видимъ, самъ чувствовалъ свое великое значеніе; онъ чувствовалъ, что гениемъ его завершёнъ рядъ славныхъ усилій, которыя дали русскому слову силу всемірную, силу служить прекраснымъ орудіемъ духу жизни и развитія.

Первый и главный признакъ полного равновѣсія, въ какое поэзія Пушкина привела всѣ стихіи русской рѣчи, видимы въ совершенной свободѣ ея движеній. Въ ней не осталось и слѣда той дикой застѣнчивости, съ какою реченія и формы различныхъ слоевъ языка отказывались бывало вступить въ близкую связь и служить выраженіемъ одной и той же мысли. Нѣтъ болѣе общихъ и внѣшнихъ предназначённыхъ для мысли стилей; развитіе ея можетъ происходить лишь по внутреннимъ своимъ стремленіямъ, не стѣсняясь и не руководствуясь никакими посторонними для ней соображеніями; она можетъ соединять въ себѣ самыя противоположныя оттѣнки языка, создавать свой собственный слогъ, запечатлѣнный ея внутреннимъ свойствомъ, ея особеннымъ типомъ. Такое движеніе мысли, по всѣмъ слоямъ языка съ равною легкостью, показываетъ, что борьба между стихіями языка прекратилась, что всякая напряженность въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ исчезла, что все разнородное совместилося, и что настала пора внутренняго развитія мысли, которому языкъ служитъ только органомъ, не занимая, не развлекая, не стѣняя ея своею неурядицей.

У Пушкина впервые легко и непринужденно сошлись въ одну рѣчь и церковно-славянская форма, и народное реченіе, и реченіе этимологически чуждое, но усвоенное мыслию, какъ ея собственное, ни одному языку исключительно не принадлежащее и всѣми языками равно признанное выраженіе.

Не должно думать, что образованіе нашего языка требовало изгнанія какой-либо изъ стихій его, и что оно состоитъ въ исключительномъ господствѣ той рѣчи, которая была собственностію туземныхъ славянскихъ племенъ, составившихъ въ послѣдствіи русскій народъ, той рѣчи, которую мы обыкновенно называемъ народною, въ противоположность церковно-славянской и книжной. Какъ эти племена въ первоначальную пору не были еще русскимъ народомъ, и народъ русскій образовался вслѣдствіе цѣлой исторіи, принявшей въ свой процессъ многіе разнородные элементы; такъ и русскій языкъ не состоитъ преимущественно въ той первоначальной племенной, теперь простонародной рѣчи, а столько же состоитъ и въ стихіи церковно-славянской, или, лучше сказать, не состоитъ ни въ той ни въ другой, а есть нѣчто новое, среднее, нѣчто происшедшее отъ ихъ соединенія, при многихъ другихъ историческихъ вліяніяхъ.

Благодаря освобожденію своему отъ разнородныхъ стихій языка, мысль получаетъ возможность пользоваться особенностью каждаго реченія и каждаго оборота рѣчи, и вслѣдствіе того становится способною сохранять въ выраженіи всю оригинальность и жизненность своего развитія, отпечатлѣваясь всѣми своими сторонами и вызывая всѣ сродныя ей настроенія, распространяющія ея дѣйствіе до глубины души. Въ этомъ состоитъ свойство поэтической рѣчи, которая въ своемъ теченіи касается множества струнъ, пробуждаетъ тысячу ощущеній мѣрно смѣняющихся одно другое, и своею послѣдовательностію или своимъ совокупнымъ впечатлѣніемъ выражающихъ поэтическую мысль.

Благодаря установившейся организаціи языка, въ немъ внятно слышится живая сила его духа, и творческая мысль пріобрѣтаетъ возможность сознательно договаривать то, что

еще не вполне высказалось въ языкѣ, создавать обороты и реченія, которые таятся въ началахъ и ждутъ только движенія сродной имъ мысли, чтобы явиться къ дѣлу. Инстинктъ языка становится сознательною силою.

Скажемъ еще разъ: мы не преувеличиваемъ значенія Пушкина; мы не хотимъ сказать, чтобы онъ былъ виновникомъ этой эпохи въ развитіи нашего народнаго сознанія. Но мы имѣемъ полное право сказать, что онъ былъ первымъ ея явленіемъ, что въ немъ впервые со всею энергіею почувствовалась жизнь въ русскомъ словѣ и самобытность въ русской мысли.

Оттого-то такъ радостно и весело раздавались пѣсни Пушкина. Съ неописаннымъ восторгомъ внимали всѣ этому потоку свободныхъ, легкихъ и сладкихъ звуковъ. Въ нашей литературѣ дохнуло тогда весною. Какъ все пробудилось, какъ закипѣло, какъ все обрадовалось жизни!

Въ этихъ свѣжихъ весеннихъ пѣсняхъ впервые заговорила по-русски самородная и чистая поэзія. Если стихъ Пушкина такъ разительно отличается отъ явленій предшествовавшаго времени, по отношенію къ языку, то еще болѣе отличается онъ отъ нихъ по характеру мысли и изображеній.

Мы попробуемъ, тщательнымъ анализомъ, показать силу этого различія и тѣмъ пояснить себѣ въ живомъ примѣрѣ сущность художественнаго начала.

IV.

Случалось ли вамъ испытывать то тягостное состояніе, когда сердце упорно безмолвствуетъ на призывъ когда-то милый, когда - то всевластный? то состояніе мучительной борьбы между дорогимъ воспоминаніемъ, между требованіемъ сердечной совѣсти, и безсиліемъ сердца отвѣчать виднымъ біеніемъ на это требованіе, почувствовать въ настоящемъ то, что прошло для него неозвратно, и утратило живую связь съ нимъ? Былое просится къ намъ въ душу, но пути

его заросли и забыты, и призывный голос будить только воспоминаніе, и слезами нашими искренно плачетъ только жалость, что сердце не хочетъ плакать? Вотъ случай жизни. Его, повторимъ, могъ испытать каждый, и многіе могли про себя сознать его. Но является поэтъ, и эту исповѣдь сердца возводитъ онъ до общаго сознанія; темное и глухое дѣло жизни становится свободнымъ представленіемъ. Онъ находитъ средство такъ выразить особый случай жизни, что въ душѣ каждаго произойдетъ подобіе такого состоянія. Можно было бы высказать это явленіе души, какъ общій фактъ, можно было бы сказать, какъ сказано это выше, что то-то и такъ то бываетъ. Но Пушкинъ беретъ одинъ случай изъ жизни, и изображая его, высказываетъ общій смыслъ этого явленія.

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увела наконецъ, и вѣрно надо мной
Младая тѣнь уже летала;
Но недоступная черта межъ нами есть.
Напрасно чувство возбуждалъ я:
Изъ равнодушныхъ устъ я слышалъ смерти вѣсть,
И равнодушно ей внималъ я.
Такъ вотъ кого любилъ я пламенной душой,
Съ тайнымъ тяжелымъ напряженьемъ,
Съ такою нѣжною, томительной тоской,
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ!
Гдѣ муки, гдѣ любовь? увы! въ душѣ моей
Для бѣдной, легковѣрной тѣни,
Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней
Не нахожу ни слезъ ни пени.

Дѣйствіемъ этихъ стиховъ въ душѣ нашей изображается, во всей своей особености, случай жизни, слагается подобіе того состоянія, на которомъ онъ основанъ; мы испытываемъ то же, что испытываетъ человѣкъ, дѣйствительно бывшій въ подобномъ состояніи, но испытываемъ не въ самой жизни, а въ воображеніи, въ созерцаніи, въ представленіи. Наше отношеніе къ факту, воспроизведенному искусствомъ, есть отношеніе теоретическое, то самое отношеніе, какое соста-

вляеть сущность знанія. Творчествомъ поэта тяжелая тайна сердца возводится въ свободную сферу созерцанія. Мы можемъ со всею энергіею чувствовать изображенное здѣсь состояніе, но тѣмъ не менѣе мы чувствуемъ его не какъ нѣчто дѣйствительно съ нами происходящее; мы получаемъ не связь общихъ представленій, а явленіе жизни во всей его индивидуальности, во всей, такъ сказать, его личности; мы испытываемъ жизнь, но не въ самой жизни, а въ изображеніи,—и ничѣмъ инымъ, какъ только дѣйствіемъ художественнаго изображенія, случайное явленіе дѣйствительности пріобрѣтаетъ общее значеніе. Въ художественномъ изображеніи заключается эта тайна чарующаго соединенія безконечной особенности и случайности явленія съ общимъ, существеннымъ значеніемъ.

Въ чемъ же состоитъ общій смыслъ изображенія? Въ его истинѣ. Всѣ черты изображенія дышатъ этой истиной; частный случай становится его прозрачнымъ выраженіемъ. Художникъ уловилъ въ случаѣ его сущность, и каждое слово, каждая подробность имѣетъ въ цѣломъ свою силу. На этомъ маленькомъ стихотвореніи, приведенномъ нами для анализа, мы можемъ испробовать всѣ главные эстетическіе законы. Въ этомъ примѣрѣ мы можемъ элементарно почувствовать, что значить отвлеченная формула, говорящая о воплощеніи идеи въ опредѣленной формѣ, о томъ, что художникъ представляетъ мысль въ образахъ, о сліяніи въ его творствѣ безконечнаго съ конечнымъ и т. п. Повторивъ этотъ анализъ на многихъ подобныхъ примѣрахъ, мы будемъ внѣ опасности потеряться въ отвлеченности формулъ, и будемъ понимать дѣло въ самомъ дѣлѣ. Но возвратимся къ нашему стихотворенію.

Дѣйствительно ли былъ этотъ случай съ Пушкинымъ, какъ онъ изображенъ въ приведенномъ стихотвореніи, или онъ родился въ воображеніи поэта, этого рѣшить мы не можемъ, хотя по нѣкоторымъ указаніямъ г. Анненкова можно положительно заключить, что это точно было сердца. Предположимъ однако, что именно этого случая не было съ нимъ: истина стихотворенія, его очарованіе отъ того

несколько не уменьшится. Это очарование состоитъ только въ томъ, что въ душѣ нашей изображается совершенно индивидуальное состояніе, вызывается живое чувство со всею опредѣленностью своего настроенія, вся его музыка, какъ предметъ внутренняго вниманія. Очевидно, что произведеніе поэта будетъ тѣмъ выше въ художественномъ отношеніи, чѣмъ дѣйствительнѣе будетъ его слово, то есть чѣмъ живѣе, опредѣленнѣе, индивидуальнѣе образъ. Надобно, чтобы явленіе, изображаемое поэтомъ, казалось произведеніемъ не отвлеченной мысли, а дѣйствительности; надобно, чтобы оно совершенно свободно выражало свою идею, чтобы каждая черта его, взятая порознь, была совершенно случайна, и чтобы только въ своемъ совокупномъ впечатлѣніи всѣ эти случайности становились существеннымъ выраженіемъ своей истины.

Она могла бы умереть не подъ голубымъ небомъ своей родины, могъ бы умереть кто-либо другой, могло бы, наконецъ, вовсе не быть рѣчи о смерти; для общаго смысла, который можемъ мы извлечь изъ приведеннаго стихотворенія, это было бы дѣломъ совершенно случайнымъ, и именно въ этой-то внѣшней случайности состоитъ художественное очарованіе приведенной пьески. Только жизнь можетъ вызвать наше участіе, только живое можемъ мы чувствовать, и чтобы узнать живое, надобно его почувствовать. Чѣмъ, говидимому, случайнѣе предметъ поэтическаго изображенія, тѣмъ оно индивидуальнѣе, тѣмъ глубже простирается его дѣйствіе, тѣмъ оно выше въ художественномъ отношеніи, тѣмъ плодотворнѣе, и, если хотите, тѣмъ полезнѣе, потому что оно несетъ съ собою въ эти глубины свѣтъ сознанія и покоряетъ идеѣ случайныя явленія дѣйствительности.

Послѣ этого небольшого анализа мы скажемъ уже не пустую фразу, говоря, что Пушкинъ внесъ въ наше образованіе начало художественное, начало чистой поэзіи. Мы можемъ теперь передать смыслъ этой фразы другими, болѣе ясными словами: Пушкинъ, можемъ мы сказать, впервые въ исторіи нашего умственнаго образованія коснулся того, что составляетъ основу жизни, коснулся индивидуальнаго,

личнаго существованія. Русское слово въ лицѣ Пушкина нашло путь къ жизни и приобрѣло способность выражать дѣйствительность въ ея внутреннихъ источникахъ. До него поэзія была дѣломъ школы; послѣ него она стала дѣломъ жизни, ея общественнымъ сознаніемъ. Потому-то Пушкина и называли первымъ народнымъ поэтомъ нашимъ. Онъ былъ дѣйствительно народнымъ поэтомъ, хотя не въ томъ смыслѣ, что бралъ предметы своихъ произведеній изъ среды въ тѣснѣйшемъ смыслѣ народной. Пушкинъ, какъ извѣстно, въ этомъ смыслѣ не народенъ. Общій инстинктъ назвалъ его народнымъ потому, что въ немъ съ особенною силою почувствовалось живое и оригинальное движеніе мысли въ русскомъ словѣ.

Вотъ еще стихотвореніе, которое имѣетъ въ себѣ нѣчто родственное съ приведеннымъ, хотя и отдѣляется отъ него значительнымъ промежуткомъ времени: первое относится къ 1825 или 1826 году, а то, которое, мы выписываемъ здѣсь, къ 1830.

Для береговъ отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
Въ часть незабвенный, въ часть печальный
Я долго плакалъ предъ тобой.
Мои хладѣющія руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшнаго разлуки
Мой стонъ молилъ не прерывать.

Но ты отъ горькаго лобзанья
Свои уста оторвала;
Изъ края мрачнаго изгнанья
Ты въ край иной меня звала.
Ты говорила: въ день свиданья
Подъ небомъ вѣчно-голубымъ,
Въ тѣни оливъ, любви лобзанья

Мы вновь, мой другъ, соединимъ.
Но тамъ, увы, гдѣ неба своды
Сіяютъ въ блескѣ голубомъ,
Гдѣ подъ скалами дремлютъ воды,
Заснула ты послѣднимъ сномъ.

Твоя краса, твои страданья
Исчезли въ урнѣ гробовой—
Исчезъ и поцѣлуй свиданья...
Но жду его: онъ за тобой.

Въ чемъ заключается невыразимое очарованіе этого стихотворенія? Въ индивидуальности минуты, въ немъ изображенной. Оно дышитъ чѣмъ то своимъ, чѣмъ то совершенно особеннымъ. Эта минута есть нѣчто единственное въ своемъ родѣ, нѣчто до безконечности оригинальное. Въ этихъ немногихъ строкахъ цѣлая повѣсть. Читая ихъ, вы чувствуете, какъ на душѣ вашей слагается это полное мгновеніе, которое вы потомъ отличите отъ тысячи другихъ. Вы никогда не забудете этого настроенія. Поэзія овладѣла этою минутою, и принесла ее въ даръ общему сознанію. Для мысли нашей нѣтъ большей радости, какъ выйти изъ своего одиночества и найтись въ жизни, и чѣмъ индивидуальнѣе, чѣмъ особеннѣе предметъ сознанія, тѣмъ глубже наше наслажденіе. На этомъ-то чувствѣ индивидуальности и основано очарованіе искусства.

Намъ скажутъ: что же за важность въ вашихъ личныхъ состояніяхъ? и зачѣмъ прибѣгать для этого къ поэзіи, когда мы въ жизни можемъ сколько угодно даромъ наслаждаться ихъ сознаніемъ? Все замѣчательное, что съ нами бываетъ и что происходитъ въ насъ, сопровождается болѣе или менѣе своимъ сознаніемъ. Но въ томъ то и дѣло, что все въ жизни сопровождается *своимъ* сознаніемъ, и каждый человѣкъ имѣетъ *свое* сознаніе. Такое частное, личное сознаніе недостаточно: оно невольная принадлежность жизни и ничѣмъ отъ ней не отличается. Оно не умѣетъ высказаться. Вотъ внезапное горе постигло человѣка: подхватите слово, которое вырвется у него невольно. Рядъ междометій или хотя бы и болѣе знаменательныхъ словъ, хотя бы, наконецъ, цѣлый потокъ краснорѣчія, обыкновенно представляють самый неопредѣленный смыслъ, простое общее мѣсто. Они сами принадлежать къ тому состоянію, которое ихъ вызвало, и необходимо другого рода сознаніе, чтобы уразумѣть или изобразить это состояніе. Такое сознаніе есть

дѣло свободной мысли, которая раскрывается въ томъ, что мы называемъ просто знаніемъ, а также въ искусствѣ и поэзій; такое сознаніе есть общая сила, властвующая надъ отдѣльными умами, и служащая средою для ихъ сближенія. Все развитіе, все образованіе совершается въ этомъ общемъ сознаніи и черезъ него. Говорять, что художникъ выражаетъ какую-либо общую мысль въ образахъ. Это выраженіе не совсѣмъ точно, и можетъ быть не вѣрно понято. Иногда, дѣйствительно, общій смыслъ дѣла ясно обнаруживается въ художественномъ произведеніи, какъ, на примѣръ, въ первой приведенной нами пьесѣ Пушкина; но иногда бываетъ почти невозможно перевести поэтическую прелесть изображенія на языкъ отвлеченныхъ понятій. Такъ, на примѣръ, просимъ — попробовать это на стихотвореніи „Для береговъ отчизны — дальней“. Безъ сомнѣнія, тутъ есть идея; но извлечь ее — изъ этихъ звуковъ и образовъ трудно, не разрушая ихъ очарованія. Есть идея въ прекрасномъ человѣческомъ лицѣ, — есть идея въ прекрасномъ пейзажѣ, но какъ выразите вы эту идею отвлеченными понятіями, общими словами? Художникъ уловляетъ ее въ своемъ изображеніи. Художественное изображеніе явленій жизни, возводя ихъ въ общее сознаніе, тѣмъ самымъ даетъ имъ общее значеніе. Идея не состоитъ непременно въ отлеченныхъ формулахъ или сентенціяхъ. Жизнь и живое сознаніе, вотъ гдѣ находятъ идея свое глубочайшее выраженіе. Пьеса Пушкина, которая такъ крѣпко замкнута въ себѣ, такъ упорно противится анализу, тѣмъ не менѣе проникнута идеальнымъ значеніемъ. Откуда же и самая глубина производимаго ею впечатлѣнія, которое сотрясаетъ столько струнъ въ душѣ, возбуждаетъ въ ней столько движеній? откуда и это единство, эта гармонія, откуда сліяніе всѣхъ этихъ звуковъ, всѣхъ этихъ душевныхъ движеній въ одно цѣльное настроеніе, въ одну рѣчь, понятную всякой живой и разумѣющей душѣ? Каждое слово въ этомъ стихотвореніи дѣйствуетъ на душу и могущественно вызываетъ изъ сердечной глубины всѣ тѣ тонкія чувствованія, которыя въ своемъ сліяніи изображаютъ идею стихотворенія. Вдали, какъ основа картины, чувствуется бла-

годатный край юга, край жизни и любви. Съ этимъ яркимъ аккордомъ сливается мысль о печальной странѣ изгнанія, и посреди этого общаго настроенія разыгрывается сцена... Поэтъ не ограничился простымъ извѣщеніемъ о своемъ чувствѣ, онъ передалъ всю особенность его проявленія, и передалъ двумя, тремя чертами, которыя представили намъ живой образъ, проникнутый всею силою „печального“ мгновенія. Какъ сильно дѣйствуютъ эти простые слова: „Я долго плакалъ предъ тобой“! Какая истина въ этомъ движеніи ладящихся рукъ, въ этомъ стонѣ, умоляющемъ продлить томительную минуту разставанія! Какъ слышится въ поэзіи этой сцены присутствіе нѣжнаго, милаго женскаго существа! Ни одною чертою не обозначенъ ея образъ, но онъ невольно чувствуется вами. Какъ хорошо и какъ встаетъ, что именно *она* прерываетъ „это страшное томленіе разлуки“! Женскому чувству особенно свойственно хранить мѣру въ самомъ увлеченіи; женскому чувству сроднѣе, чѣмъ мужскому, остановиться въ порывѣ и замкнуться въ самоотреченіи или въ надеждѣ. Какою тихою прелестью звучать въ ея устахъ слова утѣшенія и надежды! Надежды не сбылись, она умерла подъ голубымъ небомъ своей родины, и прощальныя слова поэта запечатлѣны чудною нѣжностью и вмѣстѣ важностью. При строгой мысли о смерти, чувство поэта помнить еще объ обѣщанномъ поцѣлуѣ свиданія; это нѣжное чувство устояло передъ скорбною торжественностію минуты. Бѣдное сердце человѣческое не потерялось, не отреклось отъ своихъ правъ и предъ зіяющею бездною смерти.

Однако мы не можемъ вовсе уклониться отъ вопроса, въ чемъ же состоитъ идея этого стихотворенія? что даетъ ему внутренній и существенный интересъ? Вопросъ этотъ тѣмъ настоятельнѣе, что выбранное нами стихотвореніе служитъ характеристическимъ образчикомъ поэзіи Пушкина.

Конечно, было бы нелѣпо переводить живую лирическую пьеску на языкъ отвлеченныхъ сентенцій, подъ видомъ раскрытія ея идеи, и умерщвлять поэзію, подъ предлогомъ объясненія ея смысла. Но очень можно и должно показать, подъ какимъ небомъ распустился благоухающій цвѣтокъ,

изъ какой почвы произошла прелесть его красокъ. Вобщее начало отражается въ отдѣльной пѣснѣ, и слѣдующимъ скромнымъ путемъ наведенія, мы отъ малаго примѣра можемъ сдѣлать заключеніе къ той системѣ сознанія, которая была внесена въ наше образованіе поэзіей Пушкина.

Небольшая разсмотрѣнная нами пѣска, вмѣстѣ съ другими родственными ей звуками лиры Пушкина, есть выраженіе великой идеи, идеи, для которой много работала исторія. Это идея человѣческой личности, это права человѣческаго сердца. Звуками Пушкина предъявлены были эти права въ нашемъ общественномъ сознаніи; его поэзіей, преимущественно, эта идея была усвоена русской жизни. Не удивляйтесь, что мы коснулись такого тяжелого вопроса, по поводу такой легкой вещицы, такого мелкаго стихотворенія, или хотя бы цѣлаго ряда такихъ стихотвореній, — подумайте, что и ничтожный цвѣтокъ, который вы бросаете, подышавъ его запахомъ, есть произведеніе многихъ великихъ силъ природы, что онъ свидѣлствуетъ также о цѣлой системѣ зиждительныхъ началъ и о великой подземной работѣ.

Все человѣческое, и сердце человѣческое, какъ глубочайшая основа жизни, имѣетъ свои безсмертныя права и свою великую цѣнность. Но была нужна цѣлая исторія, чтобы эти права пріобрѣли силу въ сознаніи и жизни, чтобы эта цѣнность достигла всеобщаго признанія. Никакое общественное состояніе не можетъ быть удовлетворительно, въ которомъ не признана вполнѣ и свято человѣческая личность, никакое дѣло не можетъ имѣть полнаго человѣческаго достоинства, если оно не запечатлѣно нравственною свободою лица, если не коренится въ убѣжденіяхъ сердца. И вотъ за многими великими идеями, которыя осуществляются въ историческомъ движеніи общества, приходитъ чередъ и до признанія правъ человѣческаго сердца, до признанія его интересовъ въ нихъ самихъ, безъ отношенія ко всему иному, что можетъ направлять ихъ въ разныя стороны и давать имъ еще особую цѣнность. Если самостоятельность личнаго существованія необходима для общества,

о она, прежде чѣмъ можетъ проявить себя въ общественныхъ направленіяхъ, должна быть признана безотносительно : безкорыстно. Съ признаніемъ правъ человѣческой личности вообще, нераздѣльно и признаніе правъ женщины. Безъ женщины не можетъ быть истинно-человѣческаго общества; безъ женской стихіи не можетъ быть истинно-человѣческой жизни и истинно-человѣческаго сердца. Здѣсь красота и оозія жизни, въ тѣснѣйшемъ значеніи этихъ словъ, и нѣтъ въ мірѣ нельзя замѣнить эту стихію тамъ, гдѣ ея не остается.

Развитіе и образованіе не создаютъ сердца. Личность человѣческая существуетъ и тамъ, гдѣ права ея не признаны. Глубокіе звуки любви слышатся намъ и въ безыскусственной пѣснѣ простыхъ дѣтей природы. Но дѣло не въ этомъ: дѣло въ томъ, чтобы *существующее* было понято и признано какъ нѣчто *существенное*, какъ начало, какъ право.

Однимъ изъ первыхъ дѣлъ общественнаго образованія у насъ было освобожденіе женщины изъ домашняго заключенія. Преобразователь Россіи, съ свойственною ему пылкостью и энергіею, принудительно требовалъ появленія женщинъ въ учрежденныхъ имъ ассамблеяхъ. Но прошло болѣе столѣтія прежде, чѣмъ общественное сознаніе могло раскрыться для принятія того начала, которое грубо знаменуется этимъ фактомъ. Иноземными вліяніями вносились въ умы представленія, вытекавшія изъ обще-человѣческаго образованія; но они были мертвою реторикою въ нашей словесности. Справедливо была замѣчена, въ ходѣ нашего образованія, историческая важность легкихъ произведеній Карамзина, его сентиментальныхъ стихотвореній, его „Лизина Пруда“. Еще болѣе важности имѣлъ въ этомъ отношеніи Жуковский. Но все это носило болѣе или менѣе подражательный характеръ, все это лишено было художественной силы; все это было или призраки, блѣдныя тѣни, или общія мѣста; все это было только выраженіемъ потребности, но не было ея удовлетвореніемъ.

Сравните, чтобы не ходить далеко, приведенныя нами

стихотворенія Пушкина со всѣмъ, что въ этомъ родѣ было писано до него, со всѣми Темирами, Плѣнирами и т. п. Между тѣмъ и другимъ цѣлая бездна. Вы смѣтаетесь, читая какое-нибудь изъ сентиментальныхъ стихотвореній стараго времени, но оно писано не для смѣха; очень можетъ быть, что чувствительный поэтъ точно орошалъ слезами струны своей лиры; можетъ быть, онъ и дѣйствительно что-нибудь чувствовалъ, и въ его воображеніи точно носился образъ Плѣниры. Но стихотвореніе не имѣетъ никакой силы; оно не производитъ въ душѣ ничего опредѣленнаго, ничего не изображаетъ, между тѣмъ какъ произведеніе художественное заключаетъ съ себѣ силу, изображающую въ душѣ нѣчто особенное. Стихотворенія, лишенные художественнаго достоинства (какихъ, впрочемъ, есть много и у самого Пушкина), значать что-нибудь только въ совокупности, въ массѣ, какъ выраженіе какого-нибудь интереса, возникающаго въ общественномъ сознаніи, или какъ общая характеристика времени, или, наконецъ, по технику, по языку; но каждое изъ нихъ, взятое отдѣльно, ничего не выражаетъ и ничего не значитъ. Такого рода произведенія блѣднѣютъ и исчезаютъ съ теченіемъ времени. Произведеніе же художественное не умираетъ, какъ бы ни казалось оно незначительнымъ по своему объему и даже по содержанію. Оно и не старѣетъ, и стихъ поэта, отдаленнаго отъ насъ тысячелѣтіями, звучитъ въ душѣ такъ же свѣжо, какъ въ свое время; а это потому, что въ немъ заключена сила, заставляющая насъ почувствовать нѣчто особое, нѣчто свое, сила, дѣйствующая на душу всякаго развитого человѣка, въ комъ есть элементы, необходимые для образованія психическихъ сочетаній, которыхъ требуетъ идея художника.

Итакъ если признаніе правъ человѣческаго сердца было и у насъ давнею потребностію, то полное удовлетвореніе себѣ нашла она впервые въ поэзіи Пушкина. Вотъ главная идея его поэзіи, существенное значеніе его лирики, и вотъ истина, которая утверждена была имъ въ общественномъ сознаніи.

V.

Не все, оставленное намъ Пушкинымъ, имѣеть равное достоинство; есть много въ его произведеніяхъ, что имѣеть интересъ только по отношенію къ языку, и что даже вовсе не имѣеть интереса. Такъ, напримѣръ, мы всегда съ неприятнымъ чувствомъ перелистываемъ, въ полномъ собраніи сочиненій Пушкина, большую часть его лицейскихъ стихотвореній. Намъ пришлось бы, можетъ быть, поспорить по этому поводу съ почтеннымъ издателемъ сочиненій Пушкина. Намъ кажется, что дѣтскіе опыты музы Пушкина не заслуживали бы мѣста на ряду съ произведеніями, составляющими его славу и богатство русской литературы. Мало ли что могло быть написано великимъ поэтомъ, не только въ школьные годы, но даже и въ зрѣлую пору жизни? Только по истинѣ достойное должно, по нашему мнѣнію, войти въ собраніе, хотя бы и полное, сочиненій писателя; все же прочее могло бы найти себѣ мѣсто или въ матеріалахъ его біографіи или въ особомъ приложеніи. Но мы не будемъ настаивать на этомъ мнѣніи, и не хотимъ спорить о такомъ несущественномъ пунктѣ съ издателемъ, который вдумывался въ планъ своего предпріятія, и вѣроятно на какомъ-нибудь основаніи рѣшился поступить такъ, а не иначе.

По особенной природѣ своего генія, Пушкинъ былъ поэтъ мгновенія. Его даръ состоялъ въ изображеніи отдѣльных состояній души, отдѣльных положеній жизни. Онъ воспроизводилъ движенія сердца во всей полнотѣ жизни и истины; основное настроеніе даннаго момента умѣлъ онъ возводить до типичнаго выраженія. Но не было въ его дарованіи переходить въ непрерываемомъ развитіи отъ положенія къ положенію, изъ одного момента выводить другой. Напрасно стали бы мы искать у Пушкина полныхъ характеровъ: лица, выводимыя имъ, большею частію исчезаютъ въ поэзіи отдѣльных мгновеній, или служатъ только внѣшней связью, соединяющею различныя положенія жизни. Пушкинъ не обладалъ даромъ созерцать въ единствѣ многообразіе явленій;

для него все сосредоточивалось въ отдѣльномъ моментѣ. Исчерпавъ одно, онъ обращался къ другому, и въ цѣломъ ходѣ его повѣствованія или драматическаго движенія рѣдко мы усматриваемъ внутреннюю послѣдовательность. Цѣлое всегда распадается у него на отдѣльныя положенія и сцены, но такъ однако, что каждая часть представляетъ собою нѣчто относительно цѣльное. Вспомнимъ, какъ любилъ Пушкинъ форму драматическихъ сценъ, изъ которыхъ, по самому свойству его природы, не развивалось полного драматическаго движенія, но въ которыхъ тѣмъ не менѣе, съ удивительною полнотою и силою, изображаются часто довольно сложные отношенія, раскрывается съ художественною истиною психическое состояніе и со всею индивидуальностью изображается положеніе жизни. Таковы „Скупой Рыцарь“, „Моцартъ и Сальери“, „Каменный Гость“, „Русалка“, и др. Единственное полное драматическое произведеніе Пушкина „Борисъ Годуновъ“ въ сущности вовсе не есть драма, а представляетъ собою только рядъ внѣшнимъ образомъ связанныхъ между собою сценъ. Но зато эти отдѣльныя сцены отличаются удивительною художественностью.

Что видимъ въ произведеніяхъ драматическихъ, то находимъ и въ повѣствовательныхъ произведеніяхъ Пушкина. Вездѣ отдѣльные моменты, изображенія отдѣльныхъ положеній, нигдѣ нѣтъ послѣдовательнаго развитія. Либо цѣлое распадается на эпизоды, и повѣствованіе служитъ нитью, на которой нанизывается великолѣпный рядъ картинъ, очерковъ, образовъ, лирическихъ мѣстъ. Таковъ „Евгеній Онегинъ“, любимое дитя фантазіи Пушкина, и дѣйствительно самое полное выраженіе всѣхъ особенностей его генія; такой же характеръ имѣетъ „Русланъ и Людмила“, „Полтава“. Либо вся поэма представляетъ собою одно какое-либо положеніе, богато обставленное разнообразными подробностями. Таковы: „Кавказскій Плѣнникъ“, „Бахчисарайскій Фонтанъ“, „Цыганы“, „Мѣдный Всадникъ“, и пр. Либо поэтъ, замысливъ цѣлое, остается при началѣ или при какомъ-нибудь отрывкѣ изъ замышленнаго повѣствованія; замыселъ не раз-

живається, и поэтъ останавливается на какомъ-либо моментѣ, который болѣе и сильнѣе всего прочаго занялъ его мысль: таковы всѣ эти отрывки или начала поэмъ, которыхъ такъ много у Пушкина; сюда относятся „Галубъ“, отрывокъ или два отрывка, которые стоятъ многихъ цѣлыхъ поэмъ по удивительной художественности образовъ и стиха; превосходная пьеса, называемая въ изданіяхъ „Началомъ Поэмы“ („Стамбуль гяуры нынѣ славятъ“) и пр.

Въ прозаическихъ повѣстяхъ своихъ Пушкинъ какъ бы преодолагаетъ эту особенность своей природы и пробуетъ вести связанный рассказъ отъ начала до конца; но дарованіе его падаетъ подъ этимъ усиленіемъ. Рассказы его, по большей части, вялы и безцвѣтны. Кто что ни говори о красотахъ „Повѣстей Бѣлкина“, мы, съ своей стороны, не видимъ въ нихъ большого достоинства; это простые рассказы, не отличающіеся даже и внѣшнею занимательностію. Хвалятъ въ нихъ языкъ; дѣйствительно, языкъ въ нихъ гладокъ, чистъ и правиленъ, свободенъ отъ реторики: но что это за качества, когда рѣчь идетъ о произведеніяхъ такого таланта, какъ Пушкинъ? Выше „Повѣстей Бѣлкина“ рассказы „Дубровский“ и „Пиковая Дама“; но особеннаго достоинства, признаемся, не видимъ мы въ этихъ рассказахъ. Фигура Германа, въ послѣднемъ, набросана бойко, но имѣетъ только достоинство эскиза; вся повѣсть представляетъ два-три интересныя положенія, и только. Намъ кажется, что сюжетъ этой повѣсти много бы выигралъ, еслибъ Пушкинъ изложилъ его не въ прозѣ, а въ стихахъ. Только въ мѣрной рѣчи нашъ художникъ умѣлъ творчески выражать самыя живыя особенности чувства; только увлекаясь мѣрнымъ движеніемъ слова, мысль его выражалась откровенно, только въ стихѣ освобождалась она отъ какой-то стыдливости, отъ какой-то сжатости и холодности. Пушкину, который такъ много черпалъ изъ тайниковъ собственнаго сердца и изъ опыта жизни, Пушкину была особенно пужна искусственная форма стиха. Какъ оркестръ и рядъ лампъ отдѣляютъ въ театрѣ сцену отъ зрителей, такъ рядъ риѳъ и музыкальность стиха ставятъ поэта въ нѣкоторое разобщеніе съ дѣй-

ствительностію; мысль его отдѣляется отъ неволи жизни и возносится на ту идеальную высоту, съ которой свободнѣе можетъ она обращаться къ явленіямъ жизни и извлекать изъ нихъ языкъ страсти, боли и радости. Такъ сценическій художникъ, съ удивительною силою страсти, съ поразительною истиною всѣхъ ея оттѣнковъ дѣйствующій подмантию героя, является, сошедши со сцены, самымъ простымъ и нерѣдко самымъ прозаическимъ смертнымъ. Чтобы представить какое-либо душевное движеніе, художнику нужно имѣть въ собственной душѣ, въ исторіи своего сердца, элементы этого движенія, и творчество его состоитъ въ томъ, чтобы приводить эти элементы въ такія сочетанія, какія требуются идеею представляемаго характера и положенія. Пушкинъ не любилъ касаться этихъ внутреннихъ струнъ, иначе какъ въ оградѣ стиха. По свойству его природы, чувствованія, хранившіяся въ его душѣ, какъ результаты его личнаго опыта, все извѣданное и пережитое имъ въ собственномъ сердцѣ не легко переносилось въ новыя сочетанія, не легко входило въ составъ новыхъ творческихъ образованій. Быль сердца по большей части восходила у него къ своему прямому выраженію. Все въ ней оставалось какъ бы на своемъ мѣстѣ, и восходя изъ жизни въ поэтическое представленіе, только очищалось отъ всего посторонняго и несущественнаго. Вотъ почему Пушкина можно назвать по преимуществу поэтомъ лирическимъ. Но никакъ нельзя сказать, чтобъ Пушкинъ въ своихъ произведеніяхъ изображалъ только самого себя. Онъ могъ уловлять жизнь въ самыхъ разнообразныхъ проявленіяхъ, и даже въ проявленіяхъ совершенно чуждыхъ ему лично; но образъ, возникавшій въ его фантазіи, удовлетворялъ его своимъ мгновеннымъ появленіемъ, и онъ не развивалъ схваченнаго момента.

„Капитанская Дочка“ составляетъ блистательное исключеніе изъ повѣствовательной прозы Пушкина. Въ этой повѣсти есть развитіе, цѣлость и много прекраснаго. Занятіе матеріалами для исторіи Пугачевского бунта не осталось въ Пушкинѣ бесплоднымъ. „Капитанская Дочка“ не-

сравненно болѣе знакомить насъ съ эпохою, мѣстами и характеромъ лицъ и событій, нежели самая исторія Пугачевского бунта, написанная Пушкинымъ. Удивительная вѣрность изображеній была новостью въ нашей литературѣ. Послѣ „Бориса Годунова“ повѣсть эта явилась новымъ доказательствомъ способности Пушкина воссозидать бытъ прошедшихъ временъ. Но и здѣсь главное достоинство все же заключается не въ развитіи цѣлаго, а въ подробностяхъ и отдѣльныхъ положеніяхъ. Образъ Пугачева намѣченъ мастерски: это одна изъ самыхъ цѣльныхъ характеристикъ у Пушкина. Прочія лица въ этой повѣсти: сама героиня, ея отецъ и мать, Савельичъ, также хороши по замыслу и по исполненію. Но какъ ни сильно поддерживало, какъ ни возбуждало производительную силу повѣствователя обиліе матеріаловъ, изъ которыхъ выработанъ этотъ рассказъ, оно не могло однако вполне замѣнить то, чего не доставало самой природѣ его дарованія. И „Капитанская Дочка“, изобильная прекрасными частностями, не составляетъ опредѣленнаго и сильно организованнаго цѣлаго. Въ рассказѣ нельзя не замѣтить той же самой сухости, которою страдаютъ всѣ прозаическіе опыты Пушкина. Изображенія либо слишкомъ мелки, либо слишкомъ суммарны, слишкомъ общи. И здѣсь также мы не замѣчаемъ тѣхъ сильныхъ очертаній, которыя даютъ вамъ живого человѣка, или изображаютъ многосложную связь явленій жизни и быта.

Не одно природное свойство дарованія Пушкина было виною указаннаго недостатка въ его произведеніяхъ; виною тому, конечно, было также и недостаточное развитіе умственныхъ и нравственныхъ интересовъ въ общественномъ сознаніи, котораго органомъ былъ Пушкинъ. Чтобы постигать многообразіе жизни, надобно обладать обширною и богатою системою воззрѣній. Каждая сторона жизни требуетъ особаго воззрѣнія и особаго интереса. Что бы ни происходило въ насъ и вокругъ насъ, все пропадаетъ даромъ для нашего разумѣнія, если въ насъ не окажется замѣчающихъ, наблюдающихъ, постигающихъ понятій. Весьма естественно, что у Пушкина такъ часто, или лучше сказать почти всегда,

обрывалась нить развитія въ изображеніяхъ; обрывался интересъ, изсякало вдохновеніе, недоставало понятій, чтобъ слѣдить за дальнѣйшимъ ходомъ дѣла.

Есть у Пушкина одно стихотвореніе, въ которомъ случайно, но очень вѣрно и очень живо, характеризуется замѣченная нами особенность его дарованія. Мы разумѣемъ превосходное стихотвореніе „Осень“, написанное имъ въ 1830 году, въ самую зрѣлую эпоху его развитія. Обрисовавъ живыми чертами времена года и свою любимую осень, въ которую онъ чувствовалъ всегда съ особенною силою призывъ къ творчеству, поэтъ изображаетъ свое состояніе въ эти минуты, которымъ мы обязаны его произведеніями.

Душа стѣсняется лирическимъ волненіемъ,
Трепещетъ, и звучитъ, и ищетъ какъ во снѣ,
Излиться наконецъ свободнымъ проявленіемъ—
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.

И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,
И рѣшмы легкія навстрѣчу имъ бѣгутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ,
Минута, и стихи свободно потекутъ.
Такъ дремлетъ недвижимъ корабль въ недвижной влагѣ.
Но чу... матросы вдругъ кидаются, ползутъ,—
Вверхъ, внизъ—и паруса надулись вѣтра полны:
Громада двинулась и разсѣкаетъ волны.

Плыветъ... куда-жъ намъ плыть?..

На этомъ стихѣ прерывается стихотвореніе, и этотъ видъ неоконченности еще усиливаетъ знаменательность образа. Все готово къ отплытію,—но куда плыть? Кажется, даны были всѣ условія для обширнаго и могущественнаго творчества, но что-то задерживало развитіе. Насталъ его мигъ вдохновенія, все живо заговорило въ душѣ поэта; но едва успѣла мысль его двинуться впередъ, какъ мигъ прошелъ, передъ нею безвѣстный путь; ничто не ма-

хитъ далѣе—плыть некуда, и мысль остается на прежнемъ мѣстѣ, въ ожиданіи новаго мгновенія, и то же повторится, когда оно наступитъ. Блеснетъ мгновеніе, и изольется вдохновеннымъ словомъ; но оно исчезнетъ, не оставивъ поэту путеводной идеи для его воображенія.

VI.

Перейдемъ теперь къ вопросу о томъ, развивался ли, и въ какой мѣрѣ развивался талантъ нашего поэта съ теченіемъ времени?

Появленіе „Руслана и Людмилы“ поразило и привело всѣхъ въ неописанный восторгъ. Свѣжесть и свобода языка, юная, почти дѣтская безпечность и рѣзвость мысли, граціозные очерки, — все дышало чѣмъ-то новымъ и неслыханнымъ. И теперь еще, перечитывая эту поэму, мы легко переносимся воображеніемъ въ первое время пушкинской поэзіи, легко поддаемся тому обаянію, какое должна была производить эта поэма на современное поколѣніе. Это обаяніе проснувшейся жизни не исчезло вмѣстѣ съ минутою появленія этой поэмы; она уноситъ его съ собою и въ потомство. Очень естественно, что Пушкина называли по преимуществу творцомъ „Руслана и Людмилы“: позднѣйшія болѣе зрѣлыя произведенія его не могли изгладить первое впечатлѣніе, произведенное имъ на общественное сознаніе. Содержаніе его ничтожно: это пустая сказка, ни на чемъ не основанная; герои не запечатлѣны никакимъ опредѣленнымъ характеромъ мѣста и времени, это какіе-то воздушные призраки. Внутренняго творчества въ ней нѣтъ; но есть творчество выраженія; въ ней слышится слово, которое вырвалось на вольный просторъ жизни; реченія и обороты языка являются здѣсь во всей чистотѣ и силѣ своей. Къ тѣмъ мысленнымъ движеніямъ, которыя вызываются ими въ читателѣ, не примѣшивается ничего искажающаго и стѣсняющаго ихъ раскрытіе. Эти движенія раскрываются съ тою непринужденностью и тою чистотою, на которыхъ основано чувство граціи и красоты. Чтобы на самомъ дѣ-

лѣ почувствовать это значеніе новаго слова, полезно слѣ-
чить языкъ „Руслана и Людмилы“ съ старѣйшимъ произ-
веденіемъ русской словесности, которое приближается къ
нему по своему характеру и въ свое время пользовалось
большою славою. Мы разумѣемъ „Душеньку“ Богдановича.
Нельзя не признать нѣкотораго достоинства и въ этой по-
эмѣ. Содержаніе, какъ извѣстно, заимствованное Богдано-
вичемъ изъ Лафонтена, лучше и интереснѣе содержанія
„Руслана и Людмилы“. Но способъ выраженія въ поэмѣ
Богдановича свидѣтельствуетъ еще о неустановившемся бро-
женіи языка. Между этимъ словомъ и нашею мыслию нѣтъ
прямой и живой связи. Часто воображеніе наше отказывает-
ся представить то, чего требуетъ это слово. Образъ, кото-
рый по своему замыслу долженъ бы былъ раскрыться съ
легкою и идеальною граціею, даетъ точно такъ же чувство-
вать себя какъ чувствуется нами претензія полуобразован-
ной женщины на грацію и прелесть манеръ. Малѣйшее укло-
неніе отъ истинной нормы движенія производитъ на насъ
непріятное впечатлѣніе, и не только лишаетъ образъ поэти-
ческаго очарованія, не только отнимаетъ у него силу дѣй-
ствовать пріятно, но сообщаетъ ему силу дѣйствовать въ
обратномъ отношеніи, въ смыслѣ противоположномъ его идеѣ.
Передайте нѣкоторыя мѣста изъ поэмы Богдановича на ка-
кой-нибудь иностранный языкъ, они могутъ производить прі-
ятный эффектъ; но въ формахъ той русской рѣчи, какою
писалъ Богдановичъ, они дѣйствуютъ на насъ иначе, по-
тому что эти формы возбуждаютъ въ нашей душѣ несо-
отвѣтственные настроенія. Тамъ изъ-за Душеньки выглядитъ
фигура подьячаго, здѣсь запахнетъ семинаріей, въ другомъ
мѣстѣ вмѣсто купидона невольно мерещится фризъ ши-
нель. Здѣсь

. . . . Хоръ пѣвицъ протяжистымъ манеромъ
Съ приличнымъ нѣкакимъ размѣромъ
Воспѣлъ стихи, возвысивъ тонъ,
Толико медленно, толико слуху внятно и т. д.

Тамъ:

Царевна, вышедши изъ бани наконецъ,
Со удовольствіемъ раскидывала взгляды
На выбранны для ней и платья и наряды,
И нѣкакой вѣнецъ.

Надобно имѣть слишкомъ сильную способность отвлеченія, чтобы, при чтеніи подобныхъ мѣстъ, удерживать воображеніе отъ разныхъ примѣсей, которыя ужъ, конечно, не требуются сущностію представленія. Только благодаря такой способности, можемъ мы вынести изъ чтенія блѣдную схему образа, отказавшись совершенно отъ всего, что могло бы дать ему сколько нибудь жизни, сколько нибудь движенія и поэтической цѣнности.

Карамзинъ, Батюшковъ, Жуковскій вынесли изъ этихъ пучинъ русское слово и передали его Пушкину. Съ первыхъ шаговъ своихъ онъ достигъ уже того значенія, съ какимъ останется навсегда въ исторіи русской литературы. Лирическія пьесы, относящіяся ко времени „Руслана и Людмилы“ (1817—1820), соотвѣтствуютъ этой поэмѣ. Онъ отличаются живостью и свѣжестью слова, за исключеніемъ двухъ трехъ стихотвореній, относящихся къ послѣднимъ годамъ этой поры. Мы не можемъ не упомянуть здѣсь о прекрасной элегіи („Увы, зачѣмъ она блистаетъ!“), которая исполнена необыкновенной нѣжности, грустной и задумчивой нѣжности, такъ часто звучащей въ самыхъ зрѣлыхъ произведеніяхъ нашего поэта.

Отъ 1820 года, въ который Пушкинъ окончилъ „Руслана и Людмилу“, до 1825, слѣдуетъ рядъ поэмъ: „Кавказскій Плѣнникъ“, Бахчисарайскій Фонтанъ“, „Цыганы“, первая глава „Евгенія Онѣгина“, поэмъ, которыя, равно какъ и лирическія пьесы, ихъ сопровождавшія, очевидно показываютъ постепенность въ развитіи нашего поэта. Въ самомъ дѣлѣ это очевидно теперь для всякаго, благодаря умной заботливости издателя о хронологическомъ порядкѣ сочиненій *).

*) Впрочемъ, нѣкоторые пункты въ этомъ отношеніи остаются недостаточно объясненными, и съ нѣкоторыми заключеніями почтеннаго издателя нельзя вполне согласиться.

Промежутокъ времени отъ 1820 до 1825 года имѣтъ, въ развитіи Пушкина, характеръ эпохи переходной. Дѣтская рѣзвость „Руслана и Людмилы“ смѣняется порывами юношеской страстности, броженіемъ возбужденнаго чувства, туманностію мысли. Онъ плачетъ съ Кавказскимъ Плѣнникомъ, ревнуетъ съ Заремой, колобродитъ съ Алеко, жалуется на людей и жизнь, хандритъ и скучаетъ съ Онѣгинымъ. Въ лирикѣ его слышатся уже звуки души, начинавшей жить; стихъ становится выразительнѣе и сильнѣе; творческая сила обнаруживается не въ одной прелести выраженія, но и въ замыслѣ. Отъ сказочнаго міра, отъ игры воображенія, мысль его все болѣе и болѣе обращается къ дѣйствительности, по временамъ задумывается надъ ея явленіями, старается схватить ихъ и постигнуть ихъ значеніе. Здѣсь уже обозначаются черты его характера и генія, и чѣмъ далѣе, тѣмъ явственнѣе. Многія изъ мелкихъ пьесъ этого времени, особенно изъ относящихся къ 1824 году, запечатлѣны истинною поэзіей и приближаются къ зрѣлой порѣ его музыки. Въ его душѣ слышатся уже вѣщія струны, которыя отзываются на явленія природы и жизни. Видимыми предметами возбуждаются въ немъ тѣ думы, которыя въ поэтической душѣ звучать отголоскомъ внутренней сущности предмета. Какъ сердце подаетъ вѣсть сердцу, такъ и душа природы сказывается въ душѣ поэта, сначала туманно и невнятно, но уже сказывается. Мало по малу пріобрѣтаетъ онъ власть надъ сердцами. Иногда посреди общаго мѣста, которое впрочемъ не было для него общимъ мѣстомъ, вдругъ прозвенить стихъ, исполненный живой силы, которая никогда не утратитъ своего дѣйствія. У поэта уже есть прошедшее. Онъ вспоминаетъ о первыхъ годахъ своей юности, о первыхъ впечатлѣніяхъ, о первыхъ тревогахъ своей души. Онъ вспоминаетъ какъ въ ту раннюю пору посѣщало его вдохновеніе, и какъ впервые почувствовалъ онъ острое жало того искушающаго начала, которое льнетъ ко всему живому, и котораго не можетъ миновать никакое сильное развитіе.

Къ этому то времени относится все, что бывало говорилось о подражательности пушкинской поэзіи; сюда отно-

сятся тѣ байроническія вліянія, которыя въ ней обыкновенно отыскивались. Собственно говоря, Пушкинъ никогда не былъ подражателемъ; это природа въ высшей степени оригинальная. Характеръ подражательности, который замѣчали въ его менѣ зрѣлыхъ произведенійхъ, есть не столько подражательность, сколько эта относительная незрѣлость, и объясняется, съ одной стороны, молодостью литературы, въ которой дѣйствовалъ Пушкинъ, съ другой — просто физиологическою причиною, молодостью самого поэта. Подражательность такъ мало свойственна его природѣ, что всему чужому, чего касалась его мысль, давалъ онъ совершенно новое значеніе и новый видъ. Онъ никогда не могъ быть перелателемъ чужой мысли; всегда возбуждала она въ немъ самостоятельное творчество, изъ котораго выходило нѣчто другое, совершенно оригинальное. Вспомнимъ его позднѣйшія подражанія Данту, мнимыя заимствованія изъ англійскихъ поэтовъ, подражанія и заимствованія, принадлежащія къ самымъ оригинальнымъ произведеніямъ Пушкина. Конечно, въ эту переходную пору своего развитія, Пушкинъ не могъ не подчиниться вліянію того мрачнаго и могущественнаго британскаго генія, который господствовалъ тогда надъ умами, „вѣстителя думъ“ тогдашняго поколѣнія. Но вліяніе Байрона на нашего поэта вовсе не было такъ глубоко; оно только возбуждало его, а вовсе не сообщало направленія его развитію. Въ Пушкинѣ нѣтъ и слѣдовъ той непреклонной демонической гордости, которою дышатъ байроновскіе герои. Въ „Кавказскомъ Пльнникѣ“ и „Бахчисарайскомъ Фонтанѣ“ вліяніе Байрона ограничивается самымъ общимъ возбужденіемъ и лишь внѣшнею стороною; кое гдѣ встрѣчаются нѣкоторыя техническія заимствованія. Болѣе напоминаетъ байроновскихъ героевъ Алеко: это у Пушкина единственный характеръ, въ которомъ чувствуется существенное вліяніе британскаго поэта. Но этимъ произведеніемъ Пушкинъ навсегда отдѣлался отъ Байрона, и уже въ первой пѣснѣ „Евгенія Онѣгина“ слышатся только слабыя отзывы его вліянія. Здѣсь Пушкинъ уже на своей почвѣ, и въ неустановившемся броженіи его мысли оказываются уже твердыя точки.

Эти поэмы носят на себѣ всѣ признаки переходнаго времени. Внутренняго, безотносительнаго достоинства, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ, особенно въ „Цыганахъ“, они не имѣютъ. Если мы спросимъ себя, чего именно недостаетъ имъ, то легко найдемъ, что имъ недостаетъ высшаго условія художественности: индивидуальности изображеній. Лица этихъ поэмъ еще какъ бы скрываются позади поэта, и передъ взорами его ложатся только тѣни отъ нихъ. Геній поэта не приобрѣлъ еще столько творческой силы, чтобы давать образъ своимъ ощущеніямъ. Въ подобныхъ произведеніяхъ поэзіи часто видятъ преобладаніе внутренняго надъ внѣшнимъ, и называютъ ихъ субъективными; но, собственно говоря, въ подобныхъ произведеніяхъ столь же мало преобладаетъ сила внутренняго, сколько въ произведеніяхъ по истинѣ художественныхъ преобладаетъ внѣшнее надъ внутреннимъ. Сила внутренняго выражается не въ чемъ иномъ, какъ въ организациіи внѣшняго; чѣмъ глубже и сильнѣе внутреннее, тѣмъ явственнѣе образъ его проявленія. Въ произведеніяхъ незрѣлыхъ именно внутреннему недостаетъ силы; это-то внутреннее въ нихъ слабо и незначительно. Какъ въ жизни чувство, не переходящее въ дѣло, есть чувство не глубокое и не зрѣлое; такъ и въ искусствѣ представленіе, не имѣющее явственной организациіи, есть представленіе слабое и не зрѣлое. Чѣмъ выше стоитъ созерцающая мысль, тѣмъ опредѣленнѣе созерцаніе. Въ произведеніяхъ переходной эпохи развитія Пушкина, внутреннее зрѣніе не обнимаетъ своихъ предметовъ, а теряется въ ихъ неопредѣленности. Но слѣдуя художественному порядку происхожденія этихъ поэмъ, мы не можемъ не замѣтить, какъ творческая сила поэта постепенно крѣпнеть и овладѣваетъ предметомъ. Образы „Бахчисарайскаго Фонтана“ явственнѣе, нежели „Кавказскаго Плѣнника;“ чувствованія высказываются опредѣленнѣе и точнѣе, положенія обрисовываются живѣе. Въ „Цыганахъ“ и въ первыхъ главахъ „Евгенія Онѣгина“ видимъ еще большую зрѣлость представленія. Мысль въ этихъ произведеніяхъ очевидно свободнѣе и зорче; изъ тумана и мерцанія выдѣляются болѣе рѣшительныя линіи и болѣе яв-

ственные очерки, опредѣленнѣе обозначаются внѣшнія отношенія, и по мѣрѣ того ощутительнѣе сказывается внутреннее.

Въ фантазіи поэта уже зарождаются начатки произведеній, которые раскрываются пышнымъ цвѣтомъ въ зрѣлую пору его развитія.

Первымъ начаткамъ самостоятельнаго творчества русской мысли соотвѣтствуютъ, далеко не такъ цѣнные, зачатки современной Пушкину жизни, какъ она отразилась въ его первыхъ произведеніяхъ. Герои этихъ поэмъ представляютъ собою только-что пробудившуюся потребность жить собственнымъ сердцемъ и умомъ; они хотятъ держаться на своихъ ногахъ, быть нравственными единицами, но остаются еще при самыхъ скудныхъ элементахъ сознанія. Слишкомъ мало въ нихъ нравственныхъ силъ и положительныхъ пачалъ для самостоятельности, слишкомъ еще слабо держатся они на своихъ ногахъ и слишкомъ тѣсенъ кружокъ, въ которомъ они учатся ходить. Возбужденность въ нихъ сильная, но употребленіе ея слишкомъ ничтожное. Личность человѣческая тѣмъ самостоятельнѣе, чѣмъ меньше занята собою и чѣмъ болѣе отражаетъ въ себѣ великій всеобщій міръ, а эти господа только лишь и заняты собою. Они вышли изъ сплошной массы, они не хотятъ быть кирпичами, связанными чьею-то рукою въ какихъ-то постройкахъ, они хотятъ быть сами по себѣ, и все-таки остаются тѣми же кирпичами, только сваленными въ несвязную кучу. Пушкинъ отличаетъ себя отъ Онѣгина:

Всегда я радъ замѣтить разность
Между Онѣгинымъ и мной,

Чтобы, продолжаетъ поэтъ, не подумали,

Что намаралъ я свой портретъ,
Какъ Байронъ, гордости поэтъ...

Но въ то же время поэтъ сознается въ своей близости къ тому же Онѣгину. Они пріятели и живутъ въ одной сферѣ.

Страстей игру мы знали оба,
Томила жизнь обоихъ насъ,
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ,
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой фортуны и людей
На самомъ утрѣ нашихъ дней.

Но надъ уровнемъ людей, къ которымъ болѣе или менѣе принадлежалъ самъ Пушкинъ, онъ возвышался своимъ высокимъ даромъ и историческимъ призваньемъ, возвышался надъ ними тѣмъ, что по ложному стыду старался прятать подалѣе и прикрывать свѣтскимъ безличіемъ. Въ зрѣлую пору своей жизни Пушкинъ, кажется, освободился отъ этого ложнаго стыда, впрочемъ, весьма естественнаго въ прежнее время, когда общество смотрѣло на литератора съ любопытствомъ, какъ на исключительное и нѣсколько странное явленіе,—когда человѣку, писавшему стихи, нельзя было показаться въ гостиную, чтобъ его не попросили продекламировать какое-нибудь новое произведеніе его музы,—когда такому человѣку нельзя было задуматься, чтобы прелестныя уста не обратились къ нему съ вопросомъ: *A quoi rêvez vous, o poète?*

Въ герояхъ первыхъ поэмъ Пушкина, взятыхъ изъ жизни, не могло быть никакихъ нравственныхъ столкновеній; въ нихъ, кромѣ смутно пробудившейся потребности жить и чувствовать, нѣтъ болѣе ничего; сердечнымъ влеченіямъ въ нихъ не съ чѣмъ столкнуться, не съ чѣмъ помѣряться, кромѣ развѣ „слѣпой фортуны“. Кавказскій плѣнникъ плачетъ надъ воспоминаніями обманувшей его любви и страдаетъ, что не можетъ увлечься новою страстію. Алеко бѣжитъ изъ города въ степь отъ „мучительныхъ сновъ сердца“ въ цыганскій таборъ, тамъ ищетъ свободы отъ страстей, но увлекается новыми страстями и возмущаетъ не очень завидный миръ цыганской вольности. Чтобы такое могло изъ него выйти, право, не знаемъ. Онѣгинъ—праздношатающийся и скучающій чужакъ, который однимъ только серьезно занять—наукой любви, и, по увѣренію поэта, достигъ въ ней глубокой премудрости; пустой фатъ, а впро-

чемъ добрый малый, изъ котораго могло бы выйти что нибудь и болѣе путное, чего ужъ никакъ нельзя сказать о преемникѣ его, Печоринѣ. Онѣгинъ еще только можетъ быть Печоринымъ, но можетъ быть и чѣмъ-нибудь другимъ, а въ героѣ Лермонтова вполнѣ назрѣло нравственное ничтожество и загрубѣло въ непроницаемомъ эгоизмѣ.

Съ 1825 года начинается зрѣлая пора Пушкина, въ которую постепенно вырабатывались и являлись на свѣтъ произведенія, составляющія его истинную славу: „Полтава“, послѣдующія пѣсни „Евгенія Онѣгина“, изъ коихъ вторая была написана въ 1825—1826, а послѣдняя (восьмая) въ 1830; „Борисъ Годуновъ“, давно уже замысленный, но получившій окончательный свой видъ только въ 1830 году, въ который были написаны и всѣ прочія произведенія драматической формы, кромѣ „Русалки“, которая произошла позднѣе (1832); далѣе поэмы „Галубъ“ (1829) и „Мѣдный Всадникъ“ (1833); наконецъ, рядомъ съ этими болѣе или менѣе обширными произведеніями, самые благоуханные цвѣтки пушкинской лирики, небольшія пьески, стоящія цѣлыхъ поэмъ, удивительныя по своей глубинѣ, силѣ и художественному совершенству.

Вотъ здѣсь-то мы встрѣчаемъ истиннаго Пушкина, въ этихъ-то произведеніяхъ раскрылись всѣ особенности его природы и генія! Окончательное сужденіе о Пушкинѣ должно основываться на произведеніяхъ этой эпохи.

Прежде всего будемъ отвѣчать на вопросъ, въ чемъ заключается дальнѣйшее развитіе поэзіи Пушкина, въ чемъ выражается зрѣлость его творческой силы? Не много надобно вглядываться въ произведенія этой эпохи, чтобы усмотрѣть, какъ русская мысль, въ лицѣ Пушкина, пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе силы для постиженія дѣйствительности, какъ становится она способною воспроизводить истину явленій души и жизни. Колеблющіяся фантастическія тѣни исчезаютъ и смѣняются ясностію дѣйствительнаго міра, чувство поэта собирается изъ неопредѣленныхъ настроеній, сосредоточивается, крѣпнетъ и растетъ въ глубину. Выраженіе достигаетъ необыкновенной силы и высочайшей ху-

дожественной точности, которая столько же составляет необходимое условіе искусства, сколько и науки. Истинная поэзія должна столько же отличаться своего рода точностью, какъ и математика; вся сила поэзіи основана на этомъ качествѣ, повидимому, вовсе не поэтическомъ. Точность поэтического выраженія заключается въ томъ, что оно производитъ то, а не другое впечатлѣніе, и производитъ его во всей чистотѣ и силѣ.

Въ Полтавѣ и въ „Борисѣ Годуновѣ“ Пушкинъ касается исторіи. Мы не знаемъ съ точностью, которое изъ этихъ двухъ произведеній позднѣе по времени. Хотя, по указанію г. Анненкова, „Борисъ Годуновъ“ замысленъ былъ поэтомъ еще въ 1824 году, и написанъ въ 1825; но извѣстно также, что это произведеніе было предметомъ долгихъ и усиленныхъ думъ, подвергалось передѣлкамъ, и только въ 1831 году увидѣло свѣтъ. „Полтава“ была начата и окончена въ продолженіе одного мѣсяца, въ 1828 году. Поэма эта, по языку и въ частностяхъ изображенія, замѣчательна всею силою созрѣвшаго человѣка и созрѣвшаго дарованія. Стихъ здѣсь творитъ чудеса. Но въ цѣломъ это одно изъ слабѣйшихъ произведеній зрѣлой поры Пушкина. Собственно историческая часть поэмы зыбка, и не отличается еще тѣмъ спокойствіемъ возрѣнія, которое необходимо въ произведеніяхъ этого рода. Битва блещетъ яркими красками, но не производитъ глубокаго историческаго впечатлѣнія. Изображеніе Петра исполнено страстнаго лирическаго движенія, но представляетъ мало опредѣленныхъ очертаній. Фигура Карла обозначена, говоря эстетическимъ терминомъ, объективнѣе. Поэтъ смотритъ на него съ большимъ спокойствіемъ. Что же касается до Мазепы, играющаго главную роль въ поэмѣ, то изображенію его сильно вредитъ нѣсколько мелодраматическій тонъ романа, который разыгрывается на исторической основѣ произведенія, но мало вяжется съ нею и отнимаетъ у ней главный интересъ поэмы. Взятый отвлеченно отъ своего историческаго значенія, этотъ образъ коварнаго и обаятельнаго старика, умѣвшаго внушить къ себѣ страстную любовь въ своей крестницѣ, мѣстами

исполненъ художественной правды и запечатлѣнъ превосходными стихами. Кочубей, жена его, тоже довольно блѣдныя какъ историческія лица, даютъ поэту поводъ изобразить мастерскими чертами нѣкоторыя положенія. Какая сила въ выраженіи негодованія Кочубея на губителя его дочери! Позднѣйшія произведенія Пушкина не превзойдутъ силою стиха ни этого ни многихъ другихъ мѣстъ „Полтавы“. Далѣе въ этомъ отношеніи итти невозможно. Образъ Маріи прекрасенъ; страсть ея къ Мазепѣ, несмотря на свою неестественность, не лишена психологической правды. Ея объясненія съ Мазепой, во второй пѣснѣ, исполнены драматическаго движенія. Это совершенно особая сцена, которая отличается всѣми красотами драматическихъ сценъ, написанныхъ Пушкинымъ въ 1830 году.

Въ „Борисѣ Годуновѣ“ Пушкинъ совершенно освобождается отъ лирическихъ увлеченій, и обнаруживаетъ высшее Творчество въ изображеніи отдаленнаго историческаго времени.

Никто еще не воскрешалъ у насъ съ такою истиною, въ поэтическомъ представленіи, образы давней жизни нашего отечества. Пушкину ставятъ въ укоръ относительно „Бориса Годунова“, что онъ черпалъ духъ и краски этого произведенія не изъ первыхъ источниковъ, а изъ исторіи Карамзина, что онъ смотрѣлъ на древнюю Русь сквозь чуждую призму, что вслѣдствіе этого онъ внесъ въ ту жизнь какую-то торжественность и пышность, ей не свойственныя. Укоръ этотъ, сколько намъ помнится, впервые произнесенъ былъ въ „Московскомъ Телеграфѣ“; съ тѣхъ поръ онъ пошелъ въ ходъ и сталъ общимъ мѣстомъ критики. Всегда, какъ только рѣчь зайдетъ о „Борисѣ Годуновѣ“, непременно заговариваютъ о Карамзинѣ. Но первый источникъ этого важнаго критическаго замѣчанія, переходящаго изъ устъ въ уста, былъ данъ самимъ же Пушкинымъ. Не посвяти Пушкинъ своего произведенія памяти Карамзина, не скажи, что произведеніе это есть трудъ, вдохновленный его гениемъ, критикъ „Телеграфа“, ратовавшій въ то время противъ Исторіи Карамзина, можетъ быть, и не подумалъ бы объ этомъ

обстоятельствъ. Но это посвященіе дало тему и пищу для критики: не входя во внутренній разбор произведенія, критикъ могъ уже съ легкою совѣстью развивать мысли, возбужденныя заглавною страницей книги. Само собою казалось яснымъ, что „Борисъ Годуновъ“ есть трудъ пропащій, что „Борисъ Годуновъ“ — несчастная ошибка таланта, что въ немъ нѣтъ исторической правды. Нельзя не согласиться, что самостоятельное занятіе Пушкина историческими матеріалами, самими актами прошедшей жизни, могло бы быть весьма плодотворно. Его высокое художественное чувство вынесло бы оттуда много свѣжихъ красокъ, много удивительныхъ образовъ. Но мы не думаемъ, чтобы посредство Карамзина чѣмъ-нибудь существенно повредило исторической правдѣ произведенія Пушкина. Допустимъ, что образъ самого Годунова, можетъ быть, не совсѣмъ вѣренъ подлиннику; но исторія не сказала еще своего послѣдняго слова объ этомъ лицѣ, и многія относящіяся къ нему обстоятельства еще недостаточно объяснены. Если же характеръ этого лица у Пушкина не представляетъ полнаго драматическаго развитія, то въ этомъ надобно винить не какое-либо постороннее вліяніе, а самое свойство дарованія Пушкина, замѣченное нами выше. Точно то же должны мы сказать и о прочихъ лицахъ этой драмы: развитія нѣтъ ни въ одномъ, и каждое является въ отдѣльныхъ сценахъ съ какою-либо уже данною, уже готовою стороною своего нравственнаго или общественнаго положенія. Выше замѣчено, что не въ обычаѣ, не въ интересѣ нашего поэта слѣдить за постепеннымъ раскрытіемъ дѣла, слагать постепенно зиждательные элементы характеровъ и событій; онъ бралъ дѣло въ полнотѣ его однократнаго проявленія, въ раздѣльные его моменты. Каждый даръ имѣетъ свою особенность: этимъ недостаткомъ и этимъ свойствомъ опредѣляется, по нашему мнѣнію, особенность Пушкина. Возвращаясь къ „Борису Годунову“, смѣло повторимъ высказанное уже нами мнѣніе о достоинствѣ этого произведенія: оно представляетъ вѣрное художественное воспроизведеніе древней Руси въ ея главныхъ типическихъ чертахъ. Въ этомъ отношеніи „Бо-

рисъ Годуновъ“ далеко еще не оцѣненъ по своему достоинству и, прибавимъ, по своему значенію въ нашей литературѣ. Это произведеніе возникло въ ту пору, когда у насъ, ни въ обществѣ ни въ литературѣ, не поднимался еще вопросъ о древней русской жизни, о коренныхъ ея началахъ, не слышалось еще жалобъ на разобщенность новой русской жизни съ ея прошедшимъ. Пушкинъ не могъ предусматривать всѣхъ этихъ толковъ и споровъ, и мысль его, обращаясь къ прошедшему, могла сохранять то спокойствіе и ту свободу воззрѣнія, которыя столь же необходимы художнику, какъ и мыслителю или историку. Въ сценахъ своихъ онъ ничего не хочетъ доказывать, онъ только изображаетъ. Художественная истина этого изображенія состоитъ не въ подробностяхъ обстановки, не въ обозначеніи внѣшнихъ примѣтъ быта, а въ постиженіи внутреннихъ основъ его, въ воспроизведеніи духа явленій, который порождалъ ихъ существенныя черты. Въ произведеніи Пушкина мы чувствуемъ, какъ древняя Русь неуклонно шла своимъ путемъ, какъ мало было въ ней самой существенныхъ побужденій отречься отъ дальнѣйшаго хода, какъ глубоко напротивъ таилась въ ней потребность обновленія. Но съ тѣмъ вмѣстѣ мы не чувствуемъ въ этихъ изображеніяхъ никакого отрицающаго дѣйствія со стороны поэта, никакого желанія представить внѣшнимъ образомъ недостатки или несостоятельность стараго быта. Потребность перехода является здѣсь какъ положительное начало самой жизни стараго времени.

Спросимъ себя, которое изъ типическихъ лицъ того времени, какъ они представлены у Пушкина, заключаетъ въ себѣ что-либо враждебное этому переходу, которое изъ лицъ выражаетъ собою начало упора и сопротивленія? Конечно, не этотъ смиренный старецъ, который въ тиши своей кельи, въ краткіе досуги отъ молитвы, пишетъ свои правдивыя сказанья; этотъ старецъ, отрекшійся отъ міра, но совершающій для него скромное, безвѣстное, но благое дѣло? Перечтите эту сцену въ кельѣ Чудова монастыря, признанную за одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ перловъ цѣлаго произведенія, прислушайтесь снова къ рѣчамъ добраго от-

пельника, къ этимъ рѣчамъ, которыя запечатлѣны всею силою художественной правды: нѣтъ, здѣсь такъ много мягкосердечія и простоты! нѣтъ, отсюда не можетъ выйти духъ сопротивленія, и мысль отсюда легко обращается къ будущему и довѣрчиво предается влекущей силѣ, въ немъ заключенной. Другимъ характеромъ запечатлѣны слѣдующія за нею сцены.

Но войдемъ въ царскія палаты. Отдѣлимъ въ Борисѣ Годуновѣ то, что придано ему его личнымъ положеніемъ, внутреннею неправдою его власти, неправдою, изъ которой рождается династическое своекорыстіе, — отдѣлимъ этотъ страхъ и трепетъ за себя передъ глухимъ ропотомъ народнаго мнѣнія и самозванства, отдѣлимъ также оцѣпенѣлость полувосточныхъ завѣщанныхъ формъ, все, что такъ вѣрно выражено Пушкинымъ, несмотря на пышность и нѣкоторую торжественность этого выраженія, вовсе впрочемъ не чуждая предмету, и въ основныхъ краскахъ своихъ и въ общемъ впечатлѣніи, еще болѣе возвышающія художественную вѣрность изображенія, и посмотримъ, что останется въ царственной мысли. Всѣ, вѣроятно, помнятъ прекрасную сцену Бориса въ своемъ семействѣ, кроткій образъ Ксеніи, обозначенный столь немногими, но столь поэтическими чертами, и разговоръ царя съ своимъ сыномъ.

А ты, мой сынъ, чѣмъ занять? это что?

Чертежъ земли Московской, наше царство
Изъ края въ край. Вотъ видишь: тутъ Москва,
Тутъ Новгородъ, тутъ Астрахань. Вотъ море,
А вотъ Сибирь.

А это что такое

Узоромъ здѣсь вѣется?

Это Волга.

Какъ хорошо! Вотъ сладкій плодъ ученья!
Какъ съ облаковъ ты можешь обозрѣть
Все царство вдругъ: границы, грады, рѣки.

Учись, мой сынъ: наука сокращаетъ
Намъ опыты быстротекущей жизни

.....
Учись, мой сынъ, и легче и яснѣе
Державный трудъ ты будешь постигать.

Истина изображенія здѣсь такъ живо, такъ гласно говорить сама за себя, что не требуетъ исторической повѣрки. Эти слова дышатъ всею особенностію жизни и духа времени.

Вотъ еще другое мѣсто. Недовольный своими боярами и воеводами, царь обращается къ Басмапову.

....Я ими недоволенъ;
Пошлю тебя начальствовать надъ ними:
Не родъ, а умъ поставлю въ воеводы;
Пускай ихъ спѣсь о мѣстничествѣ тужить:
Пора пресѣчь мнѣ ропотъ знатной черни
И гибельный обычай уничтожить.

Ахъ, Государь, стократъ благословенъ
Тотъ будетъ день, когда разрядны книги
Съ раздорами, съ гордыней родословной
Пожретъ огонь.

День этотъ недалекъ...

День этотъ, какъ мы знаемъ, насталъ, и вскорѣ за нимъ наставали другіе дни, въ которые тотъ же огонь пожиралъ ограды невѣжества и народной исключительности. И только изъ этихъ оградъ, а не изъ существенныхъ началъ, не изъ духа жизни происходило сопротивленіе дѣлу обновленія, протестъ противъ сближенія народовъ, противъ великаго дѣла исторіи, возводящаго всѣ отношенія и формы въ человѣческомъ мірѣ къ ихъ чистотѣ, къ ихъ разуму и къ несомнѣнной опредѣленности. Въ произведеніи Пушкина мы можемъ какъ бы почувствовать, что когда придетъ часъ перехода—будетъ упоръ, но упоръ со стороны оцѣпенѣлаго и помертвѣвшаго обычая, упоръ со стороны звянущей мѣди и бряцающихъ кимваловъ, со стороны хранителей формы

и ревнителей обрядности. Все по истинѣ живое и плодотворное должно было перейти; осталось позади лишь внутренне-мертвое и негодное.

Вотъ что значить художественное изображеніе! Если Пушкинъ старался проводить въ своихъ очеркахъ древнерусской жизни какую-либо мысль, если бы онъ хотѣлъ въ нихъ что-либо доказывать, то исчезла бы мысль изображенія, мы получили бы не истину жизни, а вовсе, можетъ быть, не нужное намъ мнѣніе Пушкина, мы получили бы ложь и относительно искусства и относительно дѣйствительности. Раздалось бы только лишнее горячее слово въ спорѣ, и только. Художнику болѣе всего нужно высокое безпристрастіе истины или, какъ мы выразились выше, свобода воззрѣнія. Первымъ признакомъ произведенія не художественнаго было бы желаніе автора высказать прямо какія-нибудь мысли. Лица являлись бы на сцену и высказывали бы эти мысли, высказывали бы, можетъ быть, очень хорошо, очень живо и увлекательно; но мысли, высказываемыя не въ логическомъ развитіи, могли бы только оглушить, увлечь васъ слѣпо, а внутренняго, въ васъ самихъ происходящаго процесса убѣжденія, никакъ не могли бы онѣ произвести. Между тѣмъ художникъ не только не навязываетъ вамъ какихъ-либо готовыхъ мыслей, но и не подводитъ васъ хитро подъ ихъ вліяніе, особою, сообразною съ какими-нибудь посторонними цѣлями, постановкою сцены; онъ только приближаетъ къ вашему разумѣнію сущность предмета и побуждаетъ васъ изображеніемъ дѣла дойти до скрытыхъ въ немъ идей, заставляя васъ самихъ домыслиться до нихъ. Вамъ не сообщаются готовые убѣжденія, вамъ сообщаются элементы для убѣжденія. Пименъ въ „Борисѣ Годуновѣ“ ничего не говоритъ и не можетъ говорить ни въ пользу ни противъ историческаго развитія и общественнаго преобразованія; его сознаніе далеко отъ этихъ вопросовъ и вообще его жизнь не принадлежитъ міру; но въ немъ встрѣчаемъ мы духъ, который, чувствуемъ мы, никогда не озлобится противъ законнаго движенія міра, и который благословитъ всякое доброе дѣло,

ткуда бы оно ни исходило. Но очень вѣроятно, что братья Тисайль и Валаамъ, эти ханжи и лицемѣры, изображенные Пушкинымъ съ неменьшею вѣрностію, стали бы, въ эпоху Гетра, на сторонѣ противниковъ реформы.

Обзоръ всѣхъ произведеній зрѣлой поры Пушкина требуетъ особой статьи, которою мы и заключимъ наши заѣтки по поводу новаго изданія.*)

М. Катковъ.

* * *

*) Статья г. Каткова *Пушкинъ* едва ли не лучшее произведение въ шести первыхъ книжкахъ „Русскаго Вѣстника“. Въ этомъ согласится всякій, кто дастъ себѣ трудъ побѣдить у только первоначальную неясность изложенія, которую можетъ встрѣтить читатель, неполнѣ знакомый съ тѣми понятіями, которыя для автора кажутся совершенно простыми и общепонятными. Онъ не старается особенно довести свое изложеніе до того, чтобъ оно было вразумительно для всѣхъ и каждого. Но это дѣлается отчасти само собою: въ произведеніи этомъ такъ много истины, и она часто высказывается такъ краснорѣчиво, что понятія, сначала неясныя, постепенно яснѣютъ и становятся совершенно вразумительными. Повторяемъ, что нѣкоторое напряженіе нужно только началѣ, гдѣ авторъ говоритъ объ общихъ эстетическихъ законахъ, и гдѣ онъ не избѣжалъ сухости; но когда онъ начинаетъ примѣнять ихъ, тогда многое, что могло показаться неяснымъ и потому не имѣющимъ живого значенія, получаетъ это значеніе и интересъ. — Есть, впрочемъ, извѣстная глубина пониманія предмета, при которой, какъ при солнечныхъ лучахъ, исчезаетъ всякая неясность.

Имя Пушкина такъ обольстительно для насъ, что все, что

*) Общанная М. Н. Катковымъ статья не появилась въ критической литературѣ о Пушкинѣ.

Примѣч. В. Зелинскаго.

*) „Сынъ Отечества“ 1856 г., № 1. (Журналистика).

прикоснется къ нему, становится интереснымъ. Въ это обаяніи заключается главный интересъ статьи г. Лажечкова: *Знакомство мое съ Пушкинымъ*. Это же обаяніе связано съ именемъ г. Анненкова, издателя нашего великаго поэта, какое-то особенное, нѣсколько сентиментальное чувство. Съ своей стороны, у г. Анненкова любовь къ Пушкину доходить до ревливости: въ своей умной, но нѣсколько растянutoй и потому жидкой статьѣ *О значеніи художественныхъ произведеній для общества* онъ намекаетъ на нѣкоторое охлажденіе въ поклоненіи Пушкину. Если оно дѣйствительно существуетъ, то оцутительная мелочность интересовъ, выражающихся въ нѣкоторыхъ художественныхъ произведеніяхъ послѣдняго времени, совершенно ему соответствуютъ. И потому не безъ удовольствія замѣчаешь, что въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ имя Пушкина встрѣчается такъ часто, произносится съ такою любовью. Это разгоняетъ опасенія на счетъ литературной будущности этого журнала, въ которомъ недостатокъ по преимуществу художественныхъ произведеній такъ очевиденъ. Дѣйствительно, возможность имѣть произведенія самыхъ талантливыхъ современныхъ писателей и притомъ лучшихъ ихъ произведенія не всегда зависитъ отъ редакціи. Возможность эта часто зависитъ отъ личныхъ отношеній, еще не заключающихъ въ себѣ неизбежности рока: отношенія измѣняются, и тогда возможность переходитъ въ другія руки. Отсутствіе вкуса и самостоятельности въ понятіяхъ одно только составляетъ непреодолимую преграду для усовершенствованія изящныхъ сторонъ журнала.

Изъ „Сына Отечества“ 1856 г.

* * *

*) Въ литературной дѣятельности Пушкина особенно замѣчательны нѣкоторыя произведенія послѣднихъ лѣтъ его жизни, содержанія религіознаго. Въ нихъ выразилось то переходное состояніе души поэта, когда окончательно уста-

*) „Молва“ 1857 г., № 10. О стихотвореніи Пушкина „Странникъ“ (Однажды, странствуя среди долины дикой). Статья Б.

навливался образъ его мыслей, когда отъ пылкихъ и неопредѣленныхъ мечтаній тревожной своей юности онъ началъ обращаться къ истинамъ строгимъ и глубокимъ, повторая слова, столь памятные друзьямъ его: „одинъ глупецъ не мѣняется, ибо время не приноситъ ему развитія“. Къ такимъ произведеніямъ относятся между прочимъ его „Молитва“ (*Отцы-пустынники и жены непорочны*), „Кладбище“ (*Когда за городомъ задумчивъ я брожу*), „Подражаніе Итальянскому“ (*Какъ съ древа сорвался предатель-ученикъ*), неизданное стихотвореніе, начинающееся словами: *Когда великое свершалось торжество*, и та піеса, заглавіе которой мы выписали. Сочиненная 25 іюня 1833 года, близъ Петербурга, на Черной рѣчкѣ и напечатанная уже по смерти Пушкина, въ 1841 году, она долго оставалась незамѣченною нашими критиками. По крайней мѣрѣ, ей не придавали большого значенія. Г. Анненковъ, въ „Матеріалахъ для біографіи Пушкина“ (стр. 386), первый, сколько знаемъ, обратилъ вниманіе на важность этого стихотворенія въ общемъ ходѣ внутренней жизни поэта. „Стихотвореніе это, говоритъ онъ, составляющее поэму само по себѣ, открываетъ то глубокое духовное начало, которое уже проникло собою мысль поэта, возвысивъ ее до образовъ, принадлежащихъ по характеру своему образамъ чисто эпическимъ“. Далѣе критикъ замѣчаетъ, что именно въ это время Пушкинъ прилежно изучалъ житія святыхъ, и что въ собственноручныхъ бумагахъ его сохранилась выписка изъ Пролога, въ которой издатель Пушкина видитъ сильное сходство съ означеннымъ стихотвореніемъ. Насколько есть тутъ сходства и какъ велико оно, предоставляемъ судить другимъ, и обратимся къ главной цѣли нашей замѣтки.

Дѣйствительно, въ послѣдніе годы свои, Пушкинъ любилъ читать книги духовнаго содержанія, говорилъ, что удивляется людямъ, часто не имѣющимъ понятія о жизни святого, имя котораго носятъ отъ колыбели до могилы; заучивалъ наизусть мѣста изъ Евангелія и разныя молитвы, и принималъ участіе въ составленіи *Словаря святыхъ, прославленныхъ въ русской церкви*, въ 1836 г. изданнаго княземъ

Эристовымъ; но вниманіе его останавливалось не только на отечественныхъ, но и на иностранныхъ духовныхъ сочиненіяхъ.

Въ піесѣ „Странникъ“ онъ переложилъ въ стихи первыя страницы англійской народной книги *Шествіе странника изъ сего міра къ лучшему* (The Pilgrim's progress from this world to that which is to come), сочиненія бредфортскаго продолждника XVII вѣка Джона Буньяна, про котораго Маколей говоритъ, что ему столь же неоспоримо принадлежитъ названіе перваго аллегориста, какъ Демосеену имя перваго оратора, а Шекспиру—перваго драматическаго поэта. Пущина поразила торжественная простота этой книги, исполненная силы и спокойствія. Изъ слѣдующаго сличенія читатели замѣтятъ, до какой степени великій поэтъ нашъ умѣлъ вѣрно и точно воспроизводить принятыя извнѣ впечатлѣнія. Мы приводимъ англійскій отрывокъ въ наиболѣе близкомъ переводѣ „... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Однажды, бродя въ пустынь свѣта, я пришелъ къ одному мѣсту“... и кончающаяся словами: „Иные грозили ему, а иные кричали, чтобъ онъ возвратился и т. д.“).

„Затѣмъ начинаются разныя препятствія, встрѣчаемыя странникомъ на пути къ блаженной вѣчности. Изъ аллегорическаго описанія этихъ препятствій и состоитъ все сочиненіе Буньяна. Но поспѣшимъ возобновить въ памяти читателей стихи, внушенныя Пушкину чтеніемъ англійской духовной книги“... (Слѣдуетъ стихотвореніе „Странникъ“).

„Читатели могли замѣтить изъ этого сличенія, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Пушкинъ удержалъ даже и отдѣльныя выраженія англійской книги. Сія послѣдняя, по всему вѣроятію, была извѣстна ему въ подлинникѣ, хотя на русскомъ языкѣ было до трехъ изданій одного стариннаго перевода ея (съ французскаго, см. въ каталогѣ Смирдина № 687, третье изданіе вышло въ 1819 г.).

Въ Англіи *Шествіе странника* принадлежитъ къ числу наиболѣе распространенныхъ и любимыхъ книгъ; ибо серьезное ея содержаніе выражается въ искреннемъ, простомъ и величавомъ слогѣ. Съ наслажденіемъ читаютъ ее простые

поселяне, и въ дѣтскихъ она предпочитается волшебнымъ сказкамъ.

Понятно, что она заняла собою нашего поэта въ тѣ года его жизни, когда помыслы его стали глубоки и важны.

Изъ „Молвы“ за 1857 г. Статья Б.

* * *

Сочиненія Пушкина. Седьмой (дополнительный) томъ. Изданіе П. В. Анненкова. СПб. 1857.

*) Всѣ еще помнятъ, вѣроятно, какой живой восторгъ возбудило, три года тому назадъ, во всей читающей публикѣ извѣстіе о новомъ изданіи Пушкина, подъ редакціею г. Анненкова. Послѣ вялости и мелкоты, которою отличалась наша литература за семь или за восемь лѣтъ передъ тѣмъ, это изданіе, дѣйствительно, было событіемъ не только литературнымъ, но и общественнымъ. Русскіе, любившіе Пушкина, какъ честь своей родины, какъ одного изъ вождей ея просвѣщенія, давно уже пламенно желали новаго изданія его сочиненій, достойнаго его памяти, и встрѣтили предпріятіе г. Анненкова съ восхищеніемъ и благодарностью. И въ самомъ дѣлѣ, память Пушкина какъ будто еще разъ повѣяла жизнью и свѣжестью на нашу литературу, точно окропила насъ живой водой и привела въ движеніе наши окостенѣвшіе отъ бездѣйствія члены. Вслѣдъ за Пушкинымъ вышло второе изданіе „Мертвыхъ Душъ“, потомъ изданіе Кольцова съ біографіею его, написанною Бѣлинскимъ... Впрочемъ, нечего и перечислять столь недавніе и общеизвѣстные факты; довольно сказать, что со времени изданія Пушкина, первые томы котораго вышли въ началѣ 1855 года, наша литература оживилась весьма замѣтно, несмотря на громы войны, несмотря на тяжелыя событія, сопряженныя съ войною. Послѣдствія показали, впрочемъ, что эти самыя событія имѣли весьма полезное значеніе для нашего

*) Н. А. Добролюбовъ. „Современникъ“ 1858 г., томъ 67. Библіографія.

умственного совершенствованія: они заставили насъ и дали намъ возможность лучше разсмотрѣть самихъ себя, пооткровеннѣе сообщить другъ другу свои замѣчанія, побольше обратить вниманія на свои недостатки. Литература тотчасъ же явилась у насъ выразительницею общественнаго движенія, и ея дѣятели одушевились сознаниемъ важности своего долга, любовью къ дѣлу, горячимъ желаніемъ добра и правды. Это одушевленіе, при новомъ положеніи литературы, скоро выразилось рѣшительно во всемъ, даже въ библіографіи, бывшей у насъ долгое время бесплоднымъ занятіемъ празднолюбцевъ, для развлеченія ихъ скуки. Въ прежнее время библіографы наши подбирали факты ничтожные, спорили объ обстоятельствахъ пустыхъ, занимались часто рѣшеніемъ вопросовъ, ни къ чему не ведущихъ. Мы помнимъ за послѣднія десять лѣтъ множество статей, написанныхъ даже людьми дѣльными и почтенными, но пускавшими въ такія ненужныя мелочи и дѣлавшими при этомъ такія наивныя ошибки, что со стороны становилось, наконецъ, досадно, хотя и забавно смотрѣть на трудолюбивыхъ библіографовъ. И замѣчательно, что цѣлыми годами труда самаго копотливаго не добывалось тогда ровно никакихъ результатовъ: публику душили ссылками на №№ и страницы журналовъ, давно отжившихъ свой вѣкъ, а она часто и не знала даже, о чемъ идетъ дѣло. Въ послѣднее время и библіографія перемѣнила свой характеръ: она обратила свое вниманіе на явленія, важныя почему-либо въ исторіи литературы, она старается въ своихъ поискахъ по архивамъ и библіотекамъ отыскать что-нибудь дѣйствительно интересное и нерѣдко сообщаетъ читателямъ вещи, доселѣ бывшія во все неизвѣстными въ печати. Такъ, напримѣръ, недавно были напечатаны—„Сумасшедшій Домъ“ Воейкова, пародія Батюшкова на „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ“, и проч., также представлены были новыя интересныя свѣдѣнія о мартинистахъ, о Радищевѣ, о Новиковѣ, и проч. Ставя это въ заслугу библіографамъ послѣднихъ лѣтъ, мы, разумѣется, вовсе не думаемъ этимъ унижать лично прежнихъ дѣятелей. На поприщѣ библіографіи и нынѣ подвизаются, большею

частью, тѣ же лица, что и прежде, и, слѣдовательно, за нынѣшніе полезные труды упрекать ихъ въ прежнихъ бесполезныхъ было бы съ нашей стороны совершенно несправедливо. Мы очень хорошо понимаемъ, что удача или неудача библиографа въ сообщеніи читателямъ интересныхъ свѣдѣній весьма часто не зависитъ отъ его воли. Онъ всегда радъ бы печатать все хорошее, но что же дѣлать, если не имѣетъ средствъ къ этому? Личности литературныхъ дѣятелей обвинять за это нельзя, — и мы хотимъ обратить вниманіе читателей на вопросъ, именно съ той точки зрѣнія, что въ послѣднее время наша библиографія значительно расширилась въ своихъ предѣлахъ и средствахъ.

Вышедшій нынѣ седьмой томъ Пушкина служить однимъ изъ самыхъ яркихъ доказательствъ этого расширенія средствъ нашей библиографіи, особенно въ отношеніи къ возможности и легкости сообщать публикѣ свои находки. Правда, что въ этомъ послѣднемъ отношеніи она еще и теперь далеко не совершенна, даже не удовлетворительна; но все же какое сравненіе съ тѣмъ, что было прежде, и незадолго прежде! Мы помнимъ, какъ лѣтъ пять тому назадъ двое ученыхъ — старый и молодой — ожесточенно ратовали другъ противъ друга за то, какъ нужно произнести одинъ стихъ Пушкина: на четыре *сторонѣ* или *стороны*; помнимъ, какъ двое молодыхъ ученыхъ глумились другъ надъ другомъ изъ-за одного вздорнаго стихотворенія, съ подписью Д—гъ, не зная, кому приписать его — Дельвигу или Дальбергу. Да мало ли что можно вспомнить изъ этого времени, въ томъ же безвредномъ родѣ, какъ будто вызванномъ отчаяніемъ скуки. И ничего не вышло изъ этихъ споровъ, изслѣдованій и открытій: г. Анненковъ взялъ просто рукописи Пушкина, да съ нихъ и печаталъ большую часть его стихотвореній; библиографическія справки также наведены имъ, кажется, почти совершенно независимо отъ указаній прежнихъ библиографовъ. Говоримъ это потому, что большая часть стихотвореній и отрывковъ, помѣщенныхъ въ 7-мъ томѣ, или является нынѣ въ первый разъ въ печати, или указана не ранѣе прошлаго года въ „Библиографическихъ Замѣткахъ“

г. Лонгинова. Такъ имъ указаны были пьесы: „На лирѣ скромной, благородной“, „Когда средѣ оргій жизни шумной“, „И нѣкій духъ повѣялъ невидимо“, нѣсколько строфъ изъ „Евгенія Онѣгина“ и другихъ стихотвореній, нѣсколько эпиграммъ и проч. Объ этихъ произведеніяхъ мы не станемъ говорить, потому что читатели „Современника“, вѣроятно, помнятъ ихъ содержаніе, или, по крайней мѣрѣ, характеръ. Изъ стихотвореній, напечатанныхъ нынѣ въ первый разъ, замѣчательные особенно два, относящіеся къ послѣднему времени жизни Пушкина: „Когда по городу задумчивъ я брожу“ и „Когда великое свершалось торжество“. Оба они напечатаны были въ прошедшей книжкѣ „Современника“, и потому о нихъ мы тоже не станемъ распространяться. Изъ ранняго періода дѣятельности Пушкина напечатаны два превосходныя посланія къ аристарху, силою и серьезностью мысли напоминающія посланіе „Лицинію“, а по энергіи выраженія не уступающія лучшимъ ямбамъ Пушкина позднѣйшей эпохи. Чтобы яснѣе обрисовать характеръ выраженія пьесы, приведемъ изъ нея то мѣсто, гдѣ поэтъ опредѣляетъ обязанности своего аристарха:

О варваръ, кто изъ насъ, владѣлецъ русской лиры,
 Не проклиналъ твоей губительной сѣкиры?
 Докучнымъ евнухомъ ты бродишь между музъ:
 Ни чувства пылкія, ни блескъ ума, ни вкусъ,
 Ни слогъ пѣвца „Пировъ“, столь чистый, благородный—
 Ничто не трогаетъ души твоей холодной!
 На все кидаешь ты косою, невѣрный взглядъ,
 Подозрѣвая всѣхъ—во всемъ ты видишь ядъ.
 Оставь, пожалуй, трудъ, нимало не похвальный:
 Парнасъ не монастырь и не гаремъ печальный;
 И, право, никогда искусный коноваль—
 Излишней пылкости Пегаса не лишаль.

За этимъ стихомъ въ изданіи г. Анненкова перерывъ: вѣроятно, поэтъ допустилъ „нѣкоторые намеки на современные лица и событія“, отъ которыхъ издатель старался, по его словамъ, *очищать* пьесы Пушкина. Не знаемъ, до какой степени полезно это очищеніе, потому что не имѣемъ

подъ руками полной пьесы; но думаемъ, что пьеса нѣсколько не потеряла бы своего художественнаго значенія, если бы была напечатана вполнѣ. Да если бы и такъ, то все-таки слѣдовало бы выпущенные въ пьесѣ стихи помѣстить хоть въ примѣчаніяхъ. Впрочемъ, такъ какъ этого не сдѣлано и, конечно, по уважительнымъ причинамъ, то мы возвращаемся къ тому, что есть. Поэтъ продолжаетъ свое обращеніе къ аристарху:

Зачѣмъ себя и насъ терзаешь безъ причины?
Скажи, читалъ ли ты наказъ Екатерины?
Прочти, пойми его, увидишь ясно въ немъ
Свой долгъ, свои права; пойдешь инымъ путемъ.
Въ глазахъ Монархини сатирикъ превосходный
Невѣжество казнилъ въ комедіи народной.

Державинъ, бичъ вельможъ, при звукѣ грозной лиры,
Ихъ горделивые разоблачалъ кумиры;
Хемницеръ истину съ улыбкой говорилъ;
Наперсникъ „Душеньки“ двусмысленно шутилъ,
Киприду иногда являлъ безъ покрывала,
И никому изъ нихъ цензура не мѣшала.
Ты что же хмуришься? Признайся, въ наши дни
Съ тобой не такъ легко бѣ раздѣлялись они.
Ты въ этомъ виноватъ. Передъ тобой зеркало,
Дней Александровыхъ прекрасное начало:
Провѣдай, что въ тѣ дни произвела печать!
На попрощѣ ума нельзя намъ отступать...

За этимъ стихомъ, заключающимъ въ себѣ столь высокую и благородную мысль, опять находится у г. Анненкова перерывъ, тѣмъ болѣе досадный, что тутъ слѣдовали, вѣроятно, какія-нибудь подробности, которыя могли бы объяснить намъ нѣкоторые литературные взгляды Пушкина. Но тутъ издатель опять оставляетъ насъ въ недоумѣніи, и за послѣднимъ приведеннымъ нами стихомъ, слѣдуютъ стихи, заключающіе въ себѣ возраженіе аристарха, выказывающее его личность въ нѣсколько комическомъ свѣтѣ:

Все правда, скажешь ты—не стану спорить съ вами,
Но можно ль мнѣ, друзья, по совѣсти судить?
Я долженъ то того, то этого падить.

Конечно, вамъ смѣшно, а я нерѣдко плачу,
Читаю да крещусь,—мараю наудачу.
На все есть мода, вкусъ. Бывали, напимѣрь,
У насъ въ большой чести Бентамъ, Руссо, Вольтеръ;
А нынче и Миллотъ попался въ наши сѣти.
Я бѣдный человѣкъ: къ тому жъ жена и дѣти...

Разсерженный этой репликою, поэтъ заключаетъ ее, съ своей стороны, слѣдующими стихами:

Жена и дѣти, другъ, повѣрь,—большое зло;
Отъ нихъ все скверное у насъ произошло!

Второе посланіе къ аристарху, писанное въ томъ же 1827 г., отличается уже тономъ гораздо болѣе умѣреннымъ. Тутъ Пушкинъ уже очень доволенъ тѣмъ, что аристархъ его разрѣшилъ завѣтные доселѣ эпитеты: *божественный, небесный*, въ приложеніи ихъ къ красотѣ, — и приписываетъ это благотворному вліянію Шишкова, „воспріявшаго тогда правленіе наукъ“. Стихи „Сей старецъ дорогъ намъ“ и пр. находятся въ этомъ посланіи. Мысли обоихъ посланій интересно сличить, между прочимъ, съ позднѣйшими „Мыслями о цензурѣ“, чтобы видѣть, какимъ образомъ Пушкинъ приобрѣталъ все болѣе и болѣе умѣренности въ сужденіяхъ объ общественныхъ вопросахъ.

Въ 7-мъ томѣ являются также въ первый разъ довольно полные отрывки изъ „Моей Родословной“ (1830 г.); но и здѣсь она напечатана не вполне, вѣроятно, по тѣмъ же соображеніямъ, по которымъ выкинуты нѣкоторые стихи изъ посланій къ аристарху. Но нѣкоторые изъ выпущенныхъ стиховъ едва ли могли бы вредить пьесѣ въ какомъ-нибудь отношеніи.

Вообще мы не понимаемъ, отчего до сихъ поръ не печатались многія изъ стихотвореній Пушкина, давно извѣстныя въ рукописяхъ и не заключающія въ себѣ ничего предосудительнаго. Ихъ бы тѣмъ скорѣе слѣдовало напечатать, что ихъ, вѣдь, ужъ знаютъ же почти наизусть всѣ почитатели Пушкина. Напимѣрь, зачѣмъ не напечатаны многія литературныя эпиграммы? Мы не хотимъ подозрѣ-

Вать издателя въ согласіи съ мнѣніями „Сѣверной Пчелы“ и фельетонистовъ „Русскаго Инвалида“; но все-таки не можемъ не замѣтить, что въ изданіи напрасно сдѣлана эта уступка мнѣніямъ нѣкоторыхъ господъ, которые боятся, чтобы не помрачилась память Пушкина отъ напечатанія его эпиграммъ. Въ „Сѣверной Пчелѣ“ недавно помѣщена была благодарность „Инвалиду“ за его брань на эпиграммы. Къ этой благодарности „Пчела“ отъ себя прибавляетъ сравненіе эпиграммъ и полемическихъ статей Пушкина съ доносомъ Ломоносова на Миллера (хотя еще неизвѣстно, кто, въ отношеніяхъ Булгарина и Пушкина, болѣе приближался къ Ломоносовскому образу дѣйствій), и весьма замысловато замѣчаетъ, что отъ обнародованія этого доноса гораздо болѣе проигралъ во мнѣніи публики Ломоносовъ, нежели Миллеръ. Изъ этого ясно должно быть выведено заключеніе, что и отъ изданія полемики Пушкина гораздо больше проиграетъ онъ самъ, нежели гг. Гречъ и Булгаринъ. Такъ думаетъ „Сѣверная Пчела“, и осыпаетъ г. Анненкова укоризнами. Спрашивается теперь, къ чему же послужила деликатность г. Анненкова, вездѣ выставившаго только заглавныя буквы именъ тѣхъ, на кого нападалъ Пушкинъ, и даже, вмѣсто „Видокъ Фигляринъ“, поставившаго только В. Ф.? Совершенно напрасно думалъ издатель, что гг. Гречъ и Булгаринъ сконфузятся отъ напоминанія о томъ, какъ честилъ ихъ Пушкинъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоило бы взять одно изъ изданій, выходившихъ подъ редакцію сихъ двухъ журналистовъ во время Пушкина. Не говоря о пошлой брани, расточавшейся тамъ великому поэту, мы нашли бы тамъ, что гг. Булгаринъ и Гречъ все умѣютъ растолковать въ свою пользу!.. Не даромъ же г. Булгаринъ столько лѣтъ подвизался на позорищѣ журнальномъ вмѣстѣ съ Н. И. Гречемъ; не даромъ же про него и аллегорія была сложена, что онъ владѣлъ нѣкогда мечемъ обоюдоострымъ. Нѣтъ, совершенно напрасно было церемониться съ тѣми господами, которые сами не церемонились съ Пушкинымъ и Гоголемъ. Намъ могутъ сказать, что о гг. Гречѣ и Булгаринѣ лучше не говорить, потому что участь ихъ въ литературѣ уже рѣшена... Пусть имя ихъ

своею смертію умереть; пусть ихъ писательская дѣятельность не донесется до потомства, не взирая на то, что ими самими многократно чужая дѣятельность доносима была до свѣдѣнія любителей въ ихъ разборахъ, и еще болѣею частію въ искаженномъ видѣ.

Изъ полемическихъ статей, напечатанныхъ въ 7-мъ томѣ, интересенъ „Отрывокъ изъ литературныхъ лѣтописей“, съ неподражаемымъ юморомъ рассказывающій исторію о томъ, какъ г. Каченовскій „принималъ другія (нелитературныя) мѣры“ противъ игриваго произвола Полевого, „бывъ увлеченъ слѣдствіями неблагонамѣренности, прикосновенными къ чести службы и къ достоинству мѣста, при которомъ г. Каченовскій имѣлъ счастье продолжать оную“. Исторія была въ самомъ дѣлѣ забавна, и положеніе почтеннаго профессора крайне незавидно: Пушкинъ скромно и спокойно, но совершенно ясно успѣлъ изобразить дѣйствія Михаила Трофимовича такъ, что для публики не могло оставаться на счетъ ихъ ни малѣйшаго сомнѣнія, особенно при помощи ядовитой эпитаграммы: „Обиженный журналами жестоко“, которая появилась въ то же время.

Изъ статей историческихъ въ седьмой томѣ вошли двѣ записки Пушкина, составленные имъ только какъ матеріалъ для обработки: „Матеріалы для первой главы исторіи Петра Великаго“ и „О камчатскихъ дѣлахъ“. Обѣ онѣ впервые являются теперь въ печати. Точно также впервые напечатана статья Пушкина о Радищевѣ, совершенно конченная и отдѣланная. Относительно этой статьи мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ издателя, что она принадлежитъ къ тому зрѣлому, здравому и проницательному критическому такту, который отличалъ сужденія Пушкина о людяхъ незадолго до его кончины. Въ этой статьѣ мы видимъ взглядъ весьма поверхностный и пристрастный. Пушкинъ увлекся здѣсь мыслью единственно о прямодушіи, необходимомъ въ авторскомъ дѣлѣ, и понялъ все дѣло односторонне. Онъ никакъ не хотѣлъ отдѣлать *преступленія печати*, совершеннаго Радищевымъ въ молодости, отъ всей его послѣдующей жизни. Стараясь видѣть въ Радищевѣ полу-невѣжду и полу-негодяя, Пушкинъ

нерѣдко впадаетъ даже въ противорѣчія съ самимъ собою. Въ концѣ статьи онъ говоритъ о немъ съ рѣзкостью, какую рѣдко позволялъ себѣ: „Онъ есть истинный представитель полупросвѣщенія. Невѣжественное презрѣнiе ко всему прошедшему, слабоумное изумленiе предъ своимъ вѣкомъ, слѣпое пристрастiе къ новизнѣ, частныя поверхностныя свѣдѣнiя, наобумъ приноровленныя ко всему, — вотъ что мы видимъ въ Радищевѣ“. Такой приговоръ слишкомъ жестокъ, и эпитеты — слабоумнаго, невѣжественнаго, слѣпago — слишкомъ положительны, чтобы можно было ожидать отъ Пушкина высokaго мнѣнiя объ умѣ Радищева. Несмотря на то, мы находимъ, что Пушкинъ, упрекая Радищева за его книгу, говоритъ, что онъ могъ бы лучше прямо представить правительству свои соображенiя, потому что оно всегда „чувствовало нужду въ содѣйствiи людей „просвѣщенныхъ и мыслящихъ“; такимъ образомъ, поэтъ не отказывается поставить въ число людей „просвѣщенныхъ и мыслящихъ“ этого человѣка, которому самъ уже приписалъ невѣжество, слабоумiе, поверхностность и проч. Это непоследовательно. Или нужно было признать Радищева человѣкомъ даровитымъ и просвѣщеннымъ, и тогда можно отъ него требовать того, чего требуетъ Пушкинъ; или видѣть въ немъ до конца слабоумнаго представителя полу-просвѣщенiя, и тогда совершенно неумѣстны тѣ требованiя, какiя высказываетъ Пушкинъ. Онъ хочетъ отъ Радищева очень многого, онъ требуетъ такихъ вещей, какихъ можно ожидать только отъ человѣка умнаго и просвѣщеннаго. Зачѣмъ такiя высокiя требованiя отъ человѣка, въ которомъ, тремя строками выше, не признается ничего, кромѣ невѣжества, слабоумiя и пр. Что толковать съ такимъ человѣкомъ?.. Зачѣмъ укорять его, что онъ не сдѣлалъ того, чего мы хотимъ, если мы сами признаемъ, что онъ не могъ этого сдѣлать?.. Но Пушкинъ не одинъ только разъ впадаетъ въ такую ошибку. Въ другомъ мѣстѣ онъ старается оправдать Радищева въ томъ, что онъ подъ старость „перемѣнилъ образъ мыслей и не питалъ уже въ сердцѣ своемъ никакой злобы къ прошедшему“. Отъ какого же обвиненiя оправдываетъ онъ Радищева? Конечно, ужъ не отъ

обвиненія въ томъ, что онъ оставилъ свою злобу; само же себѣ это обстоятельство должно было представляться Пушкину очень похвальнымъ. Оправданіе здѣсь возможно было для Пушкина только въ отношеніи къ самому факту *перемѣны* мнѣній. Но стоило ли оправдывать перемѣну мнѣній въ человѣкѣ, который отличается только „*слѣпыми*“ пристрастіемъ къ новизнѣ, *поверхностными* свѣдѣніями, *наобумъ* приноровленными ко всему“? Такой человѣкъ, разумѣется, долженъ мѣнять свои мнѣнія тотчасъ, какъ только проходитъ мода на нихъ. Не забудьте, что онъ *слѣпо* увлекается всѣмъ новымъ, не мыслить самъ, а только *наобумъ* приноравливаетъ ко всему свои поверхностныя свѣдѣнія. Но Пушкинъ считалъ нужнымъ оправдывать перемѣну Радищева, слѣдовательно, тѣмъ самымъ признаетъ въ немъ искреннія убѣжденія, оставленіе которыхъ можетъ бросать тѣнь на самый характеръ человѣка. Еще яснѣе выражается, безъ вѣдома автора, уваженіе его къ Радищеву въ самомъ оправданіи, рѣшительно противорѣчащемъ строгому приговору, произнесенному относительно всей дѣятельности этого человѣка вообще. „Время измѣняетъ человѣка, говоритъ Пушкинъ. Глупецъ одинъ не измѣняется, ибо время не приноситъ ему развитія, а опыты для него не существуютъ (слѣдовательно, Радищевъ не былъ глупъ, не былъ невѣжественнымъ представителемъ полупросвѣщенія, а постоянно развивался и пользовался опытами времени). Могъ ли чувствительный и пылкій Радищевъ не содрогнуться при видѣ того, что происходило во Франціи во время *ужаса*? (слѣдовательно, онъ не *слѣпо* увлекался всѣмъ новымъ). Могъ ли онъ безъ омерзенія глубокаго слышать нѣкогда любимыя свои мысли, проповѣдуемыя съ высоты гильотины, при гнусныхъ рукоплесканіяхъ черни? (Слѣдовательно, онъ не всему изумлялся слабоумно въ своемъ вѣкѣ, а признавалъ дурными нѣкоторыя его явленія). Увлеченный однажды львинымъ ревомъ колоссальнаго Мирабо, онъ уже не хотѣлъ сдѣлаться поклонникомъ Робеспьера, этого сентиментальнаго тигра“ (значитъ ли это, что онъ *наобумъ* примѣнялъ ко всему свои поверхностныя свѣдѣнія?)... Выразивши такимъ образомъ, противъ во-

ли, высокія понятія о Радищевѣ, котораго непременно хочеть выставить съ дурной стороны, поэтъ-критикъ рассказываетъ вслѣдъ затѣмъ смерть Радищева и поводъ къ ней, съ явнымъ желаніемъ и тутъ осудить его. Дѣло происходило такимъ образомъ. Императоръ Александръ, по вступленіи на престолъ, вспомнилъ о Радищевѣ, и замѣтивши въ сочинителѣ путешествія „отвращеніе отъ многихъ злоупотребленій и нѣкоторые благонамѣренные виды“ опредѣлилъ его въ комиссію составленія законовъ и приказалъ ему изложить свои мысли касательно нѣкоторыхъ гражданскихъ постановленій. Радищевъ исполнилъ это со всею откровенностью и смѣлостью своихъ задушевныхъ убѣжденій. Начальникъ, которому принесть онъ свой проэктъ, — замѣтилъ ему: „Эхъ, Александръ Николаевичъ, охота тебѣ пустословить по-прежнему! или мало тебѣ было Сибири?“—Видя, что убѣжденія его принимаются такимъ образомъ, Радищевъ глубоко оскорбился, и, пришедши домой, отравилъ себя. Рассказывая эту исторію, Пушкинъ, какъ бы съ намѣреніемъ кольнуть Радищева, замѣчаетъ, что „авторъ *Путешествія* вспомнилъ старину, и въ проэктѣ, представленномъ начальству, предался своимъ прежнимъ мечтаніямъ“. Объ этомъ обстоятельствѣ, вѣроятно, забылъ Пушкинъ, когда высказалъ свое требованіе, чтобы Радищевъ, вмѣсто брани, представилъ лучше свои соображенія, и пр. Несчастный авторъ, вѣрно, зналъ себя и обстоятельства, въ которыхъ онъ находился, гораздо лучше, нежели его безпощадный критикъ.

Въ заключеніе своей статьи, авторъ спрашиваетъ: „чего именно желалъ Радищевъ? И говорить за него: „на сіи вопросы врядъ ли могъ онъ самъ отвѣчать удовлетворительно“, то-есть, по мнѣнію Пушкина, несчастный авторъ, печатая свое путешествіе, самъ не понималъ, къ чему онъ это дѣлаетъ. Мы не будемъ входить въ разсмотрѣніе того, справедливо ли это мнѣніе само по себѣ, но замѣтимъ, что такое сужденіе противорѣчитъ другому мѣсту той же самой статьи, гдѣ Пушкинъ говоритъ: „не можемъ въ немъ не признать преступника съ духомъ необыкновеннымъ, *политическаго фанатика*“. Замѣтимъ на это, что фанатизмъ непременно

долженъ привязываться къ какому-нибудь предмету, и намъ кажется, что невозможно представить себѣ фанатизма, который бы не зналъ, чѣмъ онъ увлекается. Возможно ли же примирить сужденія Пушкина, что Радищевъ былъ политическимъ фанатикомъ, и чтобы, несмотря на то, онъ не могъ отвѣчать на вопросъ: „чего желалъ онъ?“

Вообще нужно замѣтить, что статья о Радищевѣ любопытна, какъ фактъ, показывающій, до чего можетъ дойти умъ живой и свѣтлый, когда онъ хочетъ непременно подвести себя подъ извѣстныя, заранее принятыя опредѣленія. Въ частныхъ сужденіяхъ, въ фактахъ, представленныхъ въ отдѣльности, постоянно виденъ живой, умный взглядъ Пушкина, но общая мысль, которую доказать онъ поставилъ себѣ задачей, ложна, неопредѣленна, и постоянно вызываетъ его на сбивчивыя и противорѣчащія фразы. Къ сожалѣнію, статья о Радищевѣ представляетъ не единственный примѣръ подобнаго несправедливаго увлеченія. Онъ составилъ себѣ кругъ идей, которыя уже были для него неприкосновенны, хотя бы даже несправедливость ихъ и была очевидна. Онъ уже восклицаетъ:

Да будетъ проклятъ правды гласъ,
Когда посредственности холодной,
Завистливой, къ соблазну жадной,
Онъ угождаетъ праздно.

Проклиная правду, когда она благопріятна была для посредственности, и наивно признаваясь въ этомъ, поэтъ, разумѣется, старался поддерживать въ себѣ всякій обманъ, казавшійся ему благороднымъ и возвышеннымъ. „Насъ возвышающій обманъ“ былъ для него, дѣйствительно, дороже тьмы низкихъ истинъ. Въ раздѣленіи истинъ на низкія и высокія опять отражалось, разумѣется, вліяніе старой реторической школы, допускавшей еще и среднія истины такъ же точно, какъ допускала она высокій, средній и низкій слогъ. И Пушкинъ, при всемъ своемъ презрѣніи къ реторической школѣ, не могъ отъ нея освободиться въ этомъ

случаѣ, и въ послѣднее время жизни, вмѣстѣ съ полнымъ обращеніемъ его къ чистой художественности, усилилось въ немъ и кристалистическое къ нѣкоторымъ исключительнымъ истинамъ, соединенное съ отвращеніемъ отъ другихъ. Онъ уже заглушалъ въ себѣ нѣкоторые изъ прежнихъ сердечныхъ звуковъ, называя ихъ слѣдствіемъ безумства, лѣни и страстей; онъ уже позволилъ себѣ въ одномъ стихотвореніи называть наглецомъ Наполеона, о которомъ самъ писалъ за десять лѣтъ: „да будетъ омраченъ нозоромъ тотъ малодушный, кто омрачитъ безумнымъ укоромъ его развѣнчанную тѣнь...“
Прежнія задумчивыя мечты высказывались теперь уже тономъ шутливымъ и даже насмѣшливымъ, а то, что въ молодости вызывало насмѣшки, теперь возбуждало въ поэтѣ благоговѣйное умиленіе. Прежде писалъ онъ къ одному изъ друзей гордое посланіе (не напечатанное почему-то у г. Анненкова), въ которомъ повѣрялъ другу свои надежды и мечты о славѣ пророка; а черезъ нѣсколько лѣтъ онъ писалъ:

Но въ сердцѣ, бурями смиренномъ,
Теперь и лѣнь и тишина,
И въ умиленіи вдохновенномъ,
На камнѣ дружбой освященномъ,
Пишу я наши имена.

Немудрено, что при такомъ расположеніи, ему очень не нравилось все, что мѣшало лѣни и тишинѣ.

Впрочемъ, здравый природный умъ предохранялъ Пушкина отъ излишнихъ крайностей въ принятомъ имъ направленіи и, при всемъ недостаткѣ серьезнаго образованія, онъ умѣлъ понимать ошибки людей, заходившихъ слишкомъ далеко въ примѣненіи тѣхъ началъ, вѣрности которыхъ онъ замъ, повидимому, вполне довѣрялъ. Въ этомъ обстоятельстве мы находимъ ясное подтвержденіе того, что направленіе, принятое Пушкинымъ въ послѣдніе годы, вовсе не исходило изъ естественныхъ потребностей души его, а было только слѣдствіемъ слабости характера, не имѣвшаго внутренней опоры въ серьезныхъ, независимо развившихся убѣжденіяхъ. Оттого-то въ послѣдніе годы его жизни мы

видимъ въ немъ какое-то странное бореніе, какую-то двойственность, которую можно объяснить только тѣмъ, что, несмотря на желаніе успокоить въ себѣ всѣ сомнѣнія, проникнуться какъ можно полнѣе заданнымъ направленіемъ,— все-таки онъ не могъ освободиться отъ живыхъ порывовъ молодости, отъ гордыхъ, независимыхъ стремленій прежнихъ лѣтъ. До сихъ поръ въ печати извѣстны были почти только тѣ произведенія послѣднихъ лѣтъ жизни Пушкина, въ которыхъ выражалось, болѣе или менѣе ярко, направленіе, господствовавшее въ немъ въ эти послѣднія годы. Нынѣ изданный дополнительный томъ сообщаетъ много произведений совершенно противоположнаго характера, и они-то доказываютъ, что Пушкинъ и предъ концомъ своей жизни далеко еще не всей душою преданъ былъ тому направленію, которое принялъ, повидимому, такъ пламенно, которое за то произвело охлажденіе къ нему въ нѣкоторыхъ изъ его почитателей. Извѣстно, напримѣръ, что въ послѣднее время въ немъ особенно сильно развились генеалогическіе предразсудки; но нынѣ напечатанное стихотвореніе: „Когда по городу задумчивъ я брожу“ обнаруживаетъ воззрѣніе совершенно чистое, равно какъ и нѣкоторые стихи пьесы, озаглавленной „Изъ VI Пиндемонте“— и написанной такъ же, какъ и „Кладбище“, въ 1836 г. Въ ней есть, между прочимъ, такіе стихи:

Не дорого цѣню я громкія права,
 Отъ коихъ не одна кружится голова.
 Я не ропщу о томъ, что отказали боги
 Мнѣ въ сладкой участи оспаривать налоги,
 Или мѣшать... другъ съ другомъ воевать...
 ... Пины, лучшія мнѣ дороги права.
 Никому
 Отчета не давать; себѣ лишь самому
 Служить и угождать...
 Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи...
 ... Вотъ счастье! вотъ права!...

Извѣстно также, что въ стихотвореніяхъ Пушкина, и чѣмъ позже, тѣмъ ярче, высказывалось направленіе громозвучной

поэзіи, которое такъ сильно было въ нашихъ поэтахъ прошедшаго столѣтія. Онъ восхищался побѣдами, славою оружія, но мало выказывалъ уваженія къ оружію слова. Были такіе изъ тогдашнихъ критиковъ Пушкина, которые, опираясь на его знаменитый стихъ „Кому вѣнецъ—мечу иль крику“, утверждали даже, что Пушкинъ вовсе не признавалъ силы литературнаго убѣжденія. Но напечатанныя нынѣ статьи его— „О мнѣніи г. Лобанова“, „Отрывокъ изъ литературныхъ лѣтописей“ и пр. доказываютъ, что онъ придавалъ очень большое значеніе не только вообще литературѣ, но даже и тѣмъ памфлетическимъ возгласамъ, которые именно можно назвать крикомъ. Въ послѣднее время Пушкинъ окончательно также склонился, повидимому, къ чистой художественности, полагая, что сила слова, сатира, литературное обличеніе—ничтожны для исправленія людей; что для этого нужны другія, болѣе сильныя средства. Онъ отталкивалъ отъ себя всѣ практическія притязанія толпы словами:

Подите прочь! какое дѣло
Поэту мирному до васъ?...

Но нынѣ, въ 7-мъ томѣ, напечатано его стихотвореніе, въ которомъ онъ самъ хочетъ приняться за сатиру и клеймить пороки. Стихотвореніе это написано въ 1830 году, слѣдовательно, въ то же время, какъ и пресловутая „Чернь“. Начинается это стихотвореніе такъ:

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный кличъ.

. оканчивается:

О, сколько лицъ безстыдно-блѣдныхъ,
О, сколько лбовъ широко-мѣдныхъ
Готовы отъ меня принять
Неизгладимую печать!...

Поэтъ, какъ мы знаемъ, не исполнилъ своего предположенія; но уже самое намѣреніе его служитъ лучшимъ опроверженіемъ мыслей, высказанныхъ въ „Черни“ и доселѣ

приводимыхъ приверженцами чистой художественности для подтвержденія ихъ мнѣній.

Въ отношеніи къ сужденіямъ о нѣкоторыхъ литературныхъ явленіяхъ, Пушкинъ тоже является не всегда вѣрнѣе самому себѣ. Боязливая попечительность о соблюденіи нравственности, похожая на заботу жены Платона Михайлыча о здоровьи своего мужа, въ „Горѣ отъ ума“,—все больше и больше овладѣвала Пушкинымъ въ послѣдніе годы жизни. Онъ приходилъ въ ужасъ отъ изданія „Записокъ палача Самсона“ и говорилъ, что слѣдовало бы запретить ихъ. Но онъ же, въ послѣдній годъ своей жизни, очень энергически возсталъ противъ г. Лобанова, когда сей академикъ произнесъ въ академіи рѣчь „О нечѣстности и безнравствѣ“ современной литературы, и говорилъ, что „по множеству сочиненныхъ нынѣ безнравственныхъ книгъ цензура должна проникать въ ухищренія пишущихъ“, и что академія должна ей помогать въ этомъ, „яко сословіе, учрежденное для наблюденія нравственности, цѣломудрія и чистоты языка“, то есть для того, чтобы „неослабно обнаруживать, поражать и разрушать зло“ на поприщѣ словесности. Пушкинъ возражалъ на это слѣдующей репликой, которая также напечатана въ изданномъ нынѣ томѣ, и которую мы считаемъ не лишнимъ выписать для того, чтобы показать, что и въ самыхъ уклоненіяхъ своихъ отъ здравыхъ идей, въ самомъ подчиненіи рутинѣ Пушкинъ не доходилъ никогда до обскурантизма, и даже поражалъ, когда могъ, обскурантизмъ другихъ. Вотъ его мысли, опровергающія г. Лобанова:

„Но гдѣ же у насъ это множество безнравственныхъ книгъ? Кто сіи дерзкіе, злонамѣренныя писатели, ухищряющіеся ниспровергать законы, на коихъ основано благоденствіе общества? и можно ли упрекать у насъ цензуру въ неосмотрительности и послабленіи? Вопреки мнѣнію г. Лобанова, цензура не должна проникать въ ухищренія пишущихъ. Цензура долженствуетъ обращать особенное вниманіе и духъ разсматриваемой книги, на видимую цѣль и намѣрен автора, и въ сужденіяхъ своихъ принимать всегда за основаніе явный смыслъ рѣчи, не позволяя себѣ произвольнаго т

жованія оной въ дурную сторону. (Уставъ о ценсурѣ, § 6). Такова была Высочайшая воля, даровавшая намъ литературную собственность и свободу мысли! Если съ перваго взгляда сіе основное правило нашей ценсуры и можетъ показаться льготою чрезвычайно, то по внимательнѣйшемъ разсмотрѣніи увидимъ, что безъ того не было бы возможности напечатать ни одной строчки, ибо всякое слово можетъ быть перетолковано въ худую сторону“ (Т. VII, стр. 109).

Мы коснулись всего, наиболѣе замѣчательнаго въ дополнителномъ томѣ сочиненій Пушкина. О литературныхъ отрывкахъ, помѣщенныхъ въ концѣ тома, сказать нечего; они интересны только въ томъ отношеніи, въ какомъ „всякая строка всякаго великаго писателя интересна для потомства“. Читая ихъ, мы можемъ припоминать знакомыя черты, знакомыя приемы любимаго поэта; но подобныя отрывки не подлежатъ критическому разбору.

Въ заключеніе, мы должны сказать нѣсколько словъ о самомъ изданіи. Оно аккуратно по-прежнему; опечатокъ значительныхъ немного; въ правописаніи сохраняются своенравныя ошибки Пушкина (такъ, на примѣръ, писатель, отечество—печатаются съ большой буквы, а Гораций—съ маленькой); при каждой статьѣ находятся примѣчанія, большею частію библиографическія; въ концѣ тома приложены: алфавитный указатель всѣхъ сочиненій Пушкина, помѣщенныхъ въ семи томахъ изданія г. Анненкова, и подробный указатель къ матеріаламъ для біографіи Пушкина, помѣщеннымъ въ первомъ томѣ того же изданія. Этотъ послѣдній указатель значительно облегчаетъ пользованіе матеріалами, которое до сихъ поръ было нѣсколько затруднительно, по недостатку раздѣленія ихъ на главы. Теперь, съ изданіемъ 7-го тома Пушкина, дѣло г. Анненкова кончено, и всякій любитель литературы, кромѣ развѣ людей, сочувствующихъ издателямъ „Сѣверной Пчелы“, почтитъ, конечно, искренней благодарностью его труды по изданію нашего великаго поэта, какъ истинную заслугу предъ русской литературой и обществомъ.

Н. Добролюбовъ.

*) „...Мы почитаемъ себя счастливыми, сказалъ Пушкинъ (въ примѣчаніи къ отрывку изъ рукописи Карамзина: „О древней и новой Россіи“), имѣя возможность представить нашимъ читателямъ хотя отрывокъ изъ драгоценной рукописи. Они услышатъ если не полную рѣчь великаго нашего соотечественника, то, по-крайней мѣрѣ, звуки его умолкнувшаго голоса“.

Нѣсколько разъ потомъ подобныя слова сопровождали опубликованіе неизданныхъ произведеній другихъ нашихъ великихъ поэтовъ, голоса которыхъ также умоляли, и публика всегда принимала ихъ съ живымъ участіемъ и благодарностью къ тѣмъ, кто доставлялъ ей случай еще разъ услышать любимые и, по одному уже имени, симпатичные звуки. Но ни одинъ изъ этихъ умолкнувшихъ голосовъ, когда онъ снова изрѣдка раздается, не встрѣчаетъ, конечно, такого жаднаго любопытства, такого благоговѣйнаго вниманія, какъ голосъ Пушкина, и ни одинъ издатель не можетъ съ большею истинностью примѣнить вышеприведенныхъ поэтическихъ словъ его, обратившихся уже теперь въ обыкновенную риторическую фразу. Въ отношеніи пѣвца „Бахчисарайскаго Фонтана“ слова эти перестаютъ быть метафорою: голосъ Пушкина, пушкинскіе звуки—это почти то же, что голосъ Рубини, россиніевскіе звуки. Съ другой стороны, то, что сказало въ этой музыкальной рѣчи, даетъ нашему великому поэту завидное право и на имя великаго соотечественника. Народная слава Пушкина давно уже (прежде, чѣмъ критическая оцѣнка его произведеній сдѣлалась возможною) достигла своего апогея: она была быстрымъ результатомъ тѣхъ непосредственныхъ впечатлѣній, которыя производили на публику его произведенія при ихъ появленіи на свѣтъ. И теперь, по мѣрѣ того какъ поколѣнія, возрастая и научаясь грамотѣ, вступаютъ въ кругъ читателей, любовь къ Пушкину и его слава увеличиваются и упрочиваются сами собою. Критика мало прибавила и прибавитъ къ этой *живой* народной славѣ. Самыя глубокія ея положенія, ве-

*) „Библиотека для Чтенія“ 1858 г., т. 147, № 2. Сочиненія Пушкина. Седьмой, дополнительный томъ. Изданіе П. В. Анненкова. СІБ. 1857. Статья И. Л.

дущія читателей къ сознательному наслажденію изящнымъ и опредѣляющія важность заслуги писателя, не усилятъ блеска, окружающаго имя Пушкина. Безъ ея помощи онъ занялъ уже отчасти, и со временемъ (по мѣрѣ распространенія просвѣщенія или даже просто грамотности) вполне займетъ то мѣсто, которое досталось Шиллеру въ Германіи, Беранже во Франціи. Такова завидная участь и несомнѣнный признакъ поэтовъ народныхъ въ полномъ смыслѣ этого слова!...

Приступая къ обзору послѣдняго тома „Сочиненій Пушкина“, мы начали съ мысли о народномъ значеніи нашего любимѣйшаго поэта для того, чтобы во имя чистыхъ и непосредственныхъ наслажденій, которыя образуютъ столь многочисленный и постоянно увеличивающійся кругъ его поклонниковъ и дѣлаютъ его народнымъ, поблагодарить издателя за оконченный имъ нынѣ трудъ. Въ этомъ изданіи была такая настоящая и столь долго не удовлетворявшаяся потребность, что нельзя не благодарить того, кто удовлетворилъ ей, и притомъ такъ умно и добросовѣстно. Эти послѣднія достоинства составляютъ, впрочемъ, особую заслугу г. Анненкова и вмѣстѣ съ тѣмъ даютъ ему право на особую благодарность.

Такое право издатели вездѣ приобрѣтаютъ рѣдко, а у насъ оно представляетъ едва ли не единственный примѣръ.

Заслуга г. Анненкова состоитъ въ библиографическомъ и критическомъ трудѣ, который онъ приложилъ къ своему изданію, и въ системѣ, по которой оно сдѣлано. Эта заслуга, можетъ быть, еще не вполне оцѣнена и требуетъ подробнаго критическаго разбора. Мы не намѣрены теперь входить въ подробный разборъ, но, говоря о вновь вышедшемъ послѣднемъ томѣ изданія „Сочиненій Пушкина“, считаемъ необходимымъ обратить вниманіе читателей на глубоко обдуманнѣйшій трудъ издателя, безъ чего большая часть пьесъ, составляющихъ этотъ томъ, теряютъ самое важное свое значеніе: какъ ни понятно чувство, возбуждаемое даже слабыми „звуками умолкнувшаго голоса“ великаго пѣвца, но одно только это сантиментальное чувство бесплодно. Въ трудѣ г. Анненкова превосходно опредѣлено и на дѣлѣ доказано,

какое важное значеніе могутъ имѣть отрывистыя, недоконченныя и еще слабыя произведенія великаго писателя въ дѣлѣ искусства, въ изученіи законовъ творчества и самаго его процесса.

Г. Анненковъ въ „Матеріалахъ для біографіи А. С. Пушкина (помѣщенныхъ въ первомъ томѣ), съ искусствомъ тонкаго аналитика и напряженнымъ вниманіемъ ученаго наблюдателя, слѣдитъ за постепеннымъ развитіемъ творческихъ силъ Пушкина. Онъ вводитъ насъ въ мастерскую художника и старается посвятить въ тайны его творческой производительности. Трудъ его, названный имъ „Матеріалами для біографіи“, прежде всего есть исторія созданія произведеній нашего великаго поэта. Не позволяя себѣ ни одного хоть сколько-нибудь гадательнаго положенія и основываясь вездѣ на тщательномъ изученіи предмета, на фактахъ и самой строгой, ученой ихъ повѣркѣ, онъ скупъ на выводы и приговоры, но за то выведенныя имъ положенія драгоценны, какъ твердыя и точныя опредѣленія науки. Въ его эстетическихъ изслѣдованіяхъ о Пушкинѣ заключается зерно будущей полной эстетической оцѣнки произведеній творца „Бориса Годунова“.

До сихъ поръ наша критика, при всей чистотѣ стремленій и талантливости ея главныхъ представителей, отличается именно недостаткомъ точности и опредѣленности положеній. Она руководствуется собственными соображеніями (обличающими часто рѣдкій эстетическій вкусъ, остроуміе и глубокомысліе), а не изслѣдованіями и наукой. Въ настоящее же время въ критикѣ нашей къ произволу гадательныхъ сужденій присоединяется еще равнодушіе къ существеннымъ вопросамъ, подлежащимъ ея разрѣшенію, и усердіе къ разрѣшенію вопросовъ постороннихъ или второстепенныхъ въ дѣлѣ искусства. Такимъ образомъ, не заключая въ себѣ внутреннихъ силъ—знанія, науки, и перенесенная на чуждую ей почву, она чахнетъ и все болѣе и болѣе теряетъ значеніе.

Критическая дѣятельность П. В. Анненкова представляетъ въ этомъ отношеніи рѣдкое и пріятное исключеніе. Она

имѣть преимущественно характеръ изслѣдованій, но изслѣдованій, основанныхъ, какъ мы сказали, на тщательномъ изученіи предмета, на неуклонномъ стремленіи къ разрѣшенію существенныхъ въ искусствѣ вопросовъ, на строгихъ и точныхъ опредѣленіяхъ науки. Нельзя не уважать этой скромной, но трудной и прочной критической дѣятельности, которая, при всей ея *неэффективности*, становится все болѣе и болѣе замѣтною; замѣтною для всѣхъ тѣхъ, кто смотритъ на критику эстетическихъ произведеній съ серьезной стороны; кто желаетъ видѣть въ ней не однѣ краснорѣчивыя тирады или остроумныя замѣтки о разныхъ предметахъ по поводу эстетическихъ изслѣдованій, обдуманыхъ и не уклоняющихся (для потѣхи публики или въ видахъ ея назиданія чему бы то ни было) отъ главнаго предмета.

Современная критика слишкомъ много заботится объ удовольствіи или матеріальной пользѣ публики. Все рѣже и рѣже встрѣчаются статьи, въ которыхъ обнаруживалась бы если не полная подготовка къ разрѣшенію эстетическихъ и литературныхъ вопросовъ, то, по крайней мѣрѣ, искреннее и добросовѣстное къ тому стремленіе. Самое слово: *эстетическая критика* возбуждаетъ почти насмѣшку. Пустѣйшая критическая болтовня о предметахъ, съ которыми образованный человѣкъ знакомится на школьной скамьѣ, проходитъ спокойно и даже часто съ эффектомъ. То же бываетъ и съ циническими выходками завистливой бездарности, разрѣшающейся обыкновенно *мелкой* критической дѣятельностью, т. е. грубыми нападками и придирками. Между тѣмъ, всякая критическая попытка во имя чистаго искусства, при нѣкоторой слабости, подвергается гоненію, какъ позорный поступокъ. Очень часто произведенія даже лучшихъ нашихъ писателей остаются безъ своевременной и надлежащей эстетической оцѣнки: за отсутствомъ талантливой критики, занимающейся, какъ мы сказали, рѣшеніемъ разныхъ постороннихъ вопросовъ, они дѣлаются добычей площадной оцѣнки *мелкой* критики, завистливой или тупой. Слѣдуетъ, кажется, обратить вниманіе на то, что литературныя обстоятельства измѣнились, что кругъ литературной дѣятельности замѣтно увеличивается, что въ этотъ

кругъ входить новые дѣтели, незнакомые ни съ литературнымъ преданіемъ, ни съ дѣйствительными условіями, въ которыхъ находится наша умственная дѣятельность, что вмѣстѣ съ тѣмъ, единство литературныхъ мнѣній должно все болѣе и болѣе разрушаться, и что прежній способъ рѣшать вопросы домашнимъ образомъ, дѣйствовать сообща и представлять публикѣ одни только результаты своихъ домашнихъ соображеній, одни только бездоказательные приговоры—становится невозможнымъ. Чтобы имѣть вѣсь въ глазахъ публики, современная критика, болѣе чѣмъ когда либо, должна обнаружить прямое и рѣшительное участіе къ эстетическимъ вопросамъ и основывать свои приговоры на тщательныхъ изслѣдованіяхъ и положеніяхъ науки.

Критическая дѣятельность г. Анненкова стремится удовлетворить этимъ требованіямъ, и потому заслуживаетъ полного уваженія и вниманія. Ознакомясь ближайшимъ образомъ съ трудомъ издателя-критика и руководствуясь его указаніями, читатель найдетъ въ отрывкахъ и дополненіяхъ, собранныхъ въ послѣднемъ томѣ сочиненій Пушкина, рядъ полезныхъ уроковъ и обильную пищу для ума и эстетическихъ соображеній.

Седьмой и послѣдній томъ настоящаго изданія содержитъ въ себѣ нѣсколько пьесъ Пушкина, не бывшихъ еще въ печати, нѣсколько произведеній, уже опубликованныхъ прежде, и дополненія къ статьямъ и стихотвореніямъ, вышедшимъ въ свѣтъ при его жизни. „Мы имѣли, говоритъ издатель, намѣреніе собрать все, что ходитъ еще по рукамъ изъ записокъ, посланій, экспромптовъ поэта и можетъ быть общено публикѣ, но усилія наши не вполне увѣнчались успѣхомъ. Правда, мы приобрѣли убѣжденіе, что количество и качество остающихся еще отрывковъ ни въ какомъ случаѣ не должно быть велико, но сознаемся, что читатель можетъ еще встрѣтиться и послѣ нашего изданія съ посланіемъ, экспромтомъ или стихотворной запиской поэта, тщательно сбереженными отъ извѣстности. Скажемъ однакоже здѣсь, что всякое изданіе классическаго писателя должно соответствовать времени своего выхода и потому неизбежно имѣ-

еть своего рода ограниченія и условія: задача изданія состоитъ въ томъ, чтобы не быть ниже потребностей и возможностей современности...“ Всякій, кто знакомъ съ изданіемъ г. Анненкова, согласится, что оно никакъ не ниже потребностей и возможности современности. Послѣдній томъ убѣждаетъ въ этомъ еще болѣе.

Произведенія, вошедшія въ эту книгу, размѣщены въ хронологическомъ порядкѣ, указывающемъ настоящія ихъ мѣста въ изданіи 1855 г., на которое притомъ сдѣланы всѣ необходимыя ссылки. Въ концѣ книги приложены подробныя алфавитныя указатели ко всѣмъ стихотвореніямъ и статьямъ Пушкина, заключающимся въ семи томахъ настоящаго изданія, а также и указатель къ „Матеріаламъ для біографіи“ поэта, помѣщеннымъ въ первомъ томѣ.

Прежде всего мы приведемъ нѣсколько пьесъ и отрывковъ, составляющихъ драгоцѣнное украшеніе вновь вышедшаго тома. Начнемъ съ отрывка, взятаго изъ тетрадей поэта 1830 — 1831 г. По свидѣтельству г. Анненкова, эта пьеса не докончена; а между тѣмъ, чего, кажется, еще недостаетъ для полноты этого поэтическаго выраженія идеальнаго порыва души: этой жажды возрожденія, являющейся отъ прикосновенія молодого и свѣжаго чувства къ увядающей душѣ? Вотъ этотъ отрывокъ:

Когда въ объятія мои
Твой стройный станъ я заключаю,
И рѣчи нѣжныя любви
Тебѣ съ восторгомъ расточаю—
Безмолвно отъ стѣсненныхъ рукъ
Освобождая станъ свой гибкій,
Ты отвѣчаешь, милый другъ,
Мнѣ недовѣрчивой улыбкой.
Прилежно въ памяти храня
Измѣнь печальныя преданья,
Ты безъ участія и вниманья
Уныло слушаешь меня.
Клянупо коварныя старанья
Преступной юности моей,
И встрѣчь условныхъ ожиданья
Въ садахъ, въ безмолвіи ночей;

Клянусь рѣчей любовный шопотъ,
И струнъ таинственный напѣвъ,
И ласки легковѣрныхъ дѣвъ,
И слезы ихъ, и поздній ропотъ...

Слѣдующее стихотвореніе („Аріонъ 1830 г.“), кромѣ обольстительной красоты пластическихъ образовъ, которые придаютъ ему видъ какъ будто бы барельефа, кромѣ мелодіи почти музыкальной, кромѣ лирическаго чувства таинственной грусти, возбуждаетъ еще рядъ идей по своей аналогіи съ событіями, которыя представляетъ исторія почти каждаго общества.

Стихотвореніе „Когда за городомъ задумчивъ я брожу“ — изумительно по разнообразію красокъ, по противоположности образовъ, которые, затронувъ два различныхъ мотива духа, сливаются въ одно поэтическое представленіе, образуютъ одно цѣлое и ясное чувство. Само по себѣ это чувство очень просто, но путь, которымъ поэтъ приводитъ къ нему, изумителенъ. Въ двухъ картинахъ исчерпана поэзія кладбища: ея идеальная и отрицательная стороны. Рядъ образовъ, возмущающихъ душу до желчи нелѣпностью, пугающихъ воображеніе голой дѣйствительностью, переходитъ въ картину, тихая и величавая красота которой успокаиваетъ и нѣжитъ. Крайняя дѣйствительность съ ея отрицаніемъ и идеалъ поставлены здѣсь лицомъ къ лицу и находятъ равно поэтическое выраженіе... Поэзія представляетъ мало примѣровъ такого гармоническаго сочетанія совершенно противоположныхъ началъ: оно требуетъ отъ поэта великихъ творческихъ силъ и полнаго обладанія ими. Неувядающая прелесть и новизна такихъ произведеній, какъ „Фаустъ“ или „Гамлетъ“, заключается именно въ глубокомъ сочетаніи этихъ двухъ главныхъ и противоположныхъ мотивовъ нашего духа. Не даромъ Пушкинъ рѣшился на попытку создать „новую сцену изъ Фауста“: какъ ни легка эта сцена, но въ ней повторяется одинъ изъ самыхъ поэтическихъ мотивовъ Фауста, тотъ мотивъ, который образуется изъ сочетанія рѣчей Мефистофеля, полныхъ отрицанія, съ рѣчами Фауста, исполненными идеальныхъ стремленій. Не даромъ также могъ

Пушкинъ написать слѣдующее стихотвореніе на тему изъ „Гамлета“. (Мысль этого стихотворенія парадоксъ, но чувство, въ которое облечена эта мысль, придаетъ ему глубокую истинность шекспировскихъ парадоксовъ):

Не дорого цѣню я громкія права,
 Отъ коихъ не одна кружится голова.
 Я не ропщу о томъ, что отказали боги
 Мнѣ въ сладкой участи оснаживать налоги,

 Все это, видите ль—*слова, слова, слова!*
 Иныя, лучшія мнѣ дороги права;
 Иная, лучшая потребна мнѣ свобода...
 Никому
 Отчета не давать; себѣ лишь одному
 Служить и угождать
 Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
 По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
 Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
 И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
 Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленія—
 Вотъ счастье! вотъ права!..

Закончимъ выписки изъ стихотвореній еще двумя пьесами“... (Слѣдуютъ: „Стансы“ 1826 г. *Нѣтъ, я не льстецъ...* и отрывокъ изъ „Цыганъ“: *Блѣдна, слаба—Земфира дремлетъ*).

Приведенныя нами пьесы составляютъ, какъ мы сказали, драгоценное украшеніе послѣдняго тома настоящаго изданія, но кромѣ ихъ есть еще нѣсколько другихъ, въ стихахъ и прозѣ, уступающихъ имъ въ достоинствахъ, но все-таки прекрасныхъ и имѣющихъ самостоятельное поэтическое или литературное значеніе. Имѣя въ виду ограничиться по возможности краткимъ обзоромъ, мы остановимся только на тѣхъ изъ нихъ, которыя въ первый разъ явились въ печати и особенно замѣчательны.

Прозаическія статьи, вошедшія въ составъ VII тома, раздѣлены на три отдѣла: историческій, полемическій и чисто литературный. Въ первомъ отдѣлѣ помѣщены: „Матеріалы

для первой главы исторіи Петра Великаго“, „Камчатскія Дѣла“ и біографическая статья: „Александръ Радищевъ“. Въ бібліографическихъ и критическихъ замѣткахъ, сопровождающихъ каждый отдѣлъ изданія, г. Анненковъ предупреждаетъ тѣ вопросы, которые рождаются въ читателѣ при первомъ взглядѣ на означенныя статьи, и опредѣляетъ ихъ значеніе. Первые двѣ даютъ понятіе о методѣ, принятомъ Пушкинымъ для историческихъ своихъ работъ, и могутъ составить матеріалъ для критическаго изслѣдованія, послѣдняя же, какъ исторически-критическій этюдъ, представляетъ образецъ изящества. По справедливому замѣчанію издателя-критика, она есть плодъ того зрѣлаго, здраваго и проницательнаго критическаго такта, который отличалъ сужденія Пушкина о людяхъ и предметахъ незадолго до его смерти. Болѣе шестидесяти лѣтъ (говоритъ г. Анненковъ) протекло послѣ единственнаго примѣра преступленія печати въ Россіи, совершеннаго Радищевымъ, и Пушкинъ въ своей статьѣ показываетъ, что никакія благія намѣренія не могутъ оправдать нарушенія узаконенныхъ постановленій, и никакія злоупотребленія, столь неизбѣжныя въ каждомъ человѣческомъ обществѣ, не могутъ извинить словъ гнѣва и враждебныхъ страстей. Для борьбы съ недостатками и пороками Пушкинъ прежде всего требуетъ отъ cadaго дѣятеля любви и пребыванія въ границахъ закона, и это составляетъ высокую нравственную мысль его дѣльной и строгой статьи.

Въ статьѣ „Матеріалы для біографіи“ г. Анненковъ только слегка касается нравственнаго развитія нашего великаго поэта. Понятно, что предметъ этотъ требовалъ крайней осторожности, да и самыя матеріалы, находившіеся у него подъ рукою, если это были только произведенія поэта, не представляли въ томъ надлежащихъ данныхъ. Жизнь и личность Пушкина, какъ человѣка, до сихъ поръ намъ слишкомъ еще мало извѣстны, и, вѣроятно, еще не скоро будутъ доступны для полной оцѣнки уже потому, что слишкомъ еще живы и горячи слѣды, ими оставленные. Для полнаго ихъ уразумѣнія и изображенія необходима и полная картина общественныхъ, нравственныхъ и умственныхъ инте-

Ресовъ пушкинской эпохи. А много ли сдѣлано у насъ по этой части? Одни только очерки общества въ отношеніи его эстетическаго развитія, набросанные критикою при оцѣнкѣ литературной дѣятельности прошедшаго времени, слишкомъ недостаточны. Единственная, можетъ быть, да и то, очевидно, преждевременная попытка опредѣлить степень нравственнаго и умственнаго развитія этой еще близкой къ намъ по времени, но уже далекой по развитію эпохи, сдѣлана почти на дняхъ (критикомъ „Современника“, по поводу писемъ Гоголя). Но и она есть только плодъ остроумныхъ и тонкихъ соображеній смѣлаго и ретиваго мыслителя, не подкрѣпленныхъ надлежащими фактами.

Впрочемъ, внимательное изученіе однихъ только произведеній Пушкина убѣждаетъ въ неосновательности того мнѣнія, что будто бы въ немъ нравственное развитіе не шло въ уровень съ развитіемъ эстетическимъ. Отсутствие въ его зрѣлой дѣятельности *либерализма*, отличавшаго его юношескіе годы, не только не подтверждаетъ, а скорѣе опровергаетъ это мнѣніе. Что такое подобный либерализмъ? Поклоненіе формамъ безъ надлежащаго пониманія существа ихъ содержанія; стремленіе къ другому порядку вещей безъ истинной потребности въ тѣхъ вещахъ, для которыхъ онъ необходимъ; теоретическія мечты, дружно уживающіяся со всѣмъ, что имъ прямо противорѣчитъ въ жизни, въ практикѣ!.. Что такое, напримѣръ, по современнымъ понятіямъ, нравственные убѣжденія Чацкаго, недостатокъ котораго, въ художественномъ отношеніи, Пушкинъ такъ быстро и мѣтко опредѣлилъ, но слова котораго назвалъ бисеромъ, котораго не слѣдуетъ метать?.. Точно ли нравственный смыслъ этихъ словъ такой драгоцѣнный бисеръ? Кажется, нѣтъ...

Поэтому отсутствіе идеальнаго, но безплоднаго и безсознательнаго направленія не составляетъ никакой потери для Пушкина въ нравственномъ отношеніи и, во всякомъ случаѣ, свидѣтельствуетъ о зрѣлости его развитія умственнаго. Вмѣстѣ съ полнымъ развитіемъ этого великаго и практическаго ума отпадаютъ отъ него и тѣ предразсудки, которые такъ хорошо уживаются съ незрѣлыми убѣжденіями, съ бессозна-

тельнымъ либерализмомъ. Мы видимъ подтвержденіе этого въ чертѣ, указываемой г. Анненковымъ: „Кто нѣсколько ближе вникалъ, говоритъ онъ, — въ характеръ Пушкина, того не удивитъ мнѣніе, которое съ особенною настойчивостью долго онъ старался укоренить въ друзьяхъ и знакомыхъ, что онъ пишетъ и печатаетъ *единственно* для денегъ. Это увѣреніе, расточаемое упорно и съ какой-то претензіей уже показывало тѣмъ самымъ нетвердость своего основанія. Дѣло въ томъ, что оно поясняется, съ одной стороны, — теоріей творчества про самого себя, о которой недавно говорили, а съ другой — жизненнымъ противорѣчіемъ, въ которомъ долго находился нашъ поэтъ. Извѣстно, что онъ всего болѣе опасался, въ виду свѣта, своего настоящаго призванія и титла поэта. Обязанный лучшими минутами жизни уединенному кабинетному труду, онъ искалъ успѣховъ и торжествъ на другомъ поприщѣ, и считалъ помѣхой все, что къ нему собственно не относилось. Увѣреніемъ, что пишетъ изъ расчета, какъ другой заводитъ фабрику или занимается агрономіей, старался онъ передъ свѣтомъ закрыть свое достоинство писателя, въ которомъ никакъ не хотѣлъ явиться передъ нимъ, хотя доброй частію своихъ успѣховъ обязанъ былъ именно блеску, сопровождающему необыкновенный талантъ. Только въ послѣднихъ годахъ своей жизни теряетъ онъ ложный стыдъ этотъ, и является въ свѣтъ уже какъ писатель. Важные труды, принятые имъ на себя, и знаменитость самого имени освобождаютъ его отъ предубѣжденія, отличавшаго его молодые годы. Въ эпоху, которой занимаемся, всякое смѣшеніе свѣтскаго человѣка съ писателемъ наносило ему глубокое оскорбленіе. Съ одушевленіемъ читалъ онъ свои произведенія людямъ, занимающимся литературой, но когда въ одномъ, и весьма любимомъ имъ, домѣ высшаго круга просили его прочесть что-нибудь, онъ съ жаромъ и негодованіемъ прочелъ только что написанное стихотвореніе „Чернь“, и говорилъ потомъ: „въ другой разъ не будутъ у меня просить стишковъ“. Это двойственное положеніе въ обществѣ превосходно выражено имъ самимъ въ

томъ отрывкѣ, который, со многими другими, предшествовалъ созданію „Египетскихъ Ночей“.

Съ сознаніемъ своихъ силъ и истиннаго достоинства, чувство законности, столь свойственное гармонически развитымъ уму и душѣ, обнаруживается сильнѣе въ произведеніяхъ Пушкина и ясно выражается тамъ, гдѣ оно касается общественныхъ вопросовъ. Изъ его произведеній видно, что онъ всегда глубоко принималъ къ сердцу тѣ изъ нихъ, которыя имѣли непосредственную связь съ его назначеніемъ...

Въ VII томѣ помѣщены два посланія къ Аристарху; второе изъ нихъ украшено глубоко-поэтическимъ и неожиданнымъ обращеніемъ къ Шишкову. Тонъ шутокъ, необходимый уже для того, чтобъ умѣрить дидактическій характеръ мысли, высказанной въ этомъ стихотвореніи, — характеръ, вовсе не свойственный такой живой и поэтической натурѣ, какъ Пушкинъ, очевидно, не мѣшаетъ здѣсь силѣ нравственнаго убѣжденія. Въ эпоху своего полнаго развитія, въ статьѣ противу мнѣнія Лобанова о духѣ словесности, какъ иностранной, такъ и отечественной, Пушкинъ высказываетъ свое убѣжденіе о настоящемъ предметѣ рѣшительнѣе и прямѣе. Несмотря на умѣренность тона, въ которомъ написана эта академическая статья, она ясно выражаетъ глубокое и заботливое участіе къ дѣлу умственнаго развитія. Съ неотразимой силой убѣжденія онъ опровергаетъ мнѣніе о гибельности западнаго вліянія на нашу литературу, тогда какъ еще такъ недавно одинъ изъ нашихъ журналовъ, желавшій встать въ главѣ умственнаго нашего движенія, разразился такой филиппикой противу этого вліянія. Возраженіе Пушкина противу „Мнѣнія Лобанова“ помѣщено во второмъ отдѣлѣ VII тома, гдѣ собраны статьи полемическаго содержанія, какъ назвалъ ихъ издатель. Дѣйствительно таковъ ихъ общій и главный характеръ. Но въ статьяхъ этихъ, наряду съ выходками, которыя, при всей ихъ изящной остротѣ, имѣютъ все-таки видъ перебранки, попадаются драгоцѣннѣйшія замѣтки.

Вообще было бы до крайности жалко и ошибочно, если

бы издатель-критикъ не отказался отъ первоначальнаго намѣренія своего—исключить полемическія статьи изъ собранія сочиненій Пушкина, вслѣдствіе личностей, которыя въ нихъ встрѣчаются. Такая деликатность и осторожность были бы щепетильностью, литературнымъ pruderie, особливо въ его изданіи. Настоящее изданіе не есть изданіе простое, популярное: оно расположено по строгому, критически обдуманному плану, и удовлетворяетъ специальнымъ цѣлямъ. Помѣстивъ въ немъ самыя слабыя, отрывочныя и не имѣющія самостоятельной цѣны произведенія великаго поэта и вмѣстѣ съ тѣмъ указавъ средства къ уразумѣнію ихъ важности, издатель, безъ причинъ, отъ него независящихъ, не долженъ былъ исключать изъ этого изданія такихъ произведеній, которыя, несмотря на ихъ уклоненіе отъ прямого литературнаго пути, все-таки принадлежатъ величайшему художнику и изящнѣйшему уму. Если бы произведенія эти и не имѣли значенія въ искусствѣ, то все-таки они составляютъ прямое достояніе исторіи литературы, которая излагаетъ не одни только нормальныя явленія литературной дѣятельности, но всѣ ея характеристическія явленія. Для нея важны: и глубокая оцѣнка эстетической стороны „Исторіи“ Карамзина, сдѣланная Пушкинымъ, и его натянутые упреки Полевому за то, что тотъ рѣшился провозгласить Нибура первымъ историкомъ своего времени, упреки, обнаруживающіе, повидимому, неопредѣленный взглядъ на значеніе этого Лютера науки исторіи...

Не безплодно также вникнуть въ постройку дѣтскихъ сказокъ „Маленькій Лжецъ“ и „Исправленный Забѣяка“, которыя въ первый разъ являются въ печати. Въ первой изъ этихъ граціозныхъ пародій есть очевидное преувеличеніе карикатуры; но вторая проникнута тѣмъ простодушіемъ, полнымъ неудовимаго юмора, которое нашло болѣе достойное примѣненіе въ „Лѣтописи села Горохина“. Только неправдоподобная брань мальчика обнаруживаетъ сатирическую цѣль этой творческой шалости, напоминающей простодушный рассказъ горохинскаго лѣтописца, который сообщаетъ драго-

цѣнное извѣстіе о томъ, что бабы переходили рѣчку въ бродъ, предварительно засучивъ нижнее платье до колѣнъ.

Обратимся теперь къ послѣднему отдѣлу, заключающему въ себѣ „статьи чисто литературнаго содержанія“.

Пользуясь указаніями и замѣтками издателя-критика, мы войдемъ въ нѣкоторыя подробности.

То, что унесъ съ собой Пушкинъ въ преждевременную могилу, составляетъ не только потерю эстетическихъ наслажденій, но и драгоцѣнныхъ уроковъ въ дѣлѣ искусства. Послѣ него многіе доставляли намъ эти высокія наслажденія, но тѣ пробѣлы въ нашей литературѣ, которые онъ могъ пополнить, давъ образцы для изученія и подражанія, до сихъ поръ остаются непополненными. Прямой преемникъ поэтическихъ идей Пушкина—Лермонтовъ не успѣлъ выполнить своего назначенія, и былъ уже чуждъ его бодрыхъ, успокоительно-мудрыхъ воззрѣній на жизнь; а между тѣмъ литература приняла другое направленіе: другіе заявленія и типы привлекли ея вниманіе, и преимущественно отрицательныя. Явилась сознательная и настоятельная потребность въ томъ, что было мечтою, отвлеченной теоріею въ эпоху Пушкина. То, что было зарею въ его время и выражалось въ жизни и въ его произведеніяхъ, какъ мотивъ—разсвѣло и обратилось въ тему. Это новое, исключительно отрицательное направленіе сосредоточило на себѣ лучшія силы послѣдующихъ дѣятелей нашей литературы—и *свѣтское общество*, жизнь общественная по преимуществу, а вмѣстѣ съ тѣмъ *женщина* не нашли себѣ ни полнаго идеальнаго выраженія ни вполнѣ достойнаго представителя.

Въ чемъ же заключается причина такого явленія: въ литературной ли дѣятельности и ея представителяхъ или въ той почвѣ, изъ которой она беретъ матеріалы—въ нашей жизни?

Рѣшеніе этого вопроса не есть дѣло праздное и безплодное, при настоящемъ положеніи нашей поэзіи. Она, очевидно, затрудняется, по зависящимъ и независящимъ отъ

нея причинамъ, въ матеріалахъ для своего содержанія. Отрицательная сторона нашей жизни, въ той мѣрѣ и въ тѣхъ сферахъ, какъ она доступна для изображенія, значительно исчерпана. Провинціальная жизнь, чиновническій міръ, крестьянскій бытъ, по возможности, разобраны по косточкамъ. Каждый шагъ впередъ на этомъ поприщѣ требуетъ величайшихъ усилій, необыкновеннаго таланта, или есть шагъ назадъ, т. е. повтореніе. Если обличительное направленіе, образовавшееся въ нашей литературѣ, и будетъ идти все выше и глубже, то и тогда оно не доставитъ большихъ пріобрѣтеній искусству. Оно только примѣняетъ то, что уже въ немъ сдѣлано, къ практической цѣли, а такое примѣненіе, при всей его пользѣ, не можетъ быть окончательною цѣлью искусства, его послѣднимъ словомъ, ибо иначе Гомеръ, Шекспиръ, Байронъ, Шиллеръ, Пушкинъ и Гоголь—творили бы только для того, чтобъ приготовить г-ну NN средства для литературнаго изобличенія квартальнаго надзирателя въ злоупотребленіяхъ.

И такъ, обращаясь къ вышеозначенному вопросу, мы скажемъ, что, по нашему мнѣнію, данныя для его разрѣшенія можно найти въ сравнительномъ разборѣ произведеній представителей нашей поэзіи въ ея положительныхъ и отрицательныхъ стремленіяхъ къ идеалу. Но нѣкоторыя данныя для этого можно найти и въ разсмотрѣніи тѣхъ произведеній Пушкина, которыя были, какъ говоритъ г. Анненковъ, *плодомъ его мысли изобразить свѣтское общество*.

Извѣстно, что Пушкинъ положилъ прочныя начала сближенія нашей поэзіи съ дѣйствительностью, которая послѣ него и не сходила съ перваго плана въ искусствѣ. Но онъ владѣлъ также тайною находить въ этой дѣйствительности прекрасныя стороны. Могла ли же послѣ него наша жизнь и воззрѣніе на нее измѣниться до такой степени, чтобы для насъ сдѣлались невозможными въ ней положительно-идеальныя черты? Разумѣется, нѣтъ: нужно только стараться и умѣть ихъ находить. Не отвергая безусловно строгихъ требованій теоріи искусства, можно сказать, что красота по-

Этических образовъ заключается не въ томъ, что они удовлетворяютъ вполне нашимъ эстетическимъ и нравственнымъ требованіямъ: такіе чисто-идеальные, вѣчно-прекрасные образы слишкомъ рѣдки въ поэзіи каждой эпохи, и нужно отойти отъ нея далеко, чтобы они ясно обозначились, какъ нужно быть на огромномъ разстояніи отъ горы, чтобы замѣтить ея очертаніе. Идея красоты и добра имѣетъ свою исторію, и при оцѣнкѣ ея выраженія въ произведеніяхъ искусства нужно принимать въ соображеніе время и мѣсто. По современнымъ понятіямъ и съ извѣстной точки зрѣнія, можно найти Татьяну Пушкина и его Онѣгина пустыми людьми, а старосвѣтскихъ помѣщиковъ почти такими же варварами, какъ Тарасъ Бульба, но всѣ эти лица все-таки образы идеальные. Не вдаваясь далѣе въ эти теоретическія и общія соображенія, перейдемъ къ фактамъ, которые, надѣмся, пояснятъ нашу мысль, если она выражена не ясно или неточно.

Конечно, Пушкинъ видѣлъ отрицательныя стороны *свѣтской* жизни и *свѣтскихъ* людей. Но это не мѣшало ему почувствовать ихъ изящной и прекрасной сторонѣ и отыскивать въ нихъ прекрасныя черты. Пушкинъ чувствовалъ непреодолимое влеченіе къ обществу и въ особенности къ тому, которое называется *свѣтомъ*. Это влеченіе, столь естественное въ каждомъ нормально развитомъ человѣкѣ, заслуживаетъ особеннаго вниманія въ поэтѣ, котораго дикая жизнь цыганскаго табора плѣнила до того, что онъ прожилъ въ немъ нѣкоторое время, и который первый воспѣлъ прелесть тихой сельской жизни. Жизнь въ *свѣтѣ* не осталась для Пушкина безплодною: ей обязанъ онъ болѣе всего познаніемъ женщины. Въ произведеніяхъ его чувство любви и поклоненія красотѣ запечатлѣны такой реальностью ощущеній страсти, нѣги и тоски, которыя въ тысячу разъ живѣе и поэтичнѣе теоретическаго ей поклоненія, признаки котораго—холодность и натянутость такъ ощутительны въ произведеніяхъ нашихъ современныхъ поэтовъ, не убѣгающихъ въ дебри Аполлона, а постоянно въ нихъ, повидимому, пребывающихъ.

Пушкинъ и его эпоха не были чужды крайностей и предрасудковъ. Но и мы вовсе не такъ далеко ушли впередъ, чтобы отрѣшиться отъ нихъ вполнѣ: они въ насъ есть, и доказательствомъ тому служить то, что мы впадаемъ въ противоположную крайность, въ своего рода *ханжество*, вытекающее изъ претензій на высшее развитіе, на отрѣшеніе отъ всякихъ предрасудковъ. Если Пушкинъ стыдился передъ глазами общества своего *ремесла*, какъ исключительности, и старался смѣшаться съ толпою, надъ которой господствовалъ въ своихъ произведеніяхъ, то мы до смерти боимся, чтобы насъ не смѣшали съ нею, чтобы не приняли за обыкновенныхъ смертныхъ, чтобы не подумали, что мы стыдимся своего призванія. Аристократизмъ ума и раболѣпное ему поклоненіе, въ которомъ Гоголь такъ справедливо обвинилъ наше время, выражаются у насъ въ своего рода предрасудкахъ и ложномъ стыдѣ.

Пушкинъ видѣлъ отрицательныя стороны нашей жизни: онѣ нашли въ его произведеніяхъ вѣрный и краснорѣчивый отголосокъ, но онъ и находилъ въ ней также положительно идеальныя явленія, потому что явленія эти соотвѣтствовали идеальнымъ настроеніямъ его души. Гоголь нашелъ мало такихъ явленій въ нашей жизни: они противорѣчили его идеаламъ, и это противорѣчіе выразилось у него рядомъ отрицательныхъ образовъ. И тотъ и другой были искренни и самостоятельны въ своихъ стремленіяхъ, и тотъ и другой дѣйствовали съ „простодушіемъ геніевъ“. Ни Пушкинъ ни Гоголь (до извѣстной поры) не рисовались передъ современниками, не фарисействовали, не потворствовали общественному мнѣнію. Одинъ созидаль, другой разрушалъ, уступая потребности поэтического творчества, каждый сообразно тому, что ему было дано. Пушкинъ не боялся быть ниже своего времени, сочувствуя, поклоняясь и благоговѣя передъ явленіями окружавшей его жизни: онъ былъ высокъ въ этомъ поклоненіи, какъ жрецъ, склоняющійся съ искреннимъ благоговѣніемъ передъ своимъ истуканомъ. Гоголь не думалъ быть выше, раскрывая наши общественныя и духовныя язвы, какъ не думаетъ врачъ быть выше больного, вонзая въ него спа-

сительный ножъ. Пушкинъ и умеръ, не испытавъ этого опасенія, потому что онъ до послѣдней минуты былъ искрененъ и естествененъ въ своихъ стремленіяхъ. Гоголь пережилъ свою цвѣтущую эпоху — эпоху простодушнаго, свободнаго творчества: онъ почувствовалъ, что время ушло впередъ, хотѣлъ догнать опередившее его развитіемъ поколѣніе, хотѣлъ стать выше его — учить, пересоздавать, *созидать*, и съ этой минуты, несмотря на всю нравственную высоту такихъ стремленій, уже не творилъ, а сочинялъ. Ибо зародышъ творчества заключается не въ желаніи создать, что нужно для даннаго времени или мѣста, а въ потребности создавать. Подобное желаніе можетъ быть только побужденіемъ, а не источникомъ творчества. Оттого произведенія людей, одаренныхъ великимъ геніемъ, такъ часто не признаются ихъ современниками, которымъ они кажутся вовсе не нужными, и которыми они дѣйствительно бываютъ не нужны. Если бы спросить Шекспира и Гёте, зачѣмъ одинъ создалъ „Гамлета“, а другой „Фауста“, то, конечно, они не указали бы какой-нибудь практической или современной цѣли. Нельзя не вспомнить при этомъ того математика, который, прослушавъ „Федру“, спросилъ: что же это доказываетъ? Почтенный ученый не сдѣлалъ бы этого вопроса, прочтя многія изъ современныхъ намъ поэтическихъ произведеній. Но что же доказываютъ эти произведенія въ искусствѣ?

Несостоятельность въ дѣлѣ искусства всякаго *сознаннаго* уже направленія, каково у насъ направленіе отрицательное съ разными его видоизмѣненіями, заключается именно въ томъ, что оно, насилуя таланты, выводитъ ихъ изъ условій свободнаго творчества, что оно заставляетъ ихъ видѣть, думать и изображать то, что признается хорошимъ или нужнымъ по установившимся понятіямъ. Прямое и непосредственное примѣненіе искусства къ практической цѣли не подвигаетъ его ни на волосъ впередъ: оно приготовляетъ только для него будущихъ дѣятелей и цѣнителей. Искусство успѣваетъ не отъ того, что по художественнымъ образцамъ приготовляются красивыя галантерейныя вещи и изящная мебель; оно выигрываетъ отъ этого только тогда, когда озна-

ченные предметы, обращаясь въ употребленіи, зарождаютъ въ массѣ, не приготовленной къ пониманію произведеній чистаго искусства, сѣмена будущаго эстетическаго развитія. Воздадимъ же должную благодарность каждому полезному дѣятелю въ дѣлѣ нравственнаго, умственнаго и эстетическаго развитія, но не будемъ смѣшивать дѣятелей только полезныхъ съ истинными художниками и поэтами, и ихъ произведеній, облеченныхъ только въ поэтическія формы, съ произведеніями чистаго искусства, для котораго они имѣютъ значеніе не болѣе красивыхъ или полезныхъ вещей. Поэзія не исправительное заведеніе, не больница, не богадѣльня, не синагога! Одно только служеніе добру, пользѣ, человечеству не даетъ права на мѣсто въ ея области, гдѣ какая-нибудь бонапартійская пѣсенка Беранже стоитъ выше философіи Вольтера, и имя Петрарки выше имени Ньютона, не говоря уже объ именахъ гг. З... или Щ..., или К..., которые, повидимому, такъ хлопчутъ о пользѣ общей. Никогда писатель не создаетъ ничего истинно великаго или прекраснаго въ искусствѣ, если его побуждаетъ одна только потребность быть полезнымъ и современнымъ... Къ сожалѣнію, творчество заключается не въ этой прекрасной потребности. Пушкинъ, по свидѣтельству г. Анненкова, кончалъ своего „Бориса Годунова“ съ увѣренностію, что публика не оцѣнитъ его и приметъ холодно. Онъ хотѣлъ создать народную драму въ то время, когда въ ней не было потребности. Этой потребности нѣтъ еще и теперь: доказательствомъ этому служить то, что геніальныя сцены „Бориса Годунова“, по прекрасному выраженію издателя-критика, до сихъ поръ стоятъ въ уединенномъ величіи въ русской литературѣ.

Теперь посмотримъ, какъ создавалъ Пушкинъ свои идеальные образы, какъ находилъ онъ положительно-идеальныя черты въ тѣхъ явленіяхъ и сферахъ нашей жизни, которыя послѣ него возбуждаютъ исключительно чувство отрицанія.

Въ произведеніяхъ Пушкина всюду разсѣяны черты его собственной идеальной личности: его зиждущаго, а не раз-

рушающаго ума, его гармонически развитой души, чуждой болѣзненныхъ потрясеній, его неистощимой вѣры въ успѣхъ, въ благо, въ красоту жизни. Чувство сомнѣнія, отрицанія, нравственнаго гнѣва и вражды не преграждали теченія его творческой мысли къ осуществленію въ искусствѣ положительныхъ идеаловъ; они иногда только возмущали это, столь могущественное въ своемъ спокойствіи, теченіе, и являются въ его произведеніяхъ какъ тѣнь, какъ унылый мотивъ, стройно сливаясь съ ихъ общимъ, свѣтлымъ и оживляющимъ тономъ. Пушкинъ не нанесъ намъ ни одной раны, которую бы самъ не исцѣлилъ, не вынулъ ни одного камня изъ зданія нашей жизни, не указавъ другого, которымъ можно было бы его замѣнить. Какъ въ приведенномъ нами стихотвореніи (*Кладбище*), такъ и во всѣхъ его произведеніяхъ, *отрицаніе* является у него только какъ противоположность идеалу, для полноты его выраженія, какъ тѣнь для свѣта—въ картинѣ. Пушкинъ былъ чуждъ всякой односторонности, всякаго исключительнаго воззрѣнія на жизнь, всѣ явленія которой, доступныя для него, были ему равно близки. Онъ пѣвецъ жизни со всѣми ея сторонами: положительными и отрицательными, съ ея перлами и грязью, съ ея нравственными и матеріальными стремленіями, съ ея явленіями національными и общечеловѣческими. До сихъ поръ онъ нашъ Беранже и вмѣстѣ съ тѣмъ Шиллеръ. Вмѣстѣ съ стукомъ шампанскихъ пробокъ (за которыя на него такъ нападали) и мотивами русскихъ пѣсенъ, въ его поэзіи слышатся торжественные звуки гимновъ челоуѣческой любви и народной славѣ... Но Пушкинъ не держался буквы дѣйствительности, не былъ привязанъ къ ея грязному хвосту, какъ это случилось со многими изъ послѣдующихъ писателей, образовавшихъ натуральную школу и вызвавшихъ столько грубыхъ и глупыхъ, но не лишенныхъ истины, упрековъ. Онъ щедрою рукою надѣлялъ свои образы и своихъ героев чертами своей собственной, далеко возвысившейся надъ общимъ уровнемъ личности, частицами своего ума и души, не боясь быть невѣрнымъ дѣйствительности и впасть въ идеализацію. Онъ не боялся,

скажемъ мы теперь, (обращаясь къ вышепоставленному вопросу объ изображеніи свѣтской жизни и женщины), вложить въ уста господина, дремлющаго въ *гамбсовомъ* креслѣ, на дачѣ у княгини Д., свою собственную глубокую мысль о простодушіи геніевъ; онъ не считалъ за нарушение истины обнаружить въ одномъ изъ присутствовавшихъ въ салонѣ знакомства съ Тацитомъ, а другому приписать свою собственную мысль о *египетскихъ* *ночахъ*, точно такъ же, какъ не боялся онъ сдѣлать Евгенія Онѣгина идеальнымъ и невѣрнымъ дѣйствительности, удѣливъ ему лучшую долю своей изящной и тонкой природы и смѣшавъ его личность съ своею до такой степени, что лицо дѣйствующаго героя какъ бы сливается съ лицомъ самого поэта.

Приведемъ здѣсь дополненіе къ отрывку изъ повѣсти, помѣщенному въ „Матеріалахъ для біографіи поэта“; наша мысль станетъ тогда яснѣе... (Выписка, начинающаяся словами: „Мы проводили вечеръ на дачѣ у княгини Д.“ — и кончающаяся словами: „Поникла дивною главою... пиръ утихъ... и дремлетъ“)...

Г. Анненковъ въ „Матеріалахъ для біографіи“ объясняетъ происхожденіе этого отрывка: онъ назначался къ тому, чтобы служить рамкой для поэтической мысли Пушкина о *Египетскихъ Ночахъ*. Но какая отдѣлка въ этой рамкѣ, и какъ въ ея легкихъ и неоконченныхъ арабескахъ чувствуется нраво-описательный характеръ.

„Отрывокъ изъ романа въ письмахъ“ представляетъ, съ настоящей точки зрѣнія, также предметъ для любопытныхъ изслѣдованій. Не забудьте, что это *планъ* романа, а не оконченное произведеніе, и что въ немъ заключаются только матеріалы, данныя для поэтическихъ образовъ и характеровъ. Но и они показываютъ, изъ какихъ разнородныхъ элементовъ слагались у Пушкина типы и очерки того общества, которое потомъ выражалось у насъ вѣчно въ одномъ и томъ же типѣ эгоизма, предразсудковъ и пустоты. Мы видимъ, что Пушкинъ и сюда вносилъ все богатство своего ума и души, вмѣсто того, чтобы отыскивать и изображать только черты,

противорѣчившія внутреннему идеалу. Словомъ онъ и здѣсь **стремился** къ осуществленію положительныхъ, а не отрицательныхъ идеаловъ, и находилъ ихъ источникъ въ самомъ себѣ.

Вотъ письмо Лизы, бѣдной дѣвушки, жившей въ домѣ князя К., къ своей свѣтской подругѣ, названной Пушкинымъ Сашей“... (Слѣдуетъ письмо, начинающееся словами: „Письмо твое меня чрезвычайно утѣшило“).

Нетрудно замѣтить, что письмо это болѣе принадлежит Пушкину, нежели молодой дѣвушкѣ. Пушкинъ вноситъ въ сознаніе героини романа результаты своихъ собственныхъ наблюденій, и заставляетъ ее мыслить и чувствовать съ крайней утонченностію. Но если этотъ образъ, при настоящихъ его чертахъ, не совсѣмъ еще вѣренъ дѣйствительности, то онъ уже приближается къ ней: мысль и чувство самого поэта принимаетъ уже нѣжный, женственный оттѣнокъ. Ниже слѣдующее письмо той же Лизы еще яснѣе обнаруживаетъ настоящую методу Пушкина“... (Слѣдуетъ письмо, начинающееся словами: „Нѣтъ, милая моя сваха, я не думаю оставить деревню и пріѣхать къ вамъ на свадьбу“).

Намъ даже кажется, что въ тонкой характеристикѣ французскихъ романовъ второй половины прошедшаго столѣтія, которую дѣлаетъ Пушкинъ перомъ молодой дѣвушки, заключается зародышъ его настоящаго романа. По крайней мѣрѣ, въ письмахъ его героя есть что-то родственное съ извѣстными романами де-Ла-Кло, на которыхъ онъ, безъ всякаго сомнѣнія, былъ воспитанъ.

Мы не считаемъ приведенныхъ отрывковъ образцами совершенства, но изъ нихъ и вышеизложенныхъ соображеній нашихъ, кажется, можно вывести заключеніе, что причина отсутствія положительно-идеальныхъ образовъ въ литературныхъ произведеніяхъ данной эпохи заключается не въ дѣйствительности, которую они изображаютъ, а въ тѣхъ, кто ее изображаетъ; что нѣтъ такой сферы жизни, которая не заключала бы въ себѣ прекрасныхъ явленій, и что воспро-

изведеніе однѣхъ только отрицательныхъ сторонъ общества есть односторонность, которая не оправдывается, а только объясняется преобладаніемъ извѣстнаго направленія. Основаніе этого направленія лежитъ не въ самомъ искусствѣ, условія и стремленія котораго постоянны, а въ господствующихъ въ данное время убѣжденіяхъ и потребностяхъ, которымъ приносятся въ жертву эти постоянныя условія и стремленія. Успѣхъ нѣкоторыхъ современныхъ произведеній отрицательнаго направленія объясняется только настоятельною потребностію въ нравственномъ и общественномъ усовершенствованіи, и не даетъ имъ права на названіе произведеній искусства. Удовлетворивъ въ извѣстной мѣрѣ этой настоятельной и торопливой потребности, вызванной временными и мѣстными обстоятельствами, общество съ отвращеніемъ отвернется отъ тѣхъ грубыхъ и безобразныхъ отрицательныхъ образовъ, въ созданіи которыхъ поэтическое творчество или вовсе не участвуетъ или принимаетъ такое слабое участіе. Есть минуты, когда общество, какъ человѣкъ, находитъ удовольствіе въ самоуничженіи. Это минуты нравственнаго кризиса. Кризисъ пройдетъ, и тогда то, что было необходимо во время его, сдѣлается совершенно не нужно. Общество снова почувствуетъ потребность въ созерцаніи всѣхъ сторонъ своей жизни, всей полноты ея явленій, и съ наслажденіемъ остановится на тѣхъ произведеніяхъ искусства, которыя удовлетворяютъ въ немъ чувству самодостоинства. Мы больны, замѣчаемъ это и бросаемся на лѣкарства, въ которыхъ, благодаря усердію нашихъ литературныхъ эскулаповъ, нѣтъ у насъ недостатка. Мудрено ли же, что въ такомъ состояніи мы равнодушны къ произведеніямъ, заключающимъ въ себѣ здоровую пищу и для наслажденія которыми необходимо нормальное состояніе духа. Мудрено ли, что отсутствіе въ этихъ произведеніяхъ безобразныхъ образовъ, полезныхъ, но отвратительныхъ, какъ микстура, принимается многими за недостатокъ, и что при оцѣнкѣ произведеній литературныхъ дѣятелей даже прошлой эпохи, чуждой настоящихъ потребностей, дѣлаются имъ упрёки въ томъ, что они не удовлетворяютъ этимъ потребностямъ. Поэзія самого Пушкина должна казаться отсталою

нашимъ доктринерамъ, предпочитающимъ ея всесторонней полнотѣ, удовлетворявшей всѣмъ требованіямъ его эпохи и постояннымъ условіямъ искусства, односторонность многихъ произведеній текущей литературы, отвѣчающую исключительнымъ требованіямъ настоящаго времени.

Изъ „Библіотеки для Чтенія“ за 1858 г. Статья И. Л.

* * *

*) Вышедшимъ теперь въ свѣтъ седьмымъ томомъ сочиненій Пушкина оканчивается изданіе произведеній поэта, принятое П. В. Анненковымъ. Въ этомъ томѣ издатель предлагаетъ публикѣ все, что возможно представить ей печатно въ настоящее время. Задача изданія классическаго писателя состоятъ, какъ замѣчаетъ П. В. Анненковъ, въ томъ, чтобы не быть ниже потребностей и возможностей современности, и почтенный издатель въ этомъ отношеніи совершенно выполнилъ свою задачу. Онъ признаетъ, что читатель можетъ еще встрѣтиться съ посланіемъ, экспромтомъ или стихотворной запиской поэта, тщательно сбереженными отъ извѣстности и не вошедшими въ томы изданія; но, убѣжденный, что успѣхъ попытки — собрать весь текстъ Пушкина, еще долго останется у насъ болѣе чѣмъ сомнителенъ, издатель приступилъ къ печатанію въ седьмомъ томѣ, по крайней мѣрѣ, всего того, чѣмъ возможно было пополнить собраніе сочиненій Пушкина въ настоящее время. Этотъ дополнительный томъ заключаетъ въ себѣ двѣ части: часть стихотворную и часть прозаическую. Каждая изъ нихъ подраздѣляется на различные отдѣлы, по содержанію заключающихся въ нихъ статей.

Читатель встрѣтитъ въ седьмомъ томѣ произведенія и строки Пушкина, еще не являвшіяся въ печати, или же оставшіяся до сей поры разсѣянными въ разныхъ повременныхъ

*) „Атеней“ 1858 г., ч. I., № 2. Сочиненія Пушкина. Седьмой дополнительный томъ. Изданіе П. В. Анненкова. СПб. 1857. Статья А. Станкевича.

изданіяхъ, и нерѣдко въ такихъ, отыскать которыя было бы весьма трудно, а для большинства читателей и невозможно. Для послѣднихъ VII-й томъ Пушкина будетъ истинною новостью, драгоценнымъ и неожиданнымъ подаркомъ. Они услышатъ звуки, отъ которыхъ давно отвыкли среди полезной, дѣльной и дѣловой литературы нашихъ дней. Теперь уже можно встрѣтить людей, сроднившихся съ направлениемъ, господствующимъ въ послѣдней,—людей, которые, увлекаемая ея дѣловымъ характеромъ, уже начинаютъ если не свысока, то подозрительно посматривать на поэзію Пушкина, или же говорятъ о ней съ полуснисходительною и полугрустною улыбкою, какъ говорятъ люди зрѣлаго возраста объ увлеченіяхъ своей юности. Въ наше время не рѣдкость уже и рѣшительные люди, громко обвиняющіе поэта за его *исключительно-художественныя* стремленія, за его отвлеченныя понятія объ искусствѣ и призваніи поэта. Къ подобнымъ мнѣніямъ и настроенію читателей подаль поводъ отчасти самъ Пушкинъ такими стихотвореніями, каковы, напримѣръ, „Чернь“ и „Съ толпой не дѣлишь ты ни гнѣва“. Но стихотворенія такого рода были вызваны тупостью современнаго суда надъ поэтомъ, досадою послѣдняго на кривыя или нелѣпыя толкованія его произведеній. Презрѣніе къ толкамъ, сужденіямъ, требованіямъ критики и публики невольно развивалось въ немъ, когда онъ напрасно ждалъ отъ послѣднихъ пониманія и одобренія своей дѣятельности. Извѣстно, что теорія чистаго и независимаго искусства, творчества про себя, съ особенною силою начала развиваться въ Пушкинѣ съ того времени, какъ критика, публика и даже нѣкоторые изъ близкихъ ему людей привѣтствовали однимъ недоумѣніемъ первую напечатанную поэтомъ (въ 1827 г.) сцену изъ „Бориса Годунова“,—произведенія, которое было такъ дорого сердцу Пушкина, которое стоило ему столько труда и изученія историческаго и филологическаго. Холодность и недоумѣніе, встрѣтившія этотъ трудъ, которымъ поэтъ мечталъ основать національную драму, горько отозвались въ душѣ его. Они заставили его даже усомниться, хотъ и не надолго, въ достоинствѣ собственнаго творчества. Неуспѣхъ „Бориса Годунова“ принудилъ поэта

заклѣчиться въ самомъ себѣ. Въ матеріалахъ для біографіи его, изданныхъ П. В. Анненковымъ, есть строки, въ которыхъ Пушкинъ говоритъ о критикѣ и публикѣ: „Съ этой минуты ихъ строгость или равнодушіе уже не могутъ имѣть вліянія на трудъ мой“. Поэтъ болѣе и болѣе убѣждался въ истинѣ теоріи, по которой искусство и художникъ должны быть независимы отъ требованій современности и толпы. Такая теорія утѣшала Пушкина и поддерживала въ немъ бодрость среди неудачъ; но возможно ли было практическое примѣненіе ея для поэта, страстнаго и воспріимчиваго ко всѣмъ впечатлѣніямъ дѣйствительности и той среды, въ которой онъ жилъ? Въ лирическихъ произведеніяхъ Пушкина мы встрѣчаемся не только съ поэтическимъ выраженіемъ фактовъ его личной жизни, его индивидуальных ощущеній и помысловъ, но и съ отзывами поэта на многія значительныя явленія общественной и государственной жизни его времени. Прошедшее и настоящее, исторія и будущее русскаго народа занимали мысль и сердце Пушкина; имъ была посвящена дѣятельная любовь его. Пусть обвиняющіе Пушкина и его поэзію въ идеально-художественныхъ, отвлеченныхъ стремленіяхъ, вспомнятъ, какъ онъ изучалъ исторію своего народа, читалъ русскихъ лѣтописцевъ, знакомился съ народными преданіями и поэзіею, подслушивалъ народную рѣчь изъ устъ самого народа и узнавалъ ее изъ письменныхъ памятниковъ. Свидѣтельство всему этому они найдутъ и въ поэтическихъ созданіяхъ Пушкина и въ прозаическихъ его статьяхъ, замѣткахъ и размышленіяхъ, оставшихся памятникомъ того, какъ серьезно и глубоко вникалъ онъ въ жизнь и природу своей націи. „Борисъ Годуновъ“, „Полтава“, „Русалка“, простонародныя сказки, „Капитанская Дочка“, „Дубровскій“—должны убѣдить обвинителей Пушкина, что муза его умѣла поэтически возсоздавать исторію, нравы, воззрѣнія и историческія личности русскаго народа. Въ „Онѣгинѣ“ жизнь, нравы, понятія, лица современнаго поэту русскаго общества представлены съ такою полнотою и яркостью, въ такихъ существенныхъ и характеристическихъ чертахъ, какихъ никогда не достигнутъ писателямъ, представляющимъ отрывочныя, случайныя или

мелкія черты дѣйствительности и современности, писателямъ, которые не умѣютъ сообщить имъ ни полноты представленія ни оживляющихъ красокъ поэтической истины. Въ „Онѣгинѣ“ навсегда сохранятся образы современной поэту дѣйствительности, и будутъ живо воскресать въ фантазіи и воображеніи позднѣйшихъ читателей. Бѣольшая же часть произведеній современной намъ литературы сохранить въ будущемъ только значеніе записокъ, мемуаровъ, дѣловыхъ документовъ, въ которыхъ изслѣдователь минувшаго будетъ искать матеріала для собственнаго самостоятельнаго труда, если захочетъ возстановить полные и живые образы прошлаго. Если бы во времена гомерической поэзіи могли существовать какія-нибудь прозаическія записки и описанія тогдашняго быта греческихъ племенъ, то, конечно, эти полезныя произведенія, сохранившись до нашего времени, не сообщили бы намъ того живого, нагляднаго и полнаго образа греческой древности, какой представляетъ Иліада. Люди, признающіе Пушкина великимъ поэтомъ и, однакожь, обвиняющіе его поэзію въ какомъ-то чисто-художественномъ, отвлеченномъ характерѣ, противорѣчатъ сами себѣ. Нѣтъ такого великаго поэта и художника, созданія и мысль котораго были бы лишены связи съ жизнью, современностью и явленіями окружающей его среды. Вспомните, что мысль „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“, по свѣдѣтельству самого Гоголя, были внушены послѣднему Пушкинымъ: а кто не понимаетъ общественнаго и практическаго значенія этихъ произведеній? Прибавимъ еще, что составляя понятія о личности и мнѣніяхъ поэта на основаніи отдѣльныхъ лирическихъ его произведеній, упуская изъ вида отношеніе ихъ къ минутѣ и поводу созданія, не всегда справедливо. Въ какомъ человѣкѣ, въ какомъ характерѣ не встрѣчается минутныхъ противорѣчій или уклоненія отъ главныхъ, твердыхъ основныхъ чертъ характера и личности? Эти противорѣчія и минуты остаются тайною человѣка, исчезаютъ безъ слѣда; онъ признается въ нихъ развѣ только въ бесѣдѣ съ самимъ собою. Но какъ тотъ же самый человѣкъ неумолимъ къ поэту, который оставитъ по себѣ поэтической памятникъ минутнаго настроенія, мгновенной душевной уста-

лости или односторонняго, исключительнаго стремленія, какому порой покорна всякая живая душа! А между тѣмъ выраженіе минутнаго настроенія, во всей его индивидуальной истинѣ, есть одно изъ правъ лирическаго поэта. Безъ этого права, лирическія стихотворенія часто представляли бы только отвлеченныя мысли, общія истины и, при неукоризненной правдѣ содержанія, могли бы лишиться искренняго тона поэзіи.

Въ первомъ отдѣлѣ поэтической части седьмого тома Пушкина есть стихотвореніе „Изъ VI Пиндемонте“. Оно представляетъ богатую тему для обвиненій противъ Пушкина; въ немъ поэтъ легкомысленно и добровольно отрекается отъ правъ и обязанностей гражданина, цѣня только права личной независимости и наслажденій искусствомъ и природою. Геніальный и образованнѣйшій изъ русскихъ поэтовъ говорить между прочимъ:

И мало горя мнѣ—свободно ли печать
Морочить олуховъ, иль чуткая цензура
Въ журнальныхъ замыслахъ стѣсняетъ балагура.
Все это, видите ль,—слова, слова, слова!

Писатель, слово котораго такъ много сдѣлало для развитія образованности, чувства прекраснаго, охоты къ чтенію, любви къ искусству въ русскомъ обществѣ, самъ не дорожилъ правами и условіями собственной благой дѣятельности. Скорбный фактъ, но отвергать его нельзя, скажутъ обвинители: улыка на лицо—стихотвореніе изъ VI Пиндемонте. Но въ седьмомъ же томѣ есть другія стихотворенія, есть другіе факты, есть между прочимъ два посланія къ Аристарху, въ которыхъ на права слова поэтъ смотритъ совсѣмъ не такъ, какъ въ стихотвореніи изъ Пиндемонте. Напримѣръ, въ одномъ изъ нихъ есть слѣдующіе стихи:

Но цензоръ—гражданинъ, и санъ его—священный!
Онъ долженъ умъ имѣть прямой и просвѣщенный;
Онъ сердцемъ почитать привыкъ алтарь и тронъ:
Но мнѣнья не тѣснить и разумъ терпитъ онъ.

Блюститель тишины, приличія и нравовъ
Не преступаетъ самъ начертанныхъ уставовъ;
Закону преданный, отечество любя,
Принять отвѣтственность умѣетъ на себя;
Полезной истинѣ путей не заграждаетъ,
Живой поэзіи развиться не мѣшаетъ;
Онъ другъ писателю, предъ знатю не трусливъ,
Благоразуменъ, твердъ, свободенъ, справедливъ.

Когда поэтъ былъ искреннѣе и вѣрнѣ себя, своимъ постояннымъ желаніямъ? Изъ двухъ противорѣчащихъ стихотвореній какое высказываетъ истину мыслей и сердца его, и въ какомъ сказалось его капризное настроеніе? Обвинители могутъ думать, что имъ угодно; мы же убѣждены, что Пушкинъ въ посланіи къ Аристарху говорилъ отъ полноты сердца и убѣжденій, что это не могло быть иначе въ великомъ поэтѣ и образованномъ писателѣ. Недаромъ Пушкинъ собственное стихотвореніе „Не дорого цѣню я громкія права“ обозначилъ „Изъ VI Пиндемонте“ и, какъ знаемъ изъ указанія П. В. Анненкова въ его матеріалахъ для біографіи Пушкина, хотѣлъ обозначить изъ Alfred Musset. Пушкинъ, думаемъ мы, понималъ истинный смыслъ мгновенія, выразившагося въ этомъ стихотвореніи. По духу своему послѣднее было родственно откровенно-капризной поэзіи Альфреда Мюссе. Стихотвореніе изъ Пиндемонте было написано въ 1836 году; но въ томъ же году была написана Пушкинымъ и статья противъ мнѣній М. А. Лобанова, грозныхъ для русской литературы и стѣснительныхъ для правъ слова. Читатели найдутъ эту статью въ прозаической части седьмого тома.

Большая часть стихотвореній Пушкина была внушена ему событіями и отношеніями жизни, впечатлѣніями дѣйствительности и невымысленнымъ душевнымъ настроеніемъ поэта. Близкая связь поэзіи Пушкина съ дѣйствительнымъ ходомъ жизни существовала, какъ замѣтилъ его біографъ, даже при созданіи антологическихъ стихотвореній и другихъ, такого содержанія, при которомъ трудно бы предполагать ее. Покуда не будетъ положительно извѣстно или объяснено отно-

неніе тѣхъ произведеній Пушкина, которыя могутъ казаться уклоненіемъ отъ общаго правдиваго и благороднаго смысла его поэзіи, къ поводамъ и вліяніямъ, ихъ вызвавшимъ, до тѣхъ поръ рѣшительные приговоры насчетъ ихъ значенія и выразившихся въ нихъ личныхъ качествъ и мнѣній поэта, кажется намъ, будутъ, если не вполнѣ несправедливы, то, по крайней мѣрѣ, весьма односторонни. Пушкинъ не разъ высказывалъ въ прозѣ и стихахъ нѣкоторое любованіе своими предками и довольно тщательно занимался своею генеалогіею, чѣмъ заставилъ подозрѣвать въ себѣ аристократическія наклонности и мнѣнія. По рожденію своему, по связямъ, по образованію онъ, конечно, принадлежалъ къ высшему кругу русскаго общества, кругу, среди котораго протекало его дѣтство и совершилось его воспитаніе. Значительная часть образованнѣйшей русской молодежи, въ исходѣ первой четверти нашего вѣка, принадлежала къ тому же кругу; но русскій аристократизмъ не отличается ни прочностью ни опредѣленностью характера: онъ носитъ признаки внѣшняго и случайнаго явленія, доступенъ всякимъ вліяніямъ и не огражденъ исключительными понятіями; не ставитъ себѣ строгихъ границъ ни въ практикѣ ни въ теоріи. Молодые товарищи и современники Пушкина, при разнообразныхъ обстоятельствахъ и положеніяхъ, благопріятныхъ или поучительныхъ, пріобрѣтали съ годами понятія и направленія довольно различныя. Очень естественно, что и въ Пушкинѣ, можетъ быть, были слѣды того внѣшняго и неопредѣленнаго аристократизма, который едва ли заслуживаетъ этого названія и который съ годами принялъ книжный, теоретическій характеръ и оставался въ жизни поэта довольно безвреднымъ и неприменимымъ. Извѣстно, что уваженіе къ предкамъ развилось въ Пушкинѣ съ особенною силою со времени историческихъ изученій, предшествовавшихъ созданію „Бориса Годунова“. Археологико-артистическая любовь къ прошедшему не соединялась у него ни съ какою эгоистическою мыслию, ни съ какими требованіями и притязаніями на настоящее во имя прошлаго. Любовь къ предкамъ, уваженіе и интересъ къ минувшему не лишали поэта сочувствія къ достоин-

ству, дѣламъ и заслугамъ лицъ, на какой бы ступени общества ни стояли послѣднія. Пушкинъ даже явно отдѣлялъ уваженіе къ предкамъ и родовымъ преданіямъ отъ современнаго аристократизма и его притязаній.

Я самъ, хоть въ книжкахъ и словесно
Собратья надо мной трунять,
Я мѣщанинъ, какъ вамъ извѣстно,
И въ этомъ смыслѣ демократъ;
Но каюсь, новый Ходаковский *),
Люблю отъ бабушки московской
Я толки слушать о роднѣ,
О толстобрюхой старинѣ.

Поэтъ проницательно отзывался въ своихъ стихахъ о тѣхъ — либералахъ, которые презираютъ отцовъ, но гордятся красою собственныхъ заслугъ, звѣздой двоюроднаго дяди и приглашеніемъ на балъ, гдѣ не бывалъ ихъ дѣдъ. Читатель встрѣтитъ и въ седьмомъ томѣ, въ извѣстномъ стихотвореніи Пушкина „Моя Родословная“ между прочими слѣдующую строфу:

Подъ гербовой моей печатью
Я свитокъ грамотъ сохранилъ;
Я не являюсь съ новой знатью
И крови спѣсь угомонилъ.
Я неизвѣстный стихотворецъ,
Я Пушкинъ просто—не Мусинъ,
Я самъ-большой, не царедворецъ:
Я грамотей, я мѣщанинъ!

Мы признаемся, что пристрастіе Пушкина къ предкамъ было бы понятнѣе, если бы оно имѣло побольше основаній въ качествахъ и дѣлахъ самихъ предковъ, чѣмъ въ воображеніи и фантазій поэта, но все однакожь, повторимъ, что аристократизмъ такого рода былъ безвреденъ, не нарушилъ и не стѣснилъ благороднаго духа поэзіи Пушкина, а въ жизни его чѣмъ, какъ онъ проявился? Ясныхъ подробностей на этотъ счетъ мы не знаемъ отъ голословныхъ обвинителей поэта.

Второй отдѣлъ стихотворной части послѣдняго тома Пушкина заключаетъ въ себѣ выпущенныя мѣста изъ его стихо-

*) Извѣстный любитель и разыскатель старины.

творений и поэмъ. Здѣсь встрѣчаются довольно любопытныя и довольно важныя дополненія къ извѣстнымъ произведеніямъ Пушкина. Къ такимъ причисляемъ мы сцену изъ „Бориса Годунова“, являвшуюся уже въ періодическихъ изданіяхъ, но только теперь получившую мѣсто въ собраніи сочиненій Пушкина. Сцена эта, исключенная при изданіи „Бориса Годунова“ самимъ поэтомъ, по совѣту близкихъ ему людей, по нашему мнѣнію, вовсе не лишняя въ развитіи драмы. Она должна слѣдовать за сценою между лѣтописцемъ Пименомъ и Григоріемъ. Начальные замыслы и смутныя стремленія послѣдняго въ сценѣ *Монастырская ограда* становятся подъ вліяніемъ соблазнительныхъ словъ злого чернеца положительнымъ рѣшеніемъ. Эта сцена необходимое звено, соединяющее первое появленіе Григорія въ качествѣ молодого чернеца, безпокойнаго и смущаемаго тревожными снами, какимъ онъ является въ разговорѣ съ Пименомъ, съ его послѣдующимъ появленіемъ въ драмѣ въ качествѣ самозванца.

Въ третьемъ отдѣлѣ стихотворной части изданнаго теперь тома помѣщены, между разными небольшими стихами и отрывками, эпиграммы и такія стихотворенія, которыя имѣли близкое отношеніе къ самой личности поэта. Со временемъ, когда біографическія подробности, касающіяся Пушкина, будутъ разъяснены и болѣе извѣстны, чѣмъ теперь, эти стихи получатъ еще больше интереса.

Въ прозаической части седьмого тома въ первый разъ являются печатно слѣдующія статьи: „Матеріалы для первой главы исторіи Петра Великаго“, изъ которыхъ можно ознакомиться съ методомъ, принятой Пушкинымъ въ приготовительныхъ работахъ для историческаго сочиненія, которое онъ предпринималъ; „Камчатскія Дѣла“ — статья, въ которой Пушкинъ начиналъ сводъ сказаній о завоеваніи Камчатки, по сочиненію Крашенинникова. Сказанія эти со временемъ, вѣроятно, внушили бы поэту художественную картину подвиговъ русскихъ казаковъ и промышленниковъ, характеристическихъ дѣйствій и правовъ русскихъ людей въ дикой и оригинальной странѣ, подобно тому, какъ изслѣдованія о Пугачевскомъ бунтѣ внушили ему созданіе „Капитанской Дочки“, а изслѣ-

дованія о Петровской эпохѣ — романъ „Арапъ Петра Великаго“. Изъ біографической статьи „О Радищевѣ“, являющейся впервые на свѣтъ, мы можемъ ознакомиться съ мнѣніями Пушкина о человѣкѣ, въ которомъ, съ точки зрѣнія историческихъ и общественныхъ условій, онъ усматривалъ только примѣръ для поученія. Поучительная сторона явленія закрыла отъ него другую сторону, трагическую. Нельзя сказать, чтобы это послужило въ пользу живости и ясности біографическаго очерка. Изъ всѣхъ этихъ статей мы видимъ, какой богатый матеріалъ собиралъ Пушкинъ для своей творческой дѣятельности, чего мы могли смѣло ожидать отъ него! Духъ русской націи слѣдилъ онъ во всѣхъ его направленіяхъ, въ разнообразныхъ фактахъ и чертахъ его. Да послужить это примѣромъ писателямъ, которые недолго думавши и безъ труда, узнаютъ его только въ плутняхъ мелкихъ жалкихъ чиновниковъ, въ грязномъ быту самоварниковъ и ихъ безобразной челяди, въ чиновныхъ и нечиновныхъ пьянчужкахъ, въ несчастныхъ бродягахъ и въ заспанныхъ или отупѣвшихъ отъ праздности барахъ и барыняхъ.

Въ отдѣлѣ полемическихъ статей седьмого тома являются произведенія, которыхъ до сихъ поръ недоставало въ собраніи сочиненій Пушкина. Они останутся памятникомъ литературныхъ нравовъ его времени и свидѣтельствомъ веселаго и остроумнаго полемическаго таланта поэта. Въ послѣднемъ отношеніи нельзя не любоваться статьями Пушкина, писанными имъ подъ именемъ Теофилакта Косичкина.

Среди статей чисто-литературнаго содержанія, отрывковъ, начатыхъ повѣстей и романовъ помѣщены между прочимъ „Отрывки изъ романа въ письмахъ“, о существованіи которыхъ издатель упоминалъ въ матеріалахъ для біографіи поэта. Въ десяти письмахъ обозначены уже главные черты лицъ романа. Изъ нихъ привлекаетъ къ себѣ особенное участіе и вниманіе читателя умная и страстная воспитанница одного богатаго дома, ведущая переписку съ своей свѣтскою пріятельницей. Въ замѣчаніяхъ и сужденіяхъ двухъ подругъ по поводу самыхъ обыкновенныхъ отношеній и предметовъ выражаются всѣ тонкія отличія и оттѣнки ихъ ха-

ракторовъ. Если бъ романъ былъ оконченъ, то въ лицѣ воспитанницы богатаго дома Пушкинъ оставилъ бы намъ такой же полный и прелестный образъ русской женщины, какой созданъ имъ въ лицѣ Татьяны. Русскія свѣтскія женщины и деревенскія барышни, выросшія, какъ говоритъ одинъ изъ героевъ начатаго романа, подъ яблонями, воспитанныя между скирдами, природой и нянюшками, являлись въ созданіяхъ поэта со всѣми признаками лицъ, дѣйствительно встрѣчающихся въ русскомъ обществѣ, но не лишались у него ни ума, ни сердца, ни граціи и красоты; при нѣкоторыхъ характеристическихъ особенностяхъ и недостаткахъ, сохраняли человѣческое достоинство, не представлялись уродливыми исключеніями изъ цивилизованнаго рода человѣческаго; и однакожъ Татьяна, Ольга и женщины неоконченнаго Пушкинымъ романа такіе живые, знакомые, такіе вѣрные русской жизни образы! Отчего же дѣятели современной намъ литературы, за немногими исключеніями, ограничиваютъ характеристику изображаемыхъ ими женщинъ круглыми формами, молочнымъ или румянымъ цвѣтомъ лица, покрывающимися масломъ глазами и кривыми линіями фигуръ? И во всѣхъ этихъ лицахъ ничего женственнаго, ничего человѣческаго — однѣ грязныя привычки, циническія рѣчи и животныя инстинкты! Жизнь ли не представляетъ авторамъ другихъ образовъ или вина здѣсь на сторонѣ самихъ авторовъ? Въ недостаткахъ литературы болѣе или менѣе бываетъ виновато и само общество; но все грязное, бессмысленное и дикое въ послѣднемъ ярко освѣщается или устраняется не тѣми писателями, которые стоятъ наравнѣ съ нимъ, но тѣми, которые выше или впереди, которые своими произведеніями не повторяютъ только все дикое, что встрѣчается въ обществѣ, но вносятъ въ послѣднее живительную мысль, благородное стремленіе, или увлекаютъ его образами, запечатлѣнными внутреннею красотою и достоинствомъ человѣка.

Горе той литературѣ, задача которой ограничивается только копировкой и вѣрнымъ отраженіемъ грязныхъ или нелѣпыхъ явленій жизни. Самое полемическое и отрицательное ея на-

правление потеряетъ свой смыслъ, не имѣя внѣ себя и впереди достойной цѣли. Содержаніе ея измельчаетъ и унижится до праздныхъ сплетней; она станетъ бесплодна и утратитъ благотворную власть надъ обществомъ. Если на долю писателя, вслѣдствіе особенности его таланта или условій времени и даннаго общества, и выпадутъ изображенія искаженнаго быта людей, печальныхъ, мелкихъ и грязныхъ явленій жизни, то все же необходимо при этомъ беречь въ читателѣ живое чувство того, что самъ писатель стоитъ не подъ однимъ уровнемъ съ изображаемыми имъ предметами. Отношеніе писателя къ подобному содержанію его произведеній должно чувствоваться въ способѣ представленія, а этотъ способъ почерпается писателемъ уже не изъ однихъ только изображаемыхъ предметовъ, но зависитъ отъ свойствъ его личности, отъ характера его ощущеній и понятій, отъ степени его нравственнаго развитія и образованности. Человѣкъ развитой и человѣкъ грубый могутъ говорить объ однихъ и тѣхъ же предметахъ, но, конечно, оба будутъ говорить о нихъ иначе. Пушкинъ, на примѣръ, и Грибоѣдовъ не избѣгали реальныхъ изображеній житейскаго: но кто не чувствуетъ разницы въ способѣ ихъ изображенія съ тѣмъ способомъ, котораго держится большинство современныхъ писателей? Извѣстна высокая образованность Пушкина, который не ограничивался изученіемъ роднаго быта и знаніемъ отечественной современности, но до конца дней воспитывалъ свою мысль, свои понятія и вкусъ разнообразнымъ чтеніемъ и изученіемъ произведеній иностранныхъ литературъ. Писатель высокаго умственнаго и эстетическаго образованія, онъ изображалъ предметы вседневной и дѣйствительной жизни, угадывая ихъ существенныя необходимыя и характеристическія черты, и тѣмъ самымъ изображенія его уже получали значеніе живой мысли, а не были отраженіемъ всего случайнаго, отрывочнаго или незначащаго; въ изображеніяхъ такого писателя не могло быть жеманной скромности, *pu-derie*, но не могла выказываться и любовь къ грязнымъ образамъ. Многому остается учиться у Пушкина большинству современныхъ литераторовъ и, между прочимъ, възыскатель-

ности относительно собственныхъ произведеній и труду надъ ними. Біографъ Пушкина указалъ, какъ поэтъ руководствовался въ процессѣ творчества столько же вдохновеніемъ, сколько и сознаниемъ, какъ онъ умѣлъ видѣть и исключать въ цѣломъ своихъ произведеній все лишнее, неправильное, случайное, даже если оно было удачно и имѣло достоинство само по себѣ. Пушкинъ смотрѣлъ строго на призваніе и подвигъ писателя, и нелегкимъ былъ для него этотъ подвигъ! Дѣятельность и жизнь его протекли не въ мирѣ и покоѣ, не безъ вѣнчанія терніемъ. Первые годы молодости поэта прожиты имъ въ удаленіи отъ родины, отъ близкихъ и друзей; его поэтическая дѣятельность сопровождалась дикими порицаніями, невѣжественнымъ судомъ и нерѣдко такими же нерадостными для поэта похвалами и одобреніями; клевета и зависть отравили послѣдніе дни его и прервали творческую дѣятельность во всей ея красотѣ и силѣ... Недавно случилось намъ видѣть сюртку Пушкина съ запекшеюся кровью поэта и съ маленькимъ отверстіемъ, прорѣзаннымъ пулею, въ одной изъ фалдъ. Долго мы не могли освободиться отъ впечатлѣнія, произведеннаго на насъ кровавымъ свидѣтельствомъ безвременнаго конца благородной жертвы зависти, сплетней, невѣжественной неспособности цѣнить великое. Мы припоминали жизнь Пушкина, мы думали о смыслѣ его дѣятельности.... такъ ли живутъ и кончаютъ свое поприще, думали мы, счастливые и мирные поэты художники, жрецы чистаго искусства, не рожденные для житейскихъ волненій и битвъ?

И. В. Анненковъ положилъ первыя прочныя основанія біографіи Пушкина; онъ сдѣлалъ все, что было въ его власти все, что могъ сдѣлать въ данное время и при данныхъ матеріалахъ, указаніяхъ и свѣдѣніяхъ о поэтѣ. Но сколько вопросовъ относительно дѣятельности и жизни Пушкина пробуждаетъ біографъ прекраснымъ трудомъ своимъ, вопросовъ, на которые до сихъ поръ не можетъ быть отвѣта! Личность, жизнь и дѣятельность нашего поэта будутъ тогда только вполне ясны и вполне понятны, когда всѣ подробности, касающіяся ихъ, будутъ обнародованы тѣми, кто имѣетъ на

это возможность и право. Пора являться въ печати подлиннымъ письмамъ Пушкина, подробнымъ замѣткамъ и воспоминаніямъ о немъ и обо всѣхъ обстоятельствахъ его жизни со стороны лицъ, имѣющихъ что-либо сообщить въ этомъ отношеніи. Это долгъ послѣднихъ русской литературѣ и русскому обществу. Выскажемъ желаніе, чтобы срокъ уплаты по этому долгу не отдалялся произвольно на неопредѣленные времена.

Въ концѣ седьмого и послѣдняго тома сочиненій Пушкина приложены издателемъ алфавитные указатели стихотворныхъ и прозаическихъ произведеній, а также подробный указатель къ матеріаламъ для біографіи Пушкина, помѣщеннымъ въ первомъ томѣ изданія. Все это сдѣлано съ такою тщательностію и представляетъ читателю такія удобства, къ которымъ мы до сихъ поръ не приучены русскими изданіями.

А. Станкевичъ.

* * *

*) Пушкину иногда приписываютъ произведенія, ему все не принадлежація. Нѣсколько свѣдѣній о подобныхъ ошибкахъ находимъ у г. Анненкова. Вотъ его слова: „Эпиграмма на сочиненіе одного лицеиста, описывавшаго восхождение солнца съ запада (*И изумленные народы*), приписанная у насъ печатно Александру Сергѣевичу, должна быть уступлена г. Илличевскому. Другая эпиграмма: „Салонъ-гостинная“, также относимая на счетъ нашего поэта, вышла изъ подъ пера другого остроумнаго литератора нашего. Экспромпты „о націяхъ“, отрывокъ изъ которыхъ явился подъ именемъ Пушкина въ одномъ московскомъ журналѣ, столь же мало принадлежать ему, какъ и стихи извѣстной сатирической пьесы „Цапли“, находимые во всѣхъ сборникахъ съ помѣткой А. П., а между тѣмъ написанные Баратынскимъ“. (См. соч. Пушк., т. VII, стр. 10). Тутъ же г. Анненковъ выражаетъ сомнѣніе о принадлежности Пушкину приписан-

*) „Библиографическія Записки“ 1858 г., т. I, № 7. „Замѣтка по поводу VII тома сочиненій Пушкина“, Леонида Майкова.

ныхъ ему будто бы лицейскихъ пьесъ: „Гаральдъ и Гальвина“, „Пѣснь Черкеса“, „Цѣль моей жизни“; такое же сомнѣніе высказано имъ во II-мъ т. Соч. Пушк., стр. 227, относительно пьесъ: „Къ Деліи“ и „Делія“ и въ VII-мъ т., стр. 18, относительно „Пуншевой Пѣсни“ (изъ Шиллера); наконецъ, положительно доказано, что стихотвореніе „Застольная Пѣсня“ принадлежитъ не Пушкину, а Дельвигу (см. Соч. П., т. II, стр. 228), хотя за пушкинское оно выдано было посмертнымъ изданіемъ на томъ основаніи, что осталось въ бумагахъ Дельвига, переписанное рукою автора „Онѣгина“. Представимъ еще одинъ случай подобнаго недоразумѣнія, случай, особенно важный тѣмъ, что дѣло идетъ о произведеніи, истинно замѣчательномъ въ художественномъ отношеніи.

Въ VII-мъ томѣ сочиненій Пушкина, стр. 36, есть нѣсколько строкъ подъ заглавіемъ: „Первыя мысли стихотворенія, обращеннаго къ императору Александру I“. Пьесу сопровождаетъ слѣдующее примѣчаніе г. Анненкова: „Стихотвореніе это отыскано нами въ тетрадахъ поэта, принадлежащихъ 1820—1821 году и, можетъ быть, начато въ одно время съ „Наполеономъ“, какъ противопоставленіе ему или дополненіе его“. Но пьеса эта оказывается произведеніемъ не Пушкина, а Жуковскаго, и напечатана (полнѣе, чѣмъ у Пушкина) подъ заглавіемъ: „Стихи, пѣтые на праздникъ англійскаго посла лорда Каткарта, въ присутствіи государя императора Александра Павловича“ *) въ XII-мъ томѣ сочиненій Жуковскаго, СПб. 1857, стр. III, въ отдѣлѣ: „Стихотворенія, помѣщенныя въ разныхъ журналахъ и сборникахъ послѣ 1812 года“. Приводимъ его по изданіямъ обоихъ издательствъ:

Текстъ въ изданіи Жуковскаго.

Сей день есть день суда и мщенья!
Сей грозный день землѣ явилъ
Непобѣдимость Провидѣнья,

*) Сей великолѣпный праздникъ данъ 28 марта 1816 года, въ годовщину отреченія императора Наполеона отъ престола въ Фонтенебло. *Прим. изд. Соч. Жуковск.*

И гордыхъ силу пристыдилъ.
Гдѣ тотъ, предъ кѣмъ гроза не смѣла
Валовъ покорныхъ воздымать,
Когда ладья его летѣла
Съ фортуной къ берегу пристать?
Къ стопамъ рабовъ бросалъ онъ троны,
Срывалъ съ царей красу порфирь,
Сдвигалъ народы въ легіоны
И мыслилъ весь заграбить міръ.
И гдѣ онъ?... Міръ его не знаетъ!
Забить разбитый истуканъ!
Лишь предъ изгнанникомъ зіяетъ
Неумолимый океанъ.
И все, что рушилъ онъ, природа
Уже красою облекла,
И по слѣдамъ его свобода
Съ дарами жизни протекла!
И честь тому—кто, вѣрный чести,
Свободѣ мечъ свой посвятилъ,
Кто въ грозную минуту мести
Лишь благодатью отомстилъ.
Такъ! честь ему: и миръ вселенной,
И царскія въ вѣнцахъ главы,
И блескъ Лютеціи спасенной,
И прахъ низринутой Москвы.
Объ немъ молитва Альбіона
Одна съ сыновъ его мольбой:
Чтобъ долго былъ красой онъ трона
И чловѣчества красой!

Текстъ въ изданіи Пушкина.

Гдѣ тотъ, предъ кѣмъ гроза не смѣла
Валовъ покорныхъ воздвигать,
Когда ладья его летѣла
Съ фортуной къ берегу пристать?
Къ стопамъ создатъ бросалъ онъ троны,
Срывалъ... красу порфирь,
Сдвигалъ народы въ легіоны
И мыслилъ весь заграбить міръ.
И все, что рушилъ онъ,—природа
Уже красою облекла,
И по слѣдамъ его свобода
Съ дарами жизни протекла...
И честь тому, кто вѣрный чести

За право мечь свой обнажилъ,
Кто въ грозную минуту мести
Лишь благодатью отомстилъ...

Напечатанная въ „Сынъ Отечества“ 1818 года, № 14, стр. 68 и въ „Литературномъ Музеумѣ, альманахѣ на 1827 годъ, В. В. Измайлова, эта піеса при жизни Жуковского не была помѣщена ни въ одномъ собраніи его стихотвореній, потому что авторъ говорилъ: „лежачаго не бьютъ; если Наполеонъ побѣжденъ оружіемъ, я не хочу забивать его моими стихами“. Сочиняя оду „Наполеонъ“, Пушкинъ отмѣтилъ нѣкоторыя строфы изъ стихотворенія Жуковского въ своей черновой тетради и, можетъ быть, отмѣтилъ на память. Оттого могли произойти различія, очевидныя при сличеніи пушкинскаго текста съ текстомъ Жуковского. Пушкинъ обладалъ удивительною способностью запоминать стихи любимаго имъ Жуковского; такъ, авторъ „Свѣтланы“ прочелъ ему свою балладу „Ахиллъ“ немедленно послѣ созданія ея, и знаменитый слушатель тотчасъ же вслѣдъ за нимъ повторилъ ее всю, почти безъ ошибокъ. Этотъ фактъ, какъ и вышеприведенныя слова Жуковского, сообщены намъ лицомъ, близкимъ къ обоимъ поэтамъ, рассказами котораго уже пользовались наши біографы Жуковского, Пушкина и нѣкоторыхъ ихъ современниковъ.

Леонидъ Майковъ.

Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный,
Къ нему не заростетъ народная тропа.

*) Намъ нечего спрашивать себя: чье это высокое я, которое, не дожидаясь столповъ и мелкихъ пирамидъ, само ставить себѣ памятникъ и оставляетъ народную незаростаемую тропу къ нему. Этотъ величавый голосъ несмолкаемой пѣсней шумитъ надъ нашими головами. Мы знаемъ его. Это — онъ, старшій братъ между нами, и его старѣйшинство не гнететъ насъ; оно словомъ расходится по міру, и слово живое живую душу животворитъ въ насъ. Какъ золотая пчела,

*) „Русская Бесѣда“ 1859 г., № 5, кн. 17. „Степной цвѣтокъ на могилу Пушкина“. Статья Кохановской.

можетъ быть, сосавшая ядъ въ цвѣтахъ, внутри себя обращаетъ его въ капли чистѣйшаго меда: такъ слово поэта, какой бы горечи ни была исполнена его грудь, стекаетъ насъ съ вдохновенныхъ устъ его вдохновенной пѣснею, истинно болѣе сладкаго меда. Таковъ между нами поэтъ съ лучемъ божественныхъ откровеній и вдохновеннаго созерцанія въ глубокую сущность красоты вещей, неосязаемую для насъ; съ огнемъ его всевластнаго слова, прожигающаго душу намъ... И что мы можемъ принести къ подножію его нерукотворнаго памятника?—Все. Нашу любовь, удивленіе, благодарность—незабывчивую нашу память о человѣкѣ, отмѣченномъ перстомъ божественной силы. Мы можемъ принести золотой лавровый вѣнокъ и положить его на мраморную плиту великой могилы, и также мы не въ правѣ отвергнуть отъ нея простого степного цвѣтка: потому что могила поэта — міровое достояніе каждаго, лишь только бы онъ могъ сознать свои права надъ нею. Но болѣе всего и несравненно желаніе даровъ и приношеній можетъ быть наша живая преемственная мысль, достигающая до мысли высокихъ созданій поэта. Они, эти созданія, такъ же какъ міровыя явленія жизни, имѣютъ свою запечатлѣнную тайну. Подъ обаятельными образами, заступающими ее жизненной полнотою и могущественной красой созданія, мы долго можемъ, вполне удовлетворенные, не замѣчать, какая свѣтлая глубина открывается за этими образами, и въ какой изумительной прозрачности положенъ въ нее перлъ созданія. Такимъ образомъ, почитать поэта, чтобы нашей любовью и жаркимъ глубокимъ вниманіемъ къ его твореніямъ проникнуть, такъ сказать, въ сокровенную душу ихъ—есть величайшая почесть, какой поэтъ можетъ ожидать отъ насъ и какую мы должны оказать ему.

Г. Анненковъ прекраснымъ изданіемъ полныхъ сочиненій Пушкина далъ намъ возможность болѣе или менѣе почитать память нашего великаго поэта. Достаточно ли мы изучили его? Наше эстетически-литературное сознаніе выразило ли себя съ той ясной опредѣлительностью, чтобы оно могло передъ родной славой лица поэта и его созданій сказать себѣ: довольно, мое дѣло начато и кончено? Я не задаю

ребѣ такихъ важныхъ вопросовъ. Мое дѣло въ томъ, что и съ живѣйшимъ чувствомъ несу свой простой степной цвѣтокъ на могилу Пушкина, въ полной увѣренности, что другіе могутъ принести алую розу, и это будетъ нашимъ общимъ радостнымъ достояніемъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, чтобы кто-либо изъ людей, мало-мальски читающихъ на Руси, не зналъ всѣхъ поэмъ Пушкина—если не со стороны высоко-художественной красоты ихъ, то, по крайней мѣрѣ, со стороны ихъ повѣствовательной прелести. Въ этомъ мы можемъ отрадно согласиться. И между тѣмъ, странно услышать, что у Пушкина, кромѣ извѣстныхъ поэмъ, есть одно величайшее созданіе въ этомъ родѣ—даже не поэма, а цѣлая эпопея по безконечной идеѣ ея глубочайшаго мірового содержанія. Изумительная эпопея! Не жизнь человѣка или вообще человѣчества, а неизслѣдимая глубина *жизни духа человѣческаго*, въ сокровеннѣйшихъ тайнахъ его внутреннихъ судебъ земного бытія, встаетъ передъ нами съ поразительнымъ величіемъ образовъ, блещущихъ пронзительной красотой дѣятелей нездѣшняго міра. Міры видимый и невидимый почти слились въ эпопеѣ, какъ они жизненно сливаются въ царственной оболочкѣ духа человѣческаго. Мрачная пустыня молчитъ; но скоро она становится мѣстомъ священныхъ видѣній. Серафимъ съ мечомъ является на перепутьѣ; слышенъ голосъ присущаго Бога, и духъ человѣка, чудодѣйственно измѣненный и освященный въ главныхъ органахъ его тѣлеснаго бытія, окончивъ свое внутреннее строеніе, исходитъ изъ великой рамы эпопеи на благодатное служеніе земной жизни.

Такова широчайшая канва созданія Пушкина. Оно состоитъ изъ пяти отдѣльныхъ пѣсней и даже, можно сказать, изъ шести: потому что одна пѣснь, въ послѣдовательности грандіознаго эпоса, должна быть раздѣлена на двѣ части. И какъ мы хорошо знаемъ каждую изъ отдѣльныхъ пѣсней! Можетъ быть, потому именно, что онѣ, особо одна отъ другой, доставляли намъ такое полнѣйшее эстетическое наслажденіе, мы и медлили замѣтить внутреннее единство, живущее въ нихъ ненарушимой связью.

Чтобы имѣть представителя въ поэтическомъ воплощеніи великой идеи, поэтъ долженъ былъ избрать лицо достойнѣйшее—такое лицо, на духъ котораго полнѣйшимъ образомъ запечатлѣвалась бы мощь человѣческаго духа, во всемъ глубоко-текущемъ развитіи его внутренней жизни,—который бы духъ въ себѣ, какъ въ цѣломъ, совмѣщалъ неисчислимыя родовыя доли, присущія свему человѣчеству. И поэтъ не усомнился избрать сосудъ избранный—самого себя, избрать поэта.

Поэма, или эпонея, или просто эоттъ безымянный циклъ произведеній Пушкина, начинается тѣми совершенно новыми, неслыханными до того времени звуками эпического настроенія, о которыхъ г. Анненковъ говоритъ, что они „въ невозмутимомъ своемъ теченіи открываютъ мысли читателя далекое, необозримое пространство“.

Въ началѣ жизни школу помню я;
Тамъ насъ дѣтей безпечныхъ было много—
Неравная и рѣзвая семья.
Смиренная, одѣтая убого,
Но видомъ величавая жена
Надъ школою надзоръ хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Пріятнымъ, сладкимъ голосомъ, бывало,
Съ младенцами бесѣдуетъ она.
Ея чела я помню покрывало
И очи, свѣтлыя какъ небеса;
Но я вникалъ въ ея бесѣды мало.
Меня смущала строгая краса
Ея чела, спокойныхъ устъ и взоровъ
И полныя святыни словеса.
Дичась ея совѣтовъ и укоровъ,
Я про себя превратно толковалъ
Понятный смыслъ правдивыхъ разговоровъ.
И часто я украдкой убѣгалъ
Въ великолѣпный мракъ чужого сада,
Подъ сводъ искусственный порфирныхъ скалъ.
Тамъ нѣжила меня деревъ прохлада.
Я предавалъ мечтамъ мой слабый умъ,
И праздномыслить было мнѣ отрада.

Передъ нами спокойная, широкая картина какой-то школы...
Догадываешься, что это нашъ міръ, гдѣ насъ много, без-

жечныхъ дѣтей. Мы не учимся, какъ обыкновенно учатся въ школахъ; а въ наученіе насъ съ нами бесѣдуетъ какая-то жена! Кто она? Сама ли олицетворенная жизнь, съ смущающей строгой красотой ея глубокаго смысла, открывающагося нашему разумѣнію? Или эта жена—святая жизненная мудрость, исходящая отъ Божественной Премудрости, и простыми несомнѣнными запечатлѣніями налегающая на наши души? Нельзя сказать. Только это невыразимое, чѣмъ таинственно вразумляетъ и научаетъ насъ жизнь, вся эта общность непередаваемыхъ вліяній, которая отовсюду дышитъ на насъ,—смыслъ нашей бѣдной жизненной доли,—поэтъ выражаетъ все дивно созданнымъ образомъ этой смиренной, одѣтой убого, но величавой видомъ жены, которая носить на челѣ своемъ покрывало, бесѣдуетъ пріятно и сладко съ младенцами; но между тѣмъ строго хранить надзоръ надъ школою. Поэтъ не говоритъ, какъ внимали ей прочіе младенцы, и прямо ставитъ передъ нами одного, который одинъ долженъ говорить за всѣхъ—

Но я вникалъ въ ея бесѣды мало,

говорить онъ. Младенца манилъ къ себѣ чужой садъ, полный великолѣпнаго мрака, съ искусственными пріютами порфирныхъ скалъ, и онъ убѣгалъ туда украдкою. Дичась совѣтовъ и укоровъ наставницы жены, смущаемый строгой спокойной красотой ея взгляда, ребенокъ превратно толковалъ смыслъ слышимыхъ отъ нея разговоровъ, и предавалъ мечтамъ слабый дѣтскій умъ—

И праздномыслить мнѣ отрада.

У другого это бы и осталось однимъ праздномысліемъ дѣтства; но къ этому ребенку явилась иная таинственная наставница:

Въ младенчествѣ моемъ она меня любила
И семистольную цѣвницу мнѣ вручила;
Она внимала мнѣ съ улыбкой: и слегка
По звонкимъ скважинамъ пустаго тростника
Уже наигрывалъ я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,

И пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.
 Съ утра до вечера въ нѣмой тѣни дубовъ
 Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы тайной;
 И радуя меня наградою случайной,
 Откинувъ локоны отъ милого чела,
 Сама изъ рукъ моихъ свирѣль она брала;
 Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
 И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ.

Но этого мало. Для возрастающаго ребенка, который готовился быть не только человѣкомъ, а въ своемъ лицѣ поэта—высокимъ представителемъ человѣчества во всю широту и воспріимлемость царственной силы нашего духа,—для такого ребенка не могли быть достаточны одни тайные уроки внушеній его собственной природы, хотя бы она была высочайшаго поэтическаго свойства. Весь міръ величія и славы творенья долженъ былъ преподавать ему свои открытые уроки—пройти, такъ сказать, черезъ глаза его, черезъ его уши, запечатлѣться въ его душѣ и вынести оттуда тотъ отблескъ разумности, которымъ поэтъ даритъ природу по богатству своего духа. И это еще не все. Въ приливѣ сильныхъ ощущеній, душа его необходимо должна испытать жаркое томленіе о невозможности выразить всего, что какъ бы ищетъ мѣста въ груди человѣка, и своего слова и отзываетъ себя у вдохновенной души поэта... Вотъ оно въ высококомъ созданіи Пушкина, навсегда выраженное и запечатлѣнное. Говорить о себѣ поэтъ:

Все волновало нѣжный умъ:
 Цвѣтушій лугъ, луны блистанье,
 Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
 Старушки чудное преданье, и проч.

Поэтъ обнялъ всю природу. Душа его раскрылась ко всѣмъ разнообразнымъ явленіямъ ея жизни, и поэтическая риема готова была поспорить въ гармоніи съ голосами вселенной: пѣла ли то иволга, глухимъ ли гуломъ отзывалось море или шептала тихой струею рѣчка. „Что есмь еще не докончалъ“?—какъ евангельскій юноша, кажется, могъ бы спросить себя молодой поэтъ. Но онъ еще и не начиналъ той жизни, ко-

торая, по превосходству, есть жизнь человеческого духа. Не жизнь извне принимаемых *ощущений*, а жизнь *чувств* глубоко внутри человека, ихъ неизбежнаго молодого пыла, жаркихъ, проникающихъ душу вдохновеній и страстей, страстей, поборающихъ человечество... И какими изумительно-пластическими чертами—ликами бѣлыхъ кумировъ въ тѣни дерева представляетъ намъ Пушкинъ въ своемъ созданіи это жизненное горнило, черезъ которое проходитъ духъ человѣческій, и на его огнѣ или онъ долженъ до конца истлѣться или, перегорая, очиститься, какъ очищаются огнемъ золото и серебро...

Любилъ я свѣтлыхъ водъ и жасъевъ шумъ,
И бѣлые въ тѣни дерева кумиры, и проч.

Но гдѣ здѣсь жизненное горнило? спросать меня, — эти бѣлые кумиры безъ опредѣленнаго значенія... Они—мраморное выраженіе мысли высокаго сознанія, всѣ залитые мощнымъ спокойнымъ блескомъ глубочайшей поэзіи. Точно, — съ перваго раза неопредѣленно и темно является ихъ значеніе; но вы всмотритесь въ эти

...мраморные циркули и лиры,
И свитки въ мраморныхъ рукахъ,
И длинныя на ихъ плечахъ порфиры.

Это великій міръ дѣяній человѣческихъ въ извѣщенныхъ мраморныхъ ликахъ его величайшихъ историческихъ представителей. Какъ міръ видимой природы, и этотъ міръ воли человека, его живущаго слова и дѣла, долженъ былъ необходимо войти въ сродство съ избранной душой поэта, сочетаться съ нимъ духомъ и, такъ сказать, плотью всего человечества,—и какъ становится понятнымъ: почему тотъ, чей высокій ликъ нѣкогда, въ свою очередь, приведетъ поэта въ восторгъ и умиленіе, стоитъ предъ этими доблестными кумирами и чувствуетъ какой-то обаятельный трепеть, и слезы высокаго вдохновенія зарождаются у него въ глазахъ! Духъ безсмертно почившихъ отцовъ и собратій, въ мраморномъ величій ихъ недвижныхъ думъ, вызываетъ къ его родственному высокому духу—развертываетъ передъ нимъ

свои свитки, вручаетъ ему циркули и строить свои вѣковыя, неумолкаемыя лиры. Но—

Другія два чудесныя творенья
Влекли меня волшебною красой...

Но кто же они? Что за сила ихъ волшебной красоты, чтобы ей отвлечь юношу избраннаго отъ его міра возвышенныхъ созерцаній, отъ звуковъ почти божественныхъ лиръ?

То были двухъ бѣсовъ изображенья.

Станный, если не страшный отвѣтъ. Но вы потрудитесь вникнуть въ изображенье этихъ бѣсовъ—что они изображаютъ? Уразумѣйте только одного, и вамъ безъ труда откроется значенье другого. — Что насъ, поставленныхъ на путь добра и жизненнаго долга, такъ иногда далеко уклоняетъ отъ него? Что болѣе всего страшитъ нашихъ наставниковъ и родителей? Что, наконецъ, оставляетъ намъ часто на всю жизнь столько жгучаго, неизгладимаго раскаянія? Наша молодость, наша бурная погубленная молодость, пылъ ея страшныхъ порывовъ, не знающихъ мѣры, огненный гнѣвъ, ея ужасающая гордость духа, въ самонадѣянности молодыхъ силъ, кажется, готовая сказать звѣздѣ небесной: захочу и достану! Вотъ оно все въ изображеніи этого бѣса, влекущаго къ себѣ волшебной красотой:

. ликъ *младой*
Былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной.
Другой

Но теперь совершенно нѣтъ труда разгадать другого,—этого тлителя молодости. Нужно ли называть его? И безъ имени, подъ цѣломудреннымъ покровомъ высокой поэзіи, онъ все еще слишкомъ явно и гласно говорить за себя:

. женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ—лживый, но прекрасный.

Духъ человѣческій вступилъ въ широкую колею трагической борьбы. Все, чѣмъ онъ жилъ доселѣ, что, благодатно возвращая его, питало въ немъ богодарованную силу: благая мудрость жизненныхъ преподаваемыхъ уроковъ, святиня младенческихъ вѣрованій и чистоты души, инстинктивные указанія собственной богоподобной природы и вся благотворная сила вѣшнихъ впечатлѣній, заимствованныхъ изъ природы міра, сонмъ высокихъ дѣятелей человѣчества, неумирающимъ примѣромъ готовыхъ поучать насъ, — всѣ эти царственные богатства человѣческаго духа повергаются, разбиваются, ниснутъ передъ возстающими кумирами двухъ бѣсовъ, которые влекутъ къ себѣ съ неодолимой силою и дышатъ на насъ огнемъ пагубной и лживой, обольстительной красоты ихъ. Силы духа и силы тѣла равно истощаются въ этой борьбѣ. Но это только кумиры бѣсовъ, ихъ изображенія. Какъ ни много нашей чистоты и богоподобности мы повергаемъ у подножій ихъ, но насъ сторожитъ еще болѣе властный духъ, самъ, страшный могучествомъ, демонъ, который ищетъ взять у нашего духа все, ничего не оставляя ему ни въ божественности стремленій, ни въ глубинѣ его вѣрованій, ни въ жизненной красотѣ сладкихъ ласкающихъ душу надеждъ и наслажденій — ничего, и мертвящимъ холодомъ вѣющей на жизнь всего міра... Вотъ онъ, этотъ страшный, знаменитый „Демонъ“... (Слѣдуетъ стихотвореніе: „Въ тѣ дни, когда мы были новы...“).

Страшный демонъ! Когда онъ пронесется въ своемъ ужасающемъ полетѣ, что можетъ остаться позади его! Ничего. Одна мрачная, опаленная его дыханьемъ пустыня, по которой вѣтеръ не вѣетъ и трава не растетъ. И посреди ея — человѣкъ, какъ разбитый сосудъ, пролившій на землю его драгоценное содержанье — смѣшавшій съ прахомъ елей своего сердца и крѣпкое вино возвышенныхъ думъ и парящихъ къ небу стремленій! Ни извнѣ принять ни внутри себя найти обновленіе растлѣннымъ силамъ не находить духъ. Все утрачено безвозвратно, что было давно ему высокимъ закономъ человѣческой жизни, и теперь развѣ одна *благодать* снизойдетъ на него, какъ падающая капля небесной росы на

жаждущую землю, ... (Слѣдуетъ стихотвореніе „Пророкъ“ — *Духовной жаждою томимъ...*).

„Никакая поэзія нигдѣ и никогда не представляла созданія болѣе высокаго, болѣе мірового по его содержанію, какъ это благодатное обновленіе человѣческаго духа и воспріятіе имъ даровъ высшей духовной жизни. Оно одно, само по себѣ, можетъ назваться величайшею священною эпопеей. И какое величіе, какая могучесть поэзіи! Небеса, въ мрачной пустынѣ сошедшія на землю, вызывающій голосъ присущаго Бога—и человѣкъ, достигнувшій до неба и смертнымъ ухомъ слышащій горній полетъ ангеловъ! Далѣе этого поэзія не можетъ итти, потому что ничего не можетъ быть возвышеннѣе этого. Вы взгляните на картину—слухомъ души вслушайтесь въ эти аккорды, звенящіе торжественно-просто,—и въ величавомъ ходѣ ихъ музыки откроется вамъ глубочайшая тайна нашего духа.

Если все, что мы зовемъ поэзіей Пушкина, есть воистину поэзія, то этотъ циклъ глубочайшихъ поэтическихъ произведеній, поэма или высокая эпопея жизни нашего духа, почерпнутая въ сокровеннѣйшихъ тайнахъ собственной духовной жизни поэта,—что она такое, если не вѣнецъ всей его поэзіи? И въ этомъ вѣнцѣ самымъ драгоцѣннымъ перломъ его блистаетъ „Пророкъ“.

Да, я не побоюсь сказать: передъ величіемъ этихъ видѣній серафимскаго посвященія человѣка въ глубочайшія тайны природы, что такое фокусы Фауста, по Нострадаму вызывающаго заклинаніями духомъ? Ихъ риторически-мистическая поэзія, пусть она и философски грандіозна,—но въ живой творческой истинѣ созданія ей не стать въ уровень съ этой дивной поэзіей святости и изумляющаго величія простоты исполнѣ библейскаго сказанія...

Кохановская.

Алфавитный указатель

произведений Пушкина, именъ писателей, названій сочиненій, статей, книгъ, журналовъ и газетъ,—встрѣчающихся на страницахъ седьмой части „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“.

- | | |
|---|---|
| „Аквилонъ“, стихотвор. 62. | Батюшковъ. 136, 161, 180. |
| Аксаковъ С. Т. 134. | „Бахчисарайскій Фонтанъ“. 154, 161, 163, 164, 196. |
| „Александръ Радищевъ“, статья Пушкина. 204, 228. | „Безвѣріе“, стих. 9. |
| Анакреонъ. 82. | Бентамъ. 184. |
| „Анджело“. 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98. | Беранже. 82, 197, 214, 215. |
| Анненковъ П. В. 15 — 28, 30—39, 41—47, 49—53, 59, 60, 62—65, 68, 71, 74, 84, 86, 89, 92—96, 103—106, 144, 168, 176, 177, 179, 181—183, 185, 191, 195, 196—198, 200, 201, 204, 206, 210, 214, 216, 219, 221, 224, 231—233, 236, 238. | Бернсъ. 73. |
| „Антигона“, Софокла. 77. | „Бесѣда любителей русскаго слова“ (литер. общ.). 34. |
| Антисеенъ. 35. | „Библиографическія замѣтки о сочиненіяхъ Пушкина и Дельвига“. 1, 7, 8. |
| Аполлосъ, архимандритъ. 92, 96. | „Библиографическія замѣтки“, Лонгинова. 181. |
| „Арапъ Петра Великаго“. 228. | „Библиотека для Чтенія“. 66, 91—93, 104, 196—219. |
| „Арзамасъ“ (литер. общ.). 34. | „Благонамѣренный“. 5. |
| „Аріонъ“, стих. 202. | Богдановичъ. 160. |
| Аріостъ. 77, 81. | Боккачіо. 95, 96. |
| Аристофанъ. 50. | „Борисъ Годуновъ“. 11—13, 42, 48, 60—62, 85, 91, 95, 154, 157, 167—175, 198, 214, 220, 221, 225, 227. |
| „Атенеи“. 219. | „Братья Разбойники“. 52, 59. |
| „Ахиллъ“, баллада. 235. | Буало. 49. |
| Байронъ. 41, 42, 50, 72, 78, 82, 85, 89, 163, 165, 210. | Булгаринъ. 185. |
| Баратынскій. 232. | Буньянъ, Джонъ. 178. |
| Бартеневъ П. И. 23, 25, 26, 31, 33. | „Бѣдность не порокъ“, Островскаго. 86. |
| | Бѣлинскій. 179. |
| | „Вастола“, поэма. 70. |

- Вегель. 102.
 „Вечера на хуторѣ“, Гоголя. 69, 71.
 Виландъ. 70.
 „Вильгельмъ Телль“. 82.
 Водсвортъ. 78.
 Воейковъ. 180.
 „Вольное общество любителей российской словесности“. 4.
 Вольтеръ. 28, 50, 184, 214.
 Вонлярскій. 10.
 Воркуловъ, Евдокимъ. 85.
 Воронцовъ, гр. 36.
 „Воспоминаніе“ („Когда для смертнаго умолкаетъ шумный день“)... 39.
 „Воспеминанія въ Царскомъ Селѣ“. 28.
 „Въ альбомъ малюткѣ“. 20.
 „Выдержки изъ дневника воспоминаній о Пушкинѣ и другихъ современникахъ“, В. П. Горчакова 36.
 „Вѣстникъ Европы“. 9, 38.
 Гаевскій, В. П. 1, 2, 5, 6, 7—14, 16—46.
 Галаховъ. 100, 101.
 „Галубъ“. 20, 53, 58, 71, 73, 75, 82, 155, 167.
 „Гамлетъ“. 202, 203, 213.
 Ганнибалъ. 23, 25.
 „Гаральдъ и Гальвина“. 233.
 „Гарольдъ“. 82.
 Гервинусъ. 84, 102.
 Гете. 48, 50, 66, 72, 78, 81, 85, 102, 213.
 Гоголь. 69, 105, 185, 205, 210, 212, 213, 222.
 Гомеръ. 62, 77, 81, 210.
 Горацій. 60, 195.
 „Горе отъ ума“. 194.
 Горчаковъ, В. П. 36.
 „Гречанкѣ“, стих. 39.
 Гречъ, Н. И. 185.
 Грибоѣдовъ. 230.
 Григорьевъ, Аполлонъ. 83 — 104.
 „Гусаръ“. 91.
 Дальбергъ. 181.
 Данилевскій. 4.
 Дантъ. 73, 77, 79, 81, 83, 101, 102, 163.
 „Делія“. 233.
 Дельвигъ. 1—8, 10, 32, 33, 44, 70, 88, 181, 233.
 „Дельвигъ“, статья Гаевского. 1.
 „Демонъ“. 244.
 Демосѣенъ. 178.
 Державинъ. 28, 136, 183.
 „Divina Comedia“, Данта. 79.
 Диогенъ. 35.
 „Для береговъ отчизны дальней“... 36, 37, 146, 148.
 „Для удовольствія и пользы“ (журналъ). 31.
 Дмитріевъ, М. А. 34.
 Добровольскій. 4.
 Добролюбовъ, Н. А. 179—195.
 Доброхотовъ. 4.
 Долгорукій. 4.
 „Dompter Jahrbücher“. 6, 12.
 Дрекъ. 84.
 Дружининъ, А. 66—83, 84, 100, 104,
 „Друзьямъ“, стих. 20.
 „Дубровскій“. 58, 60, 155, 221.
 Дурова. 70.

- Дуропъ. 4.
 „Душенька“, Богдановича. 160, 183.
 „Е. А. Б-вой“. 5.
 „Евгеній Онѣгинъ“. 29, 45, 47, 48, 60—62, 64, 69, 88, 91, 154, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 182, 211, 216, 221, 222, 233.
 „Египетскія Ночи“. 51, 52, 207, 216.
 Екатерина П. 23, 183.
 „Елисей, или раздраженный Вакхъ“, В. Майкова. 30.
 „Esthona“. 6.
 „Желаніе Славы“, стих. 39.
 „Женихъ“. 52.
 „Жизнь и сочиненія И. А. Крылова“, ст. Плетнева. 5.
 „Житель Сивцева вражка“. 96, 98.
 Жуковский. 10, 24, 29, 66, 67, 136, 137, 151, 161, 233, 234, 235.
 „Заклинаніе“, стих. 37.
 „Замѣчаніе на замѣчаніе по поводу двухъ стиховъ въ *Бористъ Годуновъ* Пушкина“, ст. Шевырева. 11—14.
 „Замѣчанія объ отношеніи современной критики къ искусству“, Ал. Григорьева. 83—104.
 „Записки“, Пушкина. 22, 28.
 „Записки Оренбургскаго ружейнаго охотника“, С. Т. Аксакова. 134.
 „Записки палача Самсона“. 194.
 „Застольная Пѣсня“, Дельвига. 20, 233.
 Зеленецкій, К. П. 36, 39.
 „Земля“, стих. 3.
 Зиферсъ. 84.
 „Знакомство мое съ Пушкинымъ“, Лажечникова. 176.
 Зубовъ, А. Н. 10.
 „Игорь и Ольга“. 28.
 Измайловъ, В. В. 235.
 „Изъ VI Пиндемонте“. 192, 223, 224.
 „Иліада“. 222.
 Иличевскій. 232.
 „Иностранкѣ“, стих. 39.
 „И нѣкій духъ повѣялъ невидимо...“ 182.
 Ирина Родіоновна (няня Пушкина). 23—25.
 „Ирландскія Мелодіи“, Т. Мура. 43.
 „Исторія Государства Россійскаго“, Карамзина. 22, 169, 208.
 „Исторія русскаго народа“, Полевого. 45.
 „Исправленный Забіяка“. 208.
 „Кавказскій Пѣлѣнникъ“. 58, 154, 161, 163, 164.
 „Каковъ я прежде былъ“... 39.
 „Каменный Гость“. 20, 59, 154.
 „Капитанская Дочка“. 156, 157, 221, 227.
 Каподистрія, графъ. 8.
 Карамзинъ. 8, 22, 66, 67, 101, 137, 139, 151, 161, 169, 170, 196, 208.
 „Картина Царскаго Села“. 28.
 Катенинъ, П. А. 34, 35, 44.

- Катковъ, М. Н. 105, 175.
 Каченовскій, М. Т. 186.
 Кирша Даниловъ. 98.
 „Кладбище“, стих. 177, 192, 215.
 Клеопатра. 51, 52.
 „Коварность“, стих. 62.
 „Когда великое свершалось торжество...“ 177, 182.
 „Когда за городомъ задумчивъ я брожу...“ 177, 182, 192, 202.
 „Когда средь оргій жизни шумной...“ 182.
 Колериджъ. 84.
 Кольцовъ. 179.
 Корнвалль Берри. 70.
 Корфъ, М. А. 10.
 Косичкинъ, Теофилактъ (псевдонимъ Пушкина). 44, 88, 228.
 Костровъ. 97.
 Кохановская. 235—244.
 Кошанскій, Н. О. 31, 33.
 Крашенинниковъ. 227.
 Крыловъ, И. А. 5, 6, 10.
 Кудрявцевъ. 100, 101—103.
 „Къ Деліи“. 233.
 „Къ Дельвигу“, стих. 20, 31, 32.
 „Къ Н. Г. Л-ову“. 11.
 „Къ ней“, стих. 8, 10.
 „Къ Языкову“, стих. 62.
 „Къ ***: „Я помню чудное мгновеніе...“ 39.
 Лажечниковъ. 176.
 де-Ла-Кло. 217.
 Ламартинъ. 42.
 Лафонтенъ. 160.
 Лермонтовъ. 167, 209.
 Летурнеръ. 73.
 „Le Turet.“. 6.
 „Литературный Музеумъ“ (альманахъ). 235.
 „Литературныя Мечтанія“. 89, 93, 98.
 „Литературная Газета“. 45, 70.
 „Лицейскій Мудрецъ“ (журналъ). 31.
 „Лицинію“ (посланіе). 182.
 Лобановъ, М. А. 193, 194, 207, 224.
 Ломоносовъ. 66, 121, 135, 138, 185.
 Ломоносовъ, Н. Г. 11.
 Лонгиновъ. 182.
 „Лѣтопись села Горохина“. 208.
 Лютеръ. 208.
 Майковъ, Василій. 30.
 Майковъ, Л. 100, 232—235.
 Маколей. 71, 178.
 „Маленькій Лжецъ“. 208.
 Малербъ. 49.
 „Манфредъ“, Байрона. 78.
 Мартыновъ. 85.
 „Матеріалы для біографіи Александра Сергѣевича Пушкина“, П. В. Анненкова. 22—27, 29, 34, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 63, 64, 65, 68, 74, 84, 103, 177, 198, 201, 204, 216, 221, 224.
 „Матеріалы для первой главы исторіи Петра Великаго“. 186, 203, 227.
 „Маякъ“ (журналъ). 85.

- „Measure for measure“, Шекспира 98.
 „Мендельсонъ“. 76.
 „Мелочи изъ запаса памяти“, М. А. Дмитриева. 34.
 „Мертвыя Души“, Гоголя. 69, 179, 222.
 „Мечтателю“ (посланіе). 34.
 Миллеръ. 185.
 Миллотъ. 184.
 Мильтонъ. 73, 78, 79, 81, 83.
 Мирабо. 188.
 Мицкевичъ. 85.
 „Мое Новоселье“ (альманахъ). 68.
 „Моему Аристарху“. 32, 33.
 „Мой первый другъ, мой другъ безцѣнный“... 20.
 „Молва“. 93, 96, 98, 176 — 179.
 „Молитва“, стих. 177.
 Монтанъ. 61.
 „Москвитянинъ“. 8, 10, 11, 12, 36, 83.
 „Московскія Вѣдомости“ 23, 26.
 „Московский Вѣстникъ“. 42.
 „Московский Телеграфъ“. 169.
 „Моцартъ и Сальери“. 154.
 „Моя Родословная“. 22, 53, 184, 226.
 Муръ, Томасъ. 43.
 Мюссе, Альфредъ. 224.
 „Мысли о цензурѣ“. 184.
 „Мѣдный Всадникъ“. 20, 52, 53, 59, 60, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 82, 154, 167.
 „На лирѣ скромной, благородной...“ 182.
 Наполеонъ. 91, 191, 233.
 „Наполеонъ“, ода. 233, 235.
 „Наполеонъ на Эльбѣ“. 8.
 „На смерть Державина“, стих. Дельвига. 32.
 „Начало Поэмы“. 155.
 Нащокинъ, П. В. 25.
 „На языкѣ, тебѣ невнятномъ“... 37, 39.
 „Невскій Зритель“. 9, 10.
 Недоумко (псевд.). 85, 88, 90.
 Некрасовъ. 85, 100.
 „Ненастный день потухъ“... 39.
 „Неопытное Перо“ (журналъ). 31.
 Неронъ. 52.
 Нибуръ. 208.
 Новиковъ. 180.
 „Новоселье“ (альманахъ). 91 — 93, 96.
 Нострадамъ. 244.
 „Ночной зефиръ струить „эфиръ“... 62.
 „Ночь“, стих. 39.
 Ньютонъ. 214.
 „Нѣтъ, я не льстецъ“... 203.
 „Обиженный журналами жестоко“... 186.
 „Объясненіе“. 20.
 Огаревъ. 100.
 „Одна глава изъ неоконченнаго романа“. 51.
 „О древней и новой Россіи“, Карамзина. 196.
 „О, если правда, что въ ночи“... 36.
 Озеровъ. 8.
 „О значеніи художественныхъ статей для общества“, Анненкова. 176.

- „О камчатскихъ дѣлахъ“. 186, 204, 227.
 „Ольга“, Катенина. 35. 207, 224.
 „О мнѣніи г. Лобанова“. 193, 207, 224.
 „О пребываніи А. С. Пушкина въ Кишиневъ и Одессѣ“, Зеленецкаго. 36.
 „Осень“, стих. 158.
 Остолоповъ. 92, 96.
 Островскій. 86.
 „Отвѣтъ О. Т.“. 39.
 „Отечественныя Записки“. 1, 11, 16, 23, 84, 86, 98, 99, 101.
 „Отрывокъ изъ посланія В. Л. Пушкину“. 20.
 „Отрывокъ изъ записокъ Пушкина“. 27.
 „Отрывокъ“ (начало повѣсти). 51.
 „Отрывокъ изъ литературныхъ лѣтописей“. 186, 193.
 „Отрывокъ изъ романа въ письмахъ“. 216, 228.
 Павлицевъ, Н. И. 22.
 „Памятникъ отечественныхъ музъ“. 9, 10.
 „Первыя мысли стихотворенія, обращеннаго къ императору Александру I“. 233.
 Петрарка. 214.
 Петроній, римскій поэтъ. 51, 52.
 Петръ Великій. 71, 168, 186, 204.
 „Пиковая Дама“. 155.
 Плетневъ, П. А. 5.
 „Пловцы“ (журналъ). 31.
 „Повѣсти Бѣлкина“. 155.
 „Подъ небомъ голубымъ страны своей родной“... 36, 143.
 „Подражаніе Итальянскому“, стих. 177.
 „Подруга дней моихъ суровыхъ“. 24.
 Поза, маркизъ. 77.
 Полевой. 45, 85, 87, 90, 186, 208.
 „Полтава“. 58, 59, 64, 65, 86, 154, 167—169, 221.
 „Полярная Звѣзда“ (журналъ). 1, 38.
 „Посланіе Лидѣ“. 8, 10.
 „Посланіе къ Каверину“. 11.
 „Посланія къ Аристарху“. 182—184, 207, 223, 224.
 „Потерянный Рай“, Мильтона. 81.
 „Походныя записки артиллери-ста“. 71.
 „Поэтъ“, стих. 42.
 „Поэтъ, не дорожи любовію народной“... 42.
 „Поэтъ и Чернь“. 87.
 „Приключенія Джона Теннера“. 70.
 „Пророкъ“. 244.
 „Простишь-ли мнѣ ревнивыя мечты“... 39.
 „Пуншева Пѣсня“. 233.
 „Путешественнику“, стих. 11.
 Пушкинъ, Левъ Сергѣевичъ. 15, 22, 44.
 „Пѣвецъ“, стих. 8, 10.
 „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“. 180.

- „Пѣснь Черкеса“. 233.
 „Пѣсня“ (въ альманахѣ „Цин-
 тія“). 3.
 Рабле. 82.
 Радищевъ, А. 180—190, 204,
 228.
 „Разборъ библиографическихъ
 замѣтокъ г-на Гаевского о
 соч. Пушкина и Дельвига“. 1—11.
 „Разговоръ“ о *Бористъ Году-
 новъ*. 85.
 Расинъ. 61.
 Растопчинъ. 8.
 Рафаэль. 129.
 „Ревизоръ“, Гоголя. 69, 222.
 Ризничъ. 36.
 Робеспьеръ. 188.
 „Родословная моего героя“. 74.
 „Родословная Пушкиныхъ и
 Ганнибаловыхъ“. 22.
 „Родъ и дѣтство Пушкина“,
 Бартенева. 23.
 „Романсъ“ (въ альманахѣ „Цин-
 тія“). 3.
 Ронсаръ. 49.
 „Россійскій Музеумъ“. 8, 9.
 Рубина. 196.
 „Русалка“. 20, 59, 65,
 71—73, 75—78, 82, 154,
 167, 221.
 „Русланъ и Людмила“. 5, 6,
 86, 154, 159—162.
 „Русская Бесѣда“. 235.
 „Russisches Almanach für 1832
 und 1833“. 8.
 „Русскій Вѣстникъ“. 105, 175,
 176.
 „Русскій Инвалидъ“. 185.
 Руссо. 184.
 „Рѣдѣтъ облаковъ летучая гря-
 да“. 38.
 „Салонъ - гостиная“, эпитаграм-
 ма. 232.
 Сахаровъ. 98.
 Сверчокъ (псевдонимъ Пуш-
 кина). 34.
 „Свѣтлана“. 235.
 „Семейная Хроника“. 134.
 Сервантесъ. 81.
 „Сказка о купцѣ Кузьмѣ осто-
 лопѣ“. 20, 24.
 „Сказка о царѣ Салтанѣ“. 24.
 „Сказка о мертвой царевнѣ“. 24.
 „Сказка о царѣ Берендеѣ“,
 Жуковского. 24.
 Скоттъ, Вальтеръ. 50, 71.
 „Скупой Рыцарь“. 154.
 „Словарь святыхъ, прославлен-
 ныхъ въ Россійской церкви“. 177.
 Смирдинъ. 92, 178.
 „Сну“, стих. 20.
 „Современникъ“. 5, 7, 9, 11,
 14—16, 47, 67—71, 75,
 84, 86, 93, 98, 101, 179,
 182, 205.
 „Сожженное Письмо“, стих. 39.
 Софокль. 50, 77.
 Станкевичъ, А. 219—232.
 „Стансы“. 203.
 „Старосвѣтскіе Помѣщики“,
 Гоголя. 71.
 „Степной цвѣтокъ на могилу
 Пушкина“. 235—244.
 „Сто русскихъ литераторовъ“. 51.

- „Странник“, стих. 176, 178.
 Сумароковъ. 98.
 „Сумасшедшій Домъ“, Воейкова. 180.
 Сцена изъ Фауста“. 202.
 „Сцены изъ рыцарскихъ временъ“. 59, 60.
 „Съ толпой не дѣлишь ты гнѣва“ ..., стих. 220.
 „Сынъ Отечества“. 5, 8, 9, 34, 175, 176, 235.
 „Сѣверная Пчела“. 185, 195.
 „Сѣверная Звѣзда“. 1, 11.
 „Сѣверный Наблюдатель“. 8, 9, 10.
 Тассъ. 77, 81.
 Тацитъ. 216.
 „Телеграфъ“ (журналъ). 87.
 „Телескопъ“ (журналъ) 44.
 „Tygodnik Peterbursky“. 6—8.
 Тихонравовъ, Н. С. 12, 102.
 „Труды общества любителей россійской словесности при Алекс. университетъ“. 9.
 „Увы, зачѣмъ она блистаетъ!“ (элегія). 161.
 „Узникъ“, стих. 62.
 Ульрици. 84.
 „Фатама, или разумъ человѣческій“. 27.
 „Фаустъ“, Гете. 48, 202, 213, 244.
 „Федра“. 213.
 Фетъ. 100.
 Форіэль. 102.
 Фроловъ, С. С. 27.
 Херасковъ. 97.
 Ходаковский. 226.
 „Цапли“, Баратынскаго. 232.
 „Цинтія“ (альманахъ). 2, 3.
 Цицеронъ. 30.
 „Цыганы“. 59, 60, 154, 161, 164, 203.
 „Цѣль моей жизни“. 233.
 „Чайльдъ-Гарольдъ“. 82.
 „Черкесская Пѣсня“. 2, 3, 5.
 Чернышевскій, Н. 47—65, 92.
 „Чернь“, стих. 42, 111, 123, 130, 193, 206, 220.
 „Чертогъ сіялъ“.,. стих. 51.
 Чириковъ, С. Г. 31.
 Шаховской, князь. 27, 35.
 Шевыревъ, С. П. 11—14.
 Шенье, А. 41, 42, 89.
 Шекспиръ. 42, 61, 62, 72, 73, 75, 77—79, 81, 83—85, 96, 98, 102, 112, 178, 210, 213.
 „Шествіе странника изъ сего міра къ лучшему“. 178.
 Шиллеръ. 50, 77, 82, 85, 102, 197, 210, 215, 233.
 Шишковъ. 184, 207.
 Шлегель. 76.
 Щербина. 85, 100.
 Эврипидъ. 50.
 „Элегія“ („Простишь ли мнѣ ревнивыя мечты“). 39.
 „Эпиграмма на смерть стихотворца“. 8, 10.
 Эпиграммы рецензенту поэмы „Русланъ и Людмила“. 5.
 Эристовъ, князь. 178.
 Эсхиль. 50.
 „Эхо“. 42. 114.
 Языковъ. 25.
 „Я помню чудное мгновенье“. 39.
 Оеодоровъ, Бор. 9.

печати развивает орфографическую зоркость и укрепляет зрительные навыки правильного письма; 4) система руководства, будучи основана на повѣйшей методикѣ, предупреждаетъ ошибки, а не заставляетъ учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ уже исправлять; 5) даетъ значительную возможность изучать правописание самостоятельно, безъ помощи учителя; 6) по этой книгѣ каждый безъ посторонней помощи можетъ проверить себя, насколько онъ грамотен или неграмотен пишетъ; 7) имѣя въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, репетиторъ, гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой орфографіи, такъ и методики ея преподаванія, — съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣтой въ занятіяхъ по орфографіи; 8) почему-либо отставшіе въ школѣ отъ товарищей и вообще не успѣвающіе въ орфографіи ученики, съ помощью этого руководства, посредствомъ самостоятельности, легко и скоро приобрѣтаютъ орфографическія знанія и прочный навыкъ правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно готовившихся къ какому-либо экзамену, а еще болѣе — для самоучекъ; 10) въ школахъ, гдѣ учителю приходится заниматься одновременно съ двумя — тремя группами, по этой книгѣ весьма удобно назначать той или другой группѣ самостоятельныя классныя занятія по русскому языку; 11) при веденіи обученія орфографіи по этому руководству, проверка ученическихъ тетрадокъ идетъ во много разъ легче и скорѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ диктовки; 12) эта книга совмѣщаетъ въ себѣ всѣ три способа обученія правописанію, а именно: списываніе съ книги, диктовку и писаніе заученнаго наизусть.

8. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 8-е. М. 1905 г. Ц. 40 к.

9. Справочный словарь буквы Ъ. Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ Ъ. Изд. 4-е. Ц. 25 к.

10. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Пмя существительное. № 4. Глаголь. Цѣна каждой таблицы — 2 к. (Распроданы).

11. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію“. Ц. 25 к.

12. Объяснительный словарь болѣе употребительныхъ въ русской литературѣ и рѣчи иностранныхъ словъ. Составленъ примѣнительно къ правописанію. М. 1901 г. Ц. 50 к. (Содержаніе этой книги то же, что и 4-го выпуска „Справочника по русскому правописанію“).

13. Краткій алфавитный справочникъ по русскому правописанію. Опытъ группировки орфографическихъ правилъ въ порядкѣ русскаго алфавита. М. 1901 г. Ц. 25 к.

II. Руководства по преподаванію русскаго языка.

(Методическая хрестоматія для обученія русскому языку):

14. а) Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, приемовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разработанныхъ извѣстными педагогами. Изд. 4-е. М. 1905 г. Ц. 1 р.

15. б) Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разработанные извѣстными русскими педагогами. Изд. 4-е. М. 1904 г. Цѣна 1 р.

16. в) Методическія указанія и примѣрные уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. Изд. 4-е. М. 1904 г. Ц. 1 р.

III. Пособія по изученію русской литературы.

17. Собрание критических матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Два выпуска. Изд. 4-е. Ц. 6 р. (1-й выпускъ— 2 р., а 2-ой, состоящій изъ 2-хъ частей,—4 р.).

18. Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Три части. Изд. 3-е. М. 1901 г. Ц. 3 р. (Печатается 4-я часть).

19. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части. Изд. 2-е. Ц. 3 р.

20. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Цѣна 7 р. (1-я и 2-я части вышли 3-мъ изданіемъ, а всѣ дальнѣйшія части вышли 2-мъ изданіемъ).

21. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Восемь частей. Цѣна 8 р. (1-я и 2-я части вышли 3-мъ изданіемъ, а 3-я, 4-я, 5-я и 6-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

22. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Цѣна по 1 р. за часть. (1-я и 2-я части вышли 3-мъ изданіемъ, а 3-я часть—2-мъ изданіемъ).

23. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дети“. Ц. 35 к.

24. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы“. Цѣна 50 к. (Изданіе распродано).

25. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Изд. 2-е. Ц. по 1 р. за часть.

26. Критическіе разборы „Дворянскаго Гнѣзда“ и „Наканунъ“—Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. М. 1903 г. Ц. 70 к.

27. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. Изд. 2-е. Ц. 2 р.

28. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“. Ц. 2 р.

29. Критическіе разборы „Записокъ Охотника“—Тургенева. Ц. 40 к.

30. Критическіе разборы романа „Новъ“—Тургенева. Ц. 70 к.

Складъ изд. В. ЗЕЛИНСКАГО: Москва. Патріаршіе пруды, д. Можухина.

Цѣны на всѣхъ пересылкахъ не пересылаются. Пересылка по дѣйствительной почтовой стоимости. Если на пересылку не хватаетъ почтовыхъ марокъ въ заказныхъ письмахъ,

Черезъ редакцію издательства В. Зелинскаго можно заказывать всякія книги.

✓

Stanford University Libraries



3 6105 015 006 724

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

JUN 30 1979

MAY 28 1981

APR 21 1986

